

В. Распутин

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

В. Распутин

ПОВЕСТИ

И

РАССКАЗЫ

«Сельская библиотека Нечерноземья»
издается по решению Коллегии Госкомиздата РСФСР
для тружеников села Нечерноземной зоны РСФСР



●



В. Распутин

❧

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

•

Москва
«Современник»
1985

Р2
Р24

Распутин В. Г.

Р24 Повести и рассказы.— М.: Современник, 1985.— 736 с.— (Сельская б-ка Нечерноземья).

В пер.: 3 р.

Сборник произведений лауреата Государственной премии СССР иркутского писателя Валентина Распутина составили известные повести «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Последний срок», «Деньги для Марии» и несколько рассказов. Все они о Сибири, о жизни сибирской деревни, о тех социальных и нравственных изменениях, которые произошли и происходят в ней с военного лихолетья. Все они, по словам С П Залыгина — «обращение гуманного писателя к гуманному читателю и обществу»

Р $\frac{4702010200-157}{М106(03)-85}$ без объявл.

ББК84Р7
Р2

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ

1

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды — да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба — да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах и растворились ворота во дворы — их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова откры-

вала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски — поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали — и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст и не узенькой лентой, а утюгом,— было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога — понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога — ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко — Богодул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: богохул, а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в богодула. Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее

поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую стороны; везли по воде арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему: разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой — она была положе и ровней — и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой.

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да не заемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху.

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой, и места потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что

так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе Матёры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже не ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

2

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли — концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

— Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась.— Это Дарья Настасье.— Я уже в памяти находилась, помню.

— Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

— Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была — оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

— Я помню.

— Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матёру случайным ветром меньше десяти лет назад,— в Матёру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда — откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну, видела Москву, к чему в деревне по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? — в Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не злясь, не настаивая,

умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище «Московишна». Оно ей, кстати, шло: Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась не сладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту немую девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить — стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала в свое время в Матёру: услышав, что дед Максим остался бобылем, и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей всего деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили: «Хоть и Сима, да мимо», но Сима не обижалась. Обратно в Подволочную она не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола — тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз.

Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки — не ребенок, а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали — он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.

— Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? — удивлялась Дарья.— Че ты там за мной видишь — смерть мою? Я про нее и без тебя знаю. Ишь, уставился, немтырь, как гвоздь.

— Он не немтырь,— обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.

— Не немтырь, а молчит.

Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками. Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама.

Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные, солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами.

Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось — ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай; неторопливое, желанное нарастание лета...

— Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит,— рассказывала старуха Настасья.— Осподи!.. А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: «Ты не плачь, Егор, не надо»,— а он: «Как мне не плакать, Настасья, как мне не плакать?!» Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.

— Че нас без пути пужать? — спрашивала Дарья.

— А чтоб непужаных не было.

После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на

своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается», хотя, знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, стращал, пробовал учить — ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный, здравый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые люди старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

— Как там сегодня Егор — живой, нет?

— Ой! — радостно спохватывалась Настасья.— Егор-то, Егор-то... едва нонче не помер. У старого ума нету, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровушки.

— А теперь-то как — остановилась?

— Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмотрю, че с им.

А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки.

Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.

— Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник,— вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.

— Я всю жисть колхозу ондал.

— Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет.

Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то дру-

гое дело — лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, стращая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решился: если уж все равно ехать, то ехать. И отрезал Настасье:

— Чтоб к троице была в готовности.

А до троицы оставалось всего-то две недели.

— Зато никакой тебе заботушки,— не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасье Дарья.— Я у дочери в городе-то гостевала — дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь — вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом — нажмешь, жар идет. Вари, парь. Прямо куды тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — оне надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и доржишь, мучишься, чтоб за столом не услыхали. И баня... какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А ишо этот... телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, поговорела, и опеть на боковую.

— Ой, не трави ты мое сердце! — обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза.— Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!

— Всех нас, девка, пересаживают, не однуе тебя. Всем тепери туды дорога. Только успевай, господь, прибирай.

Настасья, не соглашаясь, качала головой.

— Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на отдельности. Вы, которые с Матёры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и будто дома. А я? Ой, да че говореть?!

— Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвечала Дарья.— Никого уж не остается. Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когды выбирать, ежли вино не все до

капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену...

— Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска... Околоток хороший наберется. Не мое кукованье.

— От и вся Матёра! Господи!

— А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу,— заунывно подхватила Сима и опять притянула к себе Кольку.— Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и покатим куда глаза глядят, в море-окиян...

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей оставалась одна дорога — в Дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие: Колька, в котором она души не чаяла. С мальчишкой в Дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симина дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого, третьего, Валька вошла во вкус и так полюбила это дело, что уже и сама без стесненья напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе и движении, которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности отыскать ее было нелегко.

— Если и найдется, Коляню я ей так и так не отдам,— говорила Сима.— Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке.

— Ты пошто его не учишь говореть-то как следует? — попрекала Дарья.— Он вырастет, он тебя не похвалит.

— Я учу. Он может говорить. Коляня у нас молчаливый.

— Пришибло мальчонку. Он все понимает.

— Пришибло.

Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар — большой, купеческий, старой работы, красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгов, струя — кипятку, стало быть, еще вдосталь,— и потревоженный самовар тоненько засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила себе — отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закла-

нялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осторожно прихлебывая вытянутыми губами.

— Четвертый, однако, стакан,— прикинула Настасья.

— Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на своей городской фукалке в кастрюльке греть.

— Пошто в кастрюльке? Чайник налью.

— Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только.

И усмехнулась Дарья, вспомнив, что и в совхозе делают квартиры по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и Настасья. И зря она пугает Настасью — неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовар она не отменит, будет ставить его хоть в кровати, а все остальное — как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:

— Доведись до меня, взяла бы и никуда не тронулась. Пушай топят, ежли так надо.

— И потопят,— отозвалась Сима.

— Пушай. Однова смерть — че ишо бояться?!

— Ой, да ить неохота утопленной быть,— испуганно остерегла Настасья.— Грех, поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до нас укладали, и нас туды.

— Рать-то твоя поплывет.

— Поплывет. Это уж так,— сухо и осторожно согласилась Настасья.

И чтобы отвести этот разговор, ею же заведенный, Дарья вспомнила:

— Че-то Богодул седни не идет.

— Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал.

— С им грешно, и без его тоскливо.

— Ну дак, Богодул! Как пташка божия, только что матерная.

— Окстись, Настасья.

— Прости осподи! — Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно, со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова перекрестилась, повинившись на этот раз шепотком молитвы.

Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями и горланил в ограде петух, выходил под окно, важно ступая на креп-

ких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами. В другое окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже запылавшей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью и гнилью. На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую, наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: живые или нет? Колька топнул на нее, курица сорвалась и зашлась, залилась в суматошном кудахтанье, не унося его далеко, оставаясь тут же, на крыльце. И вдруг заметалась, забилась в сенях, наскакивая на стены и уронив ковшик с ушата, в последнем отчаянии влетела в избу и присела, готовая хоть под топор. Вслед за ней, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батожком и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил:

— Кур-рва!

— Вот он, святая душа на костылях,— без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом.— Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл.

— Кур-рва! — снова выкрикнул, как каркнул, старик.— Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!

— Кого грабют! Че ты мелешь?! — Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, будто остров сорвало и понесло как щепку — надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары — хоть глаза закрывай.

— Хресты рубят, тумбочки пилят? — кричал Богодул и бил о пол палкой.

— Где — на кладбище, че ли? Говори толком.

— Там.

— Кто? Не тяни ты душу.— Дарья поднялась, выбралась из-за стола.— Кто рубит?

— Чужие. Черти.

— Ой, да кто ж это такие? — ахнула Настасья.— Черти, говорит.

Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:

— Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит.

3

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом поспевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

— Ты чего, ты чего, бабка?!

— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.

— Но-но, бабка. Ты это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты... вы...— Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам.— Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?

— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом.— Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить...— Дарья взвыла.— А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! — Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла.— О-о-о! Разрази ты его, господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет,— кинулась она опять на мужика.— Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.

— Да отцепись ты, бабка! — взревел мужик.— Ответишь. Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники.

— Кто приказал? Кто приказал? — бочком подскочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: — Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!

На шум из кустов вышел второй мужик — этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке — вышел с топором в руке, и, остановившись, прищурился.

— Ты посмотри,— обрадовался ему медведь.— Наскочили, понимаешь. Палками машут.

— В чем дело, граждане затопляемые? — важно спросил второй мужик.— Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она.— Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

— Ну оказия! — мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

— И не шуреньса. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили, аспиды?

— Че натворили?! Че натворили?! — подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катерина, и Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут

в сосну, и, тыча в грудь медведю острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как наизготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

— Че с имя разговаривать — порешить их за это тут же. Место самое подходявое.

— Чтоб знали, нехристи.

— Зачем место поганить? В Ангару их.

— И руки не отсохли. Откуль такие берутся?

— Как морковку дергали... Это ж подумать надо!

— Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.

— Кур-рвы!

Второй мужик, помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ:

— Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами.

— Врет,— обрывали его.— Тайком приплыли.

— Дайте сказать,— добивался мужик.— Не тайком, с нами представитель приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.

— Не может такого быть!

— Отведите нас в деревню — там разберемся. Они там.

— И правда, в деревню.

— Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.

— Никуды от нас не денутся. Пошли.

И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились; старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул вприпрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рявкал — Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия — ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль,— толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу: один —

Воронцов, председатель сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй — незнакомый, конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.

— Что такое? Что у вас происходит? — еще издали, на ходу потребовал Воронцов.

Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкались к цыганистому.

— Мы, значит, делаем что надо, а они набросились,— взялся объяснять ему молодой.

— Как собаки,— подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе Богодула.— Я тебе... пугало огородное...

Он не закончил, Воронцов перебил его и старух, которые на «собак» отозвались возмущенным гулом.

— Ти-ше! — с растяжкой скомандовал он.— Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?.. Они,— Воронцов кивнул на мужиков,— проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук — лицо официальное.

— А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велел наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат — не звери. Как посмели над могилками галиться? Нам пушай ответит. Мертвые ишо сами спросят.

— Такие фокусы даром не проходят.

— Царица небесная! До чего дожили! Хошь топись от позору.

— Слушать будем или что будем?..— повторил Воронцов, взяв тон покруче.

Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирятся. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:

— Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление,— знал Жук силу таких слов, как «решение, постановление, установка», хоть и произнесенных ласково,— есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также клад-

бищ... Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию...

Дед Егор не вытерпел:

— Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?

— Я и отвечаю,— дернулся Жук и от обиды заговорил быстрей: — Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди... Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом...

— А о нас вы подумали? — закричала Вера Носарева.— Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут... это когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов...— Вера задохнулась.— Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать...

— Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положения и не говорите.— Голос у Жука заметно потвердел.— Да восемь кладбищ полностью переносятся. Это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет.

— Ты арапа не заправляй.— Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше.— Откулева пришли, туды и ступайте,— отправлял он.— К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявился, работку нашли! За такую работку по ранешним бы временам...

— Да они что?! — Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову.— Они, кажется, не понимают... Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

— Кур-рва! — высунулся Богодул.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:

— Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!

— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай,— оборвал его дед Егор, подбираясь ближе.— Ты сам тутака без

году неделя. Сам турист... ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить — у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо мной не крыль.— Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова.— И меня не зори. Дай мне дожить без позору.

— Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.

— Иди-ка ты!..— понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.

— Это другое дело,— согласился Воронцов.— Так и запомним.

— Запоминай. Не шибко испугался.

— Защитничек нашелся.

— Много вас таких!..

— Убирайтесь, покуль до греха не дошло.

Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери — он отстранялся и брезгливо морщился; с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим,— казалось, вот-вот он не выдержит и по-цыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Катерина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя: «Нету таких правов, нету таких правов». Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала Тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой, и молчаливо же показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный, основной голос, гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул рыкнул и замахнулся — случившийся рядом дед Егор посоветовал верзиле:

— Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил...

— Уголовный, что ли? — заинтересовался верзила.

— Но-но.

— Я, может, сам уголовный.

— Ну, тогды спытай. Мы поглядим.

Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих. Через час все четверо отплыли с Матёры.

...А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки.

4

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре — теперь уж казалось, что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. И верно, наберет в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и что требуется по хозяйству, не вдруг под руками, а Богодул уж тут, уж стучит: не надо ли этого, того? Надо, как не надо! И зазывали Богодула, поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и все пять, курицы у всех — яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, и кормился, пока носили ноги, вроде неплохо.

Или привечали Богодула в Матёре больше, или по другой какой причине приглянулся ему остров, но только, когда дошло до пристанища, Богодул выбрал Матёру. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало, отлучался ненадолго — видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то гнала, что-то вымаливала, но зимой оставался безвылазно: неделю проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане — там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою «фатеру», в колчаковский барак.

Много лет знали Богодула как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений.

Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камней, ни колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость наросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей: прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб; увидев раз выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала ребятня, Богодул, не долго думая, подставил ей голую ступню — змея ткнула и не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву: всех пойманных змей доставляли Богодулу, а он, сидя на валуне возле своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая, как от щекотки, когда змея в мгновенном прыжке пыталась проко́лоть его твердь, и блаженно приговаривал:

— Кур-рва!

Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же «курвой» и ее родственниками. Мужики, бывало, матерились почудней, позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью: он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, опадало по дороге, у Богодула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами — правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку.

Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал, но только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать.

— Здорово, Дарьюшка! — гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.

— Дравствуй-ка,— со сдержанной радостью отвечала она.— Пришел?

— Как бог,— и мат.

Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась ставить самовар.

— Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! — кричала она через прясло.— Гаркни там Татьяну, пущай тоже идет.

А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъедала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего — черт его поймет, что за человек, этот старуший приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, и верно как бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех их своим грешным, христарадным видом. Ворчали старики:

— От каторжник! (жил слух, что Богодула в свое время сослали в Сибирь за убийство) — ворчали, но терпели: и со старухами лучше не связываться, и он человек все-таки, не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек, каких поискать по белому свету.

В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с переселением, Богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не касались,— или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом, и о чем бы ни заходил разговор, в какое бы время ни перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним! — подступающим затоплением Матёры и скорым переездом. Богодул сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои донельзя заскорузлые ноги или, шумно гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел:

— Не имеют пр-рава.

— Да как не имеют, ежли имеют,— с досадой и надеждой набрасывались на него старухи.— Нас, че ли, спрашивать будут?

— Не имеют. Потоп... кур-рва... на людей... не имеют. Я закон знаю.

И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с требовательной злостью.

— Ты-то, христовенький, куда денешься? — с жалостью спрашивали старухи.

— С места ни ногой! — выкрикивал Богодул.— Японский бог! Не имеют пр-рава. Живой, кур-рва!

— Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Че-нить с тобой доспеют, куда-нить отправят.

— Живой... кур-рва! — упирался он.

На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра — она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись и опустив меж колен сцепленные вместе сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки. Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери,— новую, магазинскую мебель Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье — покрякал-покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю, молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, не одним махом, поднимая на Богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь глаза, будто не узнавала Богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь.

Утро было позднее и тихое; солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда, в одно место для слуха, а оттекали в стороны. В нетопленной избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно — неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи; пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленного для скотины и невынесенного; с вечера не убрано было со стола, и все так же нетронуто стоял налитый вчера для Богодула стакан с чаем. Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил — Дарья шевельнулась и спросила:

— Новый, ли че ли, поставить?

Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за край дела, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся самовар и зава-

рив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила — безжалобно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь продолжала дальше:

— Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко — вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. Ниче, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали.

Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто повернула разговор:

— Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого — господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! — Дарья глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку.— Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень — однуе меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.

Тятька говорел... у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо — живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь — нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто не обробел, не было и не будет такого разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя... я тамошняя, того свету. И давно навроде не по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу. Нонче свет пополам переломился: евон че деется! И по нам переломился, по старикам... ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешное время были люди,

дак ить никто назадь себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут... Куды там назадь... под ноги себе некогды глянуть... будто кто гонится.

— Японский бог! — согласился Богодул.

Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

— Без чаю-то худо,— от удовольствия, что пьет его, признавалась она.— Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно... мочи нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее — окошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как вспомню про их... сердце оборвется и захолонет — нету. Я от себя качну — навроде раз, другой толкнется, подоржится и опеть... как на память найдет... опеть остановится. Ну, думаю, куды оне меня повезут, где спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажени земли искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище опосле все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стороне... далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем? Спасибо он потом отцу-матери за это скажет?

У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходила, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у кого нету, руками без толку машем да чекаем: «Че, мамка, где, че?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела... Приподняли, посадили ее, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, где она навроде душила... так и влипло. Тятька опосле говорил: «Это она на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась». Вот он

у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на мельнице новый жернов, и он под его... нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли берегчись, дак берегчись-то никак и не умел, ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под рожество, а его близко к этой поре, за троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно.

На острову у нас могила есть... Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидал Матёру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра наша... пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву христовую». Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был... целые тыщи — то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря говореть...

Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал... он говорит: «Ты, Дарья, много на себя не бери — замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть». Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и делал. На его сватья

грешит: «Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек». А он правда что простофиля: «Люди просют»... Ну и запустил свое хозяйство... «Люди просют» — хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния — он туды свою голову...— Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: — Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу жалезную тумбочку привез, а сверху как птичка звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, какой ишо надо грех? — Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет — три протянула Богодулу и две оставила себе.— Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка, в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай бог, ежли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету.

— Вино — ык! — подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел.

— Пущай его дьявол пьет,— согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место.— Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без ее — бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в одну кучу — что то, что другое. Поминают ее без пути на каждом слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же — вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако что, жалезная, ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, господи! Че про совесть, ежли этакое творится!

Я ночесь опосля вечорошного не сплю и все думаю,

думаю... всякая ахинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чей-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу — до того напружилась от ожиданья... Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою — то ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че. От страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там дверь брякнет, там брякнет — не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие — страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне... Закружили меня звездочки... навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унеслась куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назадь поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа осветилась. «С чего,— думаю,— че было-то?» И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. «Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится»,— навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.

У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно примали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на всю Матёру, а он сидит — голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет — откуль че берется! До улежки мужиков доводил. Но и работящий был, ой, работящий! Где кол забьет, там че-нить да вырастет. Дак вот, Дунька за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась, не в тятьку свово: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили — ну и одного как шпиена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, живой ли тепери, не знаю. Я уж

и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить?

Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться кажный рад. У нас извеку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, бравые — не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры. Мамку мою тятька тоже привез откуль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: ой-ё-ёк. От с этого самого Ой-ё-ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться — кругом Ангара. На Подмогу передти и то надо вплавь, а у нас там, на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей посмеивались, нам-то Ангара — своя, с сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». Дак нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода — не нам однем, всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшный он был... он когды... щас...— Дарья растерянно запнулась; уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: — Он ка-ак: догонит все ж таки мамку вода. А мне и не в ум. Он ка-а-ак...

Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках — везде, куда попадал этот свет, казалось сиро и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник — ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжаньем моторная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее небо. И чем больше

смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем неспокойней ей становилось. И сильней набиралась досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера... корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны.

Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:

— Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись — боле некуды. Тапери ты иди, ежли надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говореть... Наши разговоры как мякина — ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время...

— Дарья, куды? — строго спросил Богодул, задирая голову.

Она на минутку замешкалась и отказала:

— Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.

Куда «туды»? — она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню — ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища она не дошла; сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом — нет его, и не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий...

Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие берега, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матёре, свисая с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матёре так и называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка

все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили.

И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре — всего, отделившись от материка, держала она в достатке — не потому ли и назвалась громким именем Матёра? И тихо, потаенно лежала она — набиралась соков раннего лета: на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими, за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с темными пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к Подмоге. Ближе леса и левей от дороги огорожена была с двух сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми,— там бродили коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (листвень — на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного ли вида, или онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь, кора и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне — остальное оборвал и вытоптал скот.

Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом,— поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую опору, она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие — высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала сюда по

горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.

Видела Дарья на память и дальше — снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами — сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда, оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба — досаждать другим. «Так ли? Так ли?» — со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.

...А там — тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот — колхозное стадо там и летовало каждый год, но, как поднимется, задурит река,— держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остров вознамерился обойти передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось

Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.

И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо и кругом безгласно — молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный «царский листвень», слепо растопырив огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса; и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселенья,— кладбище, пристанище старших...

Скоро, скоро всему конец.

Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Отступясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что «так и надо»? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней,— нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.

Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. «На море-океане, на острове Буяне...» — некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная молитва.

5

Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

— Подчистили картофку-то?

— Подчистили.

— Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли — надолго ли вам, едокам!

— Побольше-то издрябла бы,— отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.

— Издрябла? — удивилась Дарья.— Ты сказывал, там подполье есть.

— Есть,— кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел.— Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай.

— Но-о-о. Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?

— А там досматривай не досматривай... у всех вода. Никакой Ангары не надо.

— Это че деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрежь лопатой в землю не ткнули, че в ей?

— По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.

— Ишо чудней.

И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова, и что изменится оттого, если кто-то знает, откуда они взялись? — был бы хлеб, был бы дом и не было бы того, чтобы человеческое жилье ставили на слепые глаза!

Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтоб не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по весне, незадолго до пасхи, ему сровнялось пятьдесят — был он у Дарьи теперь старшим, а по порядку вторым сыном, первого прибрала война. И еще одного сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел смерть на лесоповале за тридцать километров от Матёры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было, и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила

она, что это бывает сослепу: на кого, не видя, падет — тот упадет; нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьиных детей все трое успели вырасти и войти в жизнь — один годился для войны, другой для работы, третья — старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже родах, жила своей семьей. В Подволочной — значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле — кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше.

И столько же, трое, осталось у Дарьи в живых: дочь в Иркутске, сын из старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к Матёре, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что, чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого слова с нею не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба — что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение от родных к старикам,— самая первая для них важность.

Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверно, что заметил — пол не подметен, спросил:

— Как ты тут управляешься? Вера не приходит?

— Вера когды зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас запустила. Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась.

— Захворала, что ли?

— Дак оне че творят-то, Павел?! Че творят-то?! Уму непостижно! — стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:

— Может, хошь деда с бабкой твоих перенесли бы... а, Павел? Кольцовы с собой увезли своих... два гроба. И Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла.

Оно, конешно, грех покойников трогать... Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! А ежли воду пустют...

— Сейчас не до того, мать,— ответил Павел.— И так замотался — вздохнуть некогда. Посвободней будет, перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.

И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом:

— Косить-то нонче будете, нет?

— Не знаю, мать. Ничего пока не знаю.

Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами.

Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе: пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и не ближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар — так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера, шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так, еще бы — привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что, если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в цветочках-лепесточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтоб на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.

Это жилье. А рядом — тут же, во дворике, впритык к стене, огородик на полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине,— и это было тоже диковинно: отчего так шиворот-навыворот — не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород! Полторы сотки — курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно возжались с конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался:

— Позволят... Дело не в стайке...

Понятно, что пуще всего дело в сене: на новом месте ни покосов, ни выгонов не было, и чем там кормить не только личный, но даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали; тайга на десятки верст гудом гудела от машин, до угодий руки еще не дошли. Для того чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы да годы. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное «можно» больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые годы кормились-поились ею, и если есть все-таки это на одну зиму «можно»? Можно-то можно, но сколько, с другой стороны, в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться: как выкроить время, чтобы косить,— это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота и где ее понимали; как, накосивши, переплавить сено через Ангару, пока она не разлилась, и как там поднять его в гору. А если все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, привезешь — куда его ставить? И куда опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле опустятся руки: пропади оно все пропадом.

Нет, этот последний, переломный год казался страшным.

И особенно страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда, обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это «что будет» оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится, когда очутятся они в новой жизни и определится, кем им быть — крестьянами ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверно, легче, а пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным, крутым, не для всякого-каждого, вот как эти лесенки, по которым один поднимется шутя, другой нет. Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх — потому-то молодые легче расставались с Матёрой. Клавка Стригунова так и говорила:

— Давно надо было утопить. Живым не пахнет... не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить — середь воды... как лягушки.

И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной постройке такие же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии.

— Подожгу,— грозилась она, приезжая из совхоза.— Мое дело маленькое. Не хочете уходить, хочете гореть — горите. А я из-за вас страдать не собираюсь.

Тем же — как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег — озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходили по Матёре и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку: «Памятник деревянного зодчества. Собственность Ак. наук». Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней полати, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазея, а тут жилая изба — ну разве можно сравнивать?

Пока это временная пластинка, там, в музее, будет другая: «Изба крестьянина из Матёры Петрухи Зотова...» — или нет: «...крестьянина из Матёры Никиты Алексеевича Зотова». Все станут читать и завидовать Петрухе — Никите Алексеичу Зотову. При рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя, а в каждодневном своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на дощечке, на надписи он, как полагается, должен быть при полном величанье.

Но проходили месяцы и месяцы, люди, которые облюбовали Петрухину избу, не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс, половина компенсации за избу, был давно прожит и пропит, для получения второй половины требовалось, чтобы Петрухиной избы как таковой на месте не существовало. Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтобы «Ак. наук» забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею — черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке,— получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем попадя и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра — тысяча рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим — убрать избу. Не будь этой «Ак. наук», он бы мигом убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей можно было не тревожиться. Но «собственность Ак. наук» покуда его тоже удерживала. Печатными буквами пробито, что не его, не Петрухина, собственность — не напороться бы на неприятность. Вот как: изба Петрухина, а собственность не Петрухина — поди разберись, кто ей хозяин. И ему не дают, и сами не берут.

— Они у меня дождутся,— угрожающе кивал Петруха куда-то далеко поверх Ангары.— Дерево не железо, оно само может пыхнуть. Потом спрашивай, чья собственность. Дождутся.

Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверно, кой-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали этого, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено,

тут даже и смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто — как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там — полная тьма что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел и Дарья принималась расспрашивать его, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое не способно вместиться в ее старые понятия.

— Баня, говоришь, на всех одна? — ахала она, пытаясь представить, что это за баня.— Ишо не легче! На столь народу одна?.. Свою-то нельзя, ли че ли, поставить?

— Где ее там ставить?..

— Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в этакую оказину идти.

А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если она есть теперь, будет и на тот год — нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным настилом. Так, на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля — курицы вскопают, и они же приберут.

Помянешь, ох, помянешь Матёру...

6

А когда настала ночь и уснула Матёра, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек — хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле. На то он и был Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться Хозяином — чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал.

Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел, что с вечера взошли и скоро погасли звезды. Быть может, они были где-то и теперь, потому что стекал же сверху серый сумеречный свет и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо, оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что

они считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рисованных мыслях — только воспоминания. Мечтать никому не дано.

Ночь была теплая и тихая, и, наверно, в другом месте — темная, но здесь, под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчание воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав которые, можно было услышать и звуки острова: тяжкий, натужный скрип старой лиственницы на поскотине и там же глухое топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в деревне — непрестанное шевеление всего, что живет на улице,— куриц, собак, скотины. Но и эти звуки были для Хозяина громкими и грубыми, с особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что происходит в земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенной возне пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы.

Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью Хозяин повел свой путь по острову. Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороной, а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад, а мог добежать до конца или даже пробраться на Подмогу и часами оставаться там, проверяя и ее жизнь, но никогда он не пропускал деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, Хозяин здесь он.

Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала Матёра: темнели леса, водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплыв-

чатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало, но словно бы подготовлялось к стуку и бряку. Дневное тепло выстыло, и от земли вставали прохладные, с горьковатыми протечами запахи. Откуда-то прорвался слабый и тяжелый дых ветра, охнул и сел — как волна, втянутая в песок. Но длинней и тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто спросонья, слепо мыкнула, как мяукнула, корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый куст, прижатый книзу другим кустом, наконец освободился от него и, покачиваясь, встал в рост. Хлипнула вода — или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба: по траве пробежала и убежала узкой полоской незнакомая рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей на поскотине, последний прошлогодний лист.

Хозяин направился в деревню.

Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится. В Матёре были постройки, которые простояли двести и больше лет и не потеряли вида и духа, эта едва прослужила полвека. И все потому, что не было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от холода и дождя и норовил скорей перебраться куда поприличней. Богодул тем более не хозяин, хоть перебираться ему никуда и не придется.

Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился его могучий, на два голоса, туда и обратно, храп, прислушавшись к которому, Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матёре, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин тоже, последнее лето.

Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно своротом с носа острова натащило сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягиваясь во всю свою ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износ-

ный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим истанием, но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя.

Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. «Ток-ток-ток,— стонала изба,—ток... ток... ток...» Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь, к теплому дереву. Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо и начинать. Все, что живет на свете, имеет один смысл — смысл службы. И всякая служба имеет конец.

Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там, за окнами, мутным истерзанным сном спал Петруха и спала на русской печи, и среди лета грея старые кости, мать его — Катерина. Катерина, Катерина... Кто скажет, почему у путных людей родятся беспутные дети? Одна утеха, что годы твои на исходе.

Там, где деревня пошла сплошным порядком, Хозяин замедлил свой бег, часто останавливаясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Он не боялся: ни собаке, ни кошке не дано его почуять, он не хотел пропустить то, что могло измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только под утро, но и тогда стонали без сна и мучились старые люди, напуганные и изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула.

Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами, но, когда Хозяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Были среди них и нестарые, ставленные и тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и врасти в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под короткой летней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и солнца, потому что огонь — это и есть

впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти.

Ночь нарастала, но была по-прежнему меркой, без теней. От близкой воды волнами доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, набранное за день, но сегодня оно было сдержанней и слабей,— верно, солнце завтра не выйдет.

Спала Матёра-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми,— приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут последним зряшным видениям случайные отгадки.

Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние-предальние зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов: тяжко жалобились, рассказывая о последних днях, старухи.

Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней, в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию текущей реки, которое днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглохшей водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь острова.

Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а, набравшись до краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней Хозяин опре-

делил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь.

Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.

Остров собирался жить долго.

7

И дни наступили длинные, пологие, ни конца, ни края, а все равно срок, назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не успели оглянуться, когда и куда проскочили последние две недели. И то уж Настасья после троицы потянула три дня — кончились и они...

Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг, он казался удачливей, но от четверга было ближе к концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни, откуда трудней добираться.

Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь — электричество в Матёре отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и матёринцы опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь, где взять для такого сна покою? Где взять недуми, нежити, чтобы уснуть? То и дело она спохватывалась, что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с причитаньями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы, натыкалась наконец на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в стенах, жалобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже: ставни не закрывали, чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать! Давно кануло то время, когда просыпали, а что говорить про эту ночь!

Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а в межоконье — большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пензии». После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. «А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю, без тебя я как без рук. И не просись, не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя». «Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай». «Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся — че ж делать! Я приеду — мы с тобой ишо повидимся».

В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку.

Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с троицы она не выронила ни слезинки, будто и верно поняла наконец — все равно ехать, повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мокрыми глазами, все всхлипывала, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит, уставится на Егора — он обернется, а она:

— Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались...

— Тьфу ты, окаянная! — бесился он.— Сколева тебе одно по одному тростить?! Кому мы тутака нужны?! Кому?

— А как мы там будем?..— И в слезы. Через час, другой то же самое сначала.

Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакенщиков; дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого.

Одну откупорили в праздник. Сидели вдвоем — вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть потихоньку от Матёры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей — все дома да дома. Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось — она сказала:

— А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь... куды денешься?

— Давно пора скумекать,— обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго ли ее понятие.

— Ребят потеряли... где их теперь взять? — продолжала она с раздумчивой покорностью.— А мы вдвоем... может, ниче... Там, поди, тоже люди. Ну и че што незнакомые? Сознакомимся. А нет — вдвоем будем. Че ж теперь?.. Ты не плачь, Егор...

С этим он смирился: лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез как отрубило. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла:

— Ты не плачь, Егор. Че ж теперь... Может, ниче...

Отошла последняя ночь в Матёре, встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро приклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им, тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собой свою Матёру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала беремя дров, вернулась и затопила русскую печку, Егор услышал и заворчал:

— Ты, никак, старая, совсем рехнулась?

— Нет, Егор, надо напоследок протопить,— торопливо возразила она.— Пущай тепло останется. Покамест шельшевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять — ты че, Егор?!

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток.

День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с Матёры. Ни соринки, ни хмуринки в огромном, ярко-сухом небе; солнце звонкое, жаркое. Для порядка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих, сморенный покоем; течение на реке смялось и сразу раз-

гладилось. Под звонким, ярким солнцем с раннего утра все кругом звенело и сияло, всякая малость выступила на вид, раскинулась не таясь. Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикидывать урожай — хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не надсажаясь, подступающую день ото дня работу — так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь.

Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, потому что торопились, рассиживаться было некогда. Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили — не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный — тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а что там с ним делать? — в сердцах приказал освободить стол, хотя поначалу собирался везти его в последнюю очередь. Кроме стола, из обстановки брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две табуретки и посудный шкафчик. Курятник, лавки, топчан, еще один стол, русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях — и все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна... А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех топоров брали только один), точило, железная печка, тележка, санки... А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи снасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И никому не продашь, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? Бросать жалко, а в новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила в багажную кучу — дед Егор кричал:

— Куды? Куды? Мать-перемать.

— Нет, Егор, ты погляди: совсем доброе корыто. Как новое ишо. В ём воду можно держать.

— Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать... На што тебе ее держать?

Но сам он взял с собой и ружье, старое, тульское, шестнадцатого калибра, и весь, какой был, припас к нему, хотя тоже сомнительно, чтобы ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не корыто, с ним расстаться он ни за какие пряники бы не смог. Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: «Куды?», но Настасья решительно отказала:

— Нет, Егор... кудельку когды потянуть... как без прялки?

— Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. Где ты ее возьмешь?

— Нет, Егор...— уперлась и отстояла прялку.

Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая, под груз, лодка. На ней и предстояло старикам сплавиться в Подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пинигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись, до пристани своей моторкой, но дед отказался:

— Через Ангару, так и быть, перетяни, а тамака своим ходом. Куды нам торопиться? До пароходу помаленьку сползем. Хучь Ангару в остатный раз поглядеть.

Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к чему-то с жалостью прислушиваясь и присматриваясь, поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь.

— Настасья! — позвала она, не зная, дома та или нет.

— Ниче, ниче, Дарья,— отозвалась Настасья.— Ты заходи. Мы с Егором поедем. Люди живут...

— Собралися? — спросила Дарья, входя.

— Ага. А Егор пла-ачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю: «Ты не плачь, Егор, не плачь...» — Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь узнала ее, и, вздрогнув, умолкла — пришла, значит, в полную память.— Ниче, Дарья,— виноватым шепотом сказала она.— Ты видишь... это уж так...— и показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может.

И жалобно попросила: — Ты уж, Дарья, не поминай меня сильно худо...

— И ты меня...— дрогнувшим голосом, промокая платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей.

— Помнишь, у нас ребяты были?

— Как не помню?!

— А где их тепери взять? Одне. Я говорю Егору: «Поедем, Егор, нечего ждать, поедем», а он...

Она осеклась, бессильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно — виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя, нет такой помощи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в окна льется уже никому не нужный свет.

Настасья вспомнила:

— Че я хотела тебя просить, Дарья. Едва не забыла. Возьми к себе нашу Нюню. Возьми, Дарья.

— Какую ишо Нюню?

— Кошку нашу. Помнишь нашу кошку?

— Ну.

— Она щас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала и не идет. Возьми ее, покорми до меня.

— Дак у меня своих две. Анфиза тоже подкинула — уезжала. Куды я с имя?

— Нет, Дарья, Нюню надо взять,— взволновалась Настасья.— Нюня — ласкал кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жисть ее не оставила, а Егор говорит: на пароход не пустют. А ну как взаправду не пустют — пропадет Нюня. Тебе с ей никакой заботушки, она ниче и не ест, рази капельку когды бросишь...

— Господи... с Нюней со своей... Попадется на глаза — возьму, не попадется — как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.

— Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на ее, и меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назадь ее... Ее вот только без меня поддержать, чтоб с голоду не околела.

— Ты-то правду приедешь?

— Дак а мы без картофки-то как будем? А ну ежли зиму ишо придется не помереть — как без картофки? — Казалось, Настасья говорила это кому-то другому —

Дарье она сказала, потеряв голос до стона: — Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые?

Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор, и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили — не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал:

— Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один пыжиться.

— Куды один...— махнул дед рукой.— Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голова.— Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью.

— Ниче, Егор, ниче,— не расслышала она, кивая чему-то своей большой головой и попутно озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая.

Сундук повез Павел; дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не свалился, за медное крученое кольцо. Павел же помог перевезти остальное и сгрузить все в лодку, потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах,— его было достаточно. Прикатили обратно тележку, дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустив оглобли на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену.

По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили — двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в совхоз — разбогатели — куда с добром! Но телка паслась на Подмоге — хорошо хоть ее не увидать. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без рук — все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога.

Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасьей, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла отыскать себя — ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед

Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом вынесли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась Настасья, она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка.

Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.

— Отчальную, что ли? — неуверенно спросил Павел. Нужно было сказать что-то еще, и он добавил: — Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья.

— Заживе-е-ом! — Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.

Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предупредил:

— Недолго, суседки. Надоть трогаться.

Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем винились, в чем оправдывались, не знали — тем более этот незнамый грех нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась: если уж понесло, потащило куда-то — что камешки на берегу считать: они на берегу.

— Самовар-то с собой берешь? — спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у порога самовар.

— А как? — закивала Настасья.— Не задавит. Я его Егору не дала везти, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну.

— Пошто нельзя? — О чем-то надо было говорить — говорили.

— Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая.

— Нам тепери ни одна примета не подойдет,— отказала Дарья.— Мы для их люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроб положить. Как мы там без самовара останемся?

— Там-то он нашто тебе?

— Чай пить,— нашто ишо?

— А мы с Егором поедем,— сказала На́стасья, перебивая этот пустой, по ее понятию, разговор.— Может, ниче... Счас и поедем, все уж на берег свезли.

И, будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал, что пора трогаться.

— Вот, поехали,— обрадованно всполошилась Настасья и первой выскочила из-за стола.— Я говорела... Идем, идем, Егор! — крикнула она, как-то сразу вдруг переменившись, чего-то испугавшись.— Погоди меня, Егор, не уходи.

Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух, с молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась на пустой угол, вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина. Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких случаях действа, но она, вконец потерявшись, ничего не помнила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены — где он всегда закипал, и, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась — Егор выходил уже из ворот — и закричала что было мочи:

— Его-ор!

Он запнулся.

— Егор, ключ куды?

— В Ангару,— сплюнул дед Егор.

И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья непонимающе, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед.

— Давай сюды,— прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке.— Пущай у меня будет. Я тут буду заходить, доглядывать.

— Ворота закрывай,— не забыла Настасья; она словно бы улыбалась или усмехалась, лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону.— А то скот наберется, напакостит. Это уж так.

— Мне тут рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этим не думай.

— А мы с Егором поедем...

...Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Настасья с Егором отплывали с Матёры. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами вспыхивала, играя, Ангара, в них со свистом бросались с лету и терялись в искрении стрижи. Там, где течение

было чистым, высокое яркое небо уходило глубоко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе.

Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно. И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали, уже не сдерживаясь. Испуганный их слезами, громко плакал Симин мальчишка. Настасья по очереди подавала старухам руку — по-другому прощаться она не умела — и, тряся головой, повторяла:

— Ниче, ниче... может, ниче...

Дед Егор поторопил ее.

Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.

— А Егор пла-ачет, плачет...— начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды — направо, налево и прямо — поясно поклонился Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее.

— Настасья! Настасья! — кричали старухи.

— Ниче, ниче,— стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завыла.

Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде, их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир; Павел завел мотор — лодку со стариками дернуло и потащило — все быстрей и быстрей, все дальше и дальше вниз по Ангаре.

Ненадолго еще раз открылась на повороте Матёра-деревня и тут же скрылась.

8

Подступила и эта ночь, первая жаркая и яркая на Матёре. Потом их будет много, в сентябре, ближе к концу, запылают ночи одна за другой, и далеко по сторонам озарится Ангара, провожаемая огромными, будто в честь ее нарочно запаленными, огнями. Но эта ночь была первой, и вышла она на Матёре задолго вперед остальных.

В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывший от начала до конца тут же и догадавшийся, несмотря на

суматоху, засечь время, доводил затем до сведения матёринцев, что хорошая, сухая, выстоявшаяся изба горит два часа. В деревне мало кто сомневался, что вспыхнула она не по какой другой причине, как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил, что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине, перевозиться: будто не сегодня-завтра нагрянет за избой музей. Перевозить было особенно нечего. Петруха был из тех богатеев, кому как в баню идти, так и переезжать. Корову продали еще два года назад, последнюю живность, подростка поросенка, закололи в апреле, когда стол опустел подчистую; старуха Катерина собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их к Дарье. Как раз в день перед пожаром и перенесла: Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой, и Катерина от греха подальше, чтоб не скандалить с ним, убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на Матёре дни. Оно и верно, веселей, так и так днями старухи сбивались в кучу вокруг Дарьи. Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила уверенней и серьезней, с нею считался сын, человек не последний в совхозе, ей было куда приклонить голову после затопа, и даже с выбором: захочет — поедет в одну сторону, захочет — в другую; а кроме того, Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае умела постоять не только за себя. В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которого стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха, место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером. В том особенном положении, в каком оказалась Матёра, Дарья ничем не могла помочь старухам, но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна, а предложи им кто смерть всем в одночасье, друг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься — с последней радостью они бы согласились.

Под эту ночь Матёра утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, а их в Матёре, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще при свете, когда он затихал и замирал, скатываясь за Ангару, куда

ушло солнце. Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с одной стороны, охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой — не терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне. Легли, как обычно, рано; Катерина впервые уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход и этот малый, перед большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей донельзя горько и тошно, всякое слово казалось неуместным и ненужным. Дарья, понимая ее, не лезла с разговорами; под вечер приходил Богодул, но с ним тоже не разбеседуешься, потыркали, помыркали, чтоб совсем не молчать, и Дарья спровадила старика. Себе она постелила на русской печке, там она больше всего и спала и зимой и летом, влезая на печку через голбец, а Катерина устроилась на топчане в переднем углу. Для Павла, когда он будет приезжать, оставалась деревянная кровать.

Легли и затихли. Катерина не знала, уснула она или, молясь ненадежными мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили — сначала в окно и тут же в дверь, и Богодул за дверью (все недобрые вести приносил Богодул) сипло и раскатисто закричал:

— Катер-рина! — Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него вместе два нормальных слова.— Катер-рина, горишь! Кур-рва! Петр-руха!

Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край Матёры, плясали огненные сполохи, огонь казался настолько близким, что Дарья со сна перепугалась первым страхом:

— Господи! Мы, ли че ли?!

Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке, вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лбом о стенку:

— Ну, бесовый! Ну, бесовый! Как знала! Как знала! Царица небесная! — Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда — домой, что еще только вечером было ее домом. Богодул, заторопившийся было за ней, с полдороги переиначил и повернул на нижний край добуживать деревню.

Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой возможности отбить ее от огня, да и не было в этом нужды. Один Петруха метался среди молча

стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей и пытался рассказать, как он чуть не сгорел, как в последний момент проснулся «от дыма в легких и от жара в волосах — волоса аж потрескивали». «А то бы хана,— повторял он с усмешкой.— Ижжарился бы без остатку, и не нашли бы, где че у меня было»,— и, присаживая голову, заглядывал в глаза: верят, не верят? От него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно и не рассчитывал на веру, он знал Матёру, знал, что и его знают как облупленного, а потому допускал и свою невольную вину. «Я вечером печку топил и лег спать,— лез он с никому не нужными объяснениями.— Может, уголь какой холерный выскочил, натворил делов»,— и опять принимался рассказывать, как он спасся. Для него только это и было важно — что он сам мог сгореть и лишь чудом уцелел, он так уверился в этом, что, рассказывая, добивался у себя слезы и дрожи в голосе — того, что требовалось для правды. Про печку и уголь он здесь же и забывал и грозил: «Узнать бы, какая падла чиркнула, я бы...» — и точил кулаки, пристукивая ими один о другой, как точат ножи. Или он опьянел от пожара, или с вечера еще не просох окончательно, но казался Петруха нетрезвым и пошатывался, оступался; лохматый и грязный, был он в майке, одна лямка которой сползла с плеча, и в сапогах — обуться все-таки успел старательно. К тому же Петруха успел кое-что и выбросить из огня: на земле валялось ватное лоскутное одеяло, старая дошонка и «подгорна» — гармошка, которая в Петрухиных руках знала только: «Ты Подгорна, ты Подгорна, широкáя улица, по тебе никто не ходит — ни петух, ни курица...» Петруха все хватался за нее и все переносил с места на место, подальше от жара; люди тоже отступали, когда припекало, но не расходились и не сводили с огня тревожных, пытающихся что-то рассмотреть и понять глаз.

Тут была вся оставшаяся живая деревня, даже ребятишки. Но и они не гомонили, как обычно; стояли завороженные и подавленные страшной силой огня. Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где — с какой стороны подбежала каждая и уперлась перед пожаром. Как никогда, неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми; длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала, заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь в ее сторону — на нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право

кричать, узнали, молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной — и остальным сделалось спокойней, что Дарья там, рядом, что она, понадобится если, удержит около себя Катерину и что они, стало быть, могут оставаться на своих местах. Но и Катерина, поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза и не убирала их больше с того, что с малых лет было ее домом.

Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг в друге надобности. Всегда так: при неприятном, постыдном событии, сколько бы много ни было вместе народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один — легче затем освободиться от стыда. В душе им было нехорошо, неловко, что стоят они без движения, что они и не пытались совсем, когда еще можно было, спасти избу,— не к чему было пытаться. То же самое будет и с другими избами — скоро уж — Петрухина первая. И они смотрели, смотрели, ничего не пропуская, как это есть, чтобы знать, как это будет,— так человек с исступленным вниманием вонзается глазами в мертвого, пытаясь заранее представить в том же положении, которого ему не миновать, себя.

Настолько ярко, безо всяких помех, осветилась этим огнем судьба каждого из них, та не делимая уже ни с кем, у близкого края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом,— будто было это давным-давно.

Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все — стены, крыша, сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей спячиваться; лопались и плавились стекла; изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с фуканьем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием — в нем светились ближние, начинающиеся улицей, избы и тоже как горели, охваченные мечущимися по дереву бликами; им озарялась Ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияла открытой раной с пульсирующей плотью; бугор за дорогой, который то выхватывало из темноты, то снова задвигало в нее прыгающим сиянием, казался бурым, опаленным. За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскаленные угли; высоко поднимались и отле-

тали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело, переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, загнулась в сторону деревни — там, там быть пожарам, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля рухнула, огонь опал, покатились верхние горящие венцы — люди вскрикнули и отскочили. Катерина снова заплакала навзрыд, невидяще кланяясь поверженной избе, которую ненадолго окутало дымом, пока передохнуло, отдыхиваясь и отрыгиваясь, и с новой силой направилось пламя, из которого частями выхватывалась, будто плясала, русская печка. Огонь полез по забору во двор, но и тут не захотели его остановить — к чему двор без избы? Кто станет спасать ноги, оставшись без головы?

Когда верх избы рухнул и не стало избы, внимание людей к огню ослабло. По какому-то точно наущению они оглянулись на Петруху. Они оглянулись и на Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже большей жалостью, но на Петрухе они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь? Доволен или испуган? Петруха стоял, теребя руками голую грудь и неспокойно подергивая головой; пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уже, с той поры как прибежала мать, терзало, что она не подошла к нему, не спросила и не обругала, не пристыдила, она будто совсем забыла о нем, отказалась от него, поэтому Петруху подмывало подойти самому и напомнить, что он здесь, посмотреть, как поведет себя мать. И теперь, обозлившись, он решился и, подойдя, сказал — да такое и так нахально, грубо, что и сам испугался:

— Мать, дай закурить.

Она непонимающе и все еще всхлипывая, подняла на него лицо.

— Ты же нюхаешь табак, я знаю. У тебя должон быть,— не остановился Петруха.

Дарья расслышала.

— Я те щас закурю! — негромко, но напористо, властно пригрозила она.— Я те щас головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он ишо над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не взялась!

— Хек! — только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту.

Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разли-

вался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями. Курились на траве и дороге отлетевшие головешки. Деловито, без страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлел и огонь.

Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь кругом: вот и нарушился порядок Матёры, с одного края деревня оголилась, и теперь этот край беззащитен. Верно, отсюда и пойдет огонь дальше, ничем, никаким миром от него не спастись...

Об этом и говорила Дарья Катерине, успокаивая и уводя ее с пожарища. У всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала первой — легче будет потом: не страдать, не мучиться в ожидании своего огня и, дождавшись, не смотреть на него, обжигая сердце. Она свой черед прошла.

И верно, огнем изба горит недолго, два-три часа, но многие еще дни курится, не остывая, избище и остро пахнет горелым, но не выгоревшим до конца, ничем не убиваемым жилым духом.

Хозяин в эту ночь рано вышел на пост, загодя выбранный на ближнем бугре, откуда было удобно и безопасно наблюдать пожар. И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца, и тут же вернулся обратно.

Он видел, как замерцала изнутри изба, сначала прерывистым, слабым сиянием, которое все набиралось и набиралось, пока окна не залило сплошь играющей краской. Хозяин смотрел, и сквозь стены видя то, что творится внутри. Огонь долго прихватывался за плотный и гладкий, веками вышорканный пол и никак не мог зацепиться за него, соскальзывал и смазывался — и вдруг, углядев, ринулся на тонкую дощатую заборку и легко выскочил по ней наверх. Затрещали, накаляясь, стены, и то ли от жара, то ли от постороннего вмешательства мягко хлопнуло, как пролилось, стекло в выходящем на Ангару окне. Оттуда, будто поддувалом, плеснуло свежим воздухом, и огонь,

свободно вздохнув, загудел и пошел гулять по всей избе, подбирая любую горящую мелочь и продолжая накалять потолок и стены.

Хозяин видел, как бежали люди, как метался на виду у первых прибежавших Петруха, размахивая руками и показывая ими на объятую пламенем избу. Вся жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и оно горело без страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон. Высоким заревом вспыхнула крыша, свет достал и до Хозяина, которому пришлось ползком выбираться в темноту.

И пока изба горела в рост, Хозяин смотрел на деревню. В свете этого щедрого пожарища он хорошо видел блеклые покуда, как нарисованные, огоньки над живыми еще избами — только он мог их видеть и видел, отмечая, в какой очередности возьмет их огонь. И он видел возле них чужих людей — их было много. Подняв глаза еще выше, Хозяин увидел дымы над матёринскими лесами, и дымы эти без ветра долго носило прощальными кругами по острову.

Горела Подмога...

Он видел дым над кладбищем, тот самый, который старухи не дали добыть...

Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после... и после...

Но он видел и дальше...

9

Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро поправлялся с делами и обратно. Эти беспрестанные поездки туда-сюда изматывали его, он поднимался с берега усталый и молчаливый, он и вообще-то не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык. В колхозе Павел работал бригадиром, потом завгаром, с делом справлялся, а какое место определят ему в совхозе, он еще толком не знал, да и никто, похоже, этого не знал. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство,— куда растолкать многочисленное прежнее колхозное чинство, людей из среднего и высшего звеньев, познавших хоть маленькую, да власть, с которой не вдруг слазь, научившихся командовать и разучившихся, само собой, работать под командой. Павел готов был идти куда угодно,

он на себя много не ставил, но он видел, как снуют, огля дываясь друг на друга, охочие до должностей люди, с какой растерянностью и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не ведая, куда, к тем или другим, их занесет. Павла покуда поставили на ремонт техники, назначив бригадиром, и сначала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался третий. Это значит, спросить будет не с кого, а спрашивать есть за что: техника, и старая, и новая, без дорог и забот ломалась, запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успело развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался отказ, за отказом переуказ. То же самое получалось у них, у бригадиров, с рабочими — те не знали, кого слушать. Не работа, а нервотрепка. И лучшего нельзя было ждать, пока совхоз полностью не вытащит из Ангары ноги, не подберет весь народ и все хозяйство и не определится, не устоится новая жизнь.

Когда Катерина перебралась к Дарье, стало поспокойней и Павлу: вместе старухам будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и побормочет не поперек разговора. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы, на сенокос и уборку, сюда, в Матёру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить и отпустить под воду остров,— ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью: «Там видно будет», и он не особенно надеялся, что с ним согласятся. Но он, верно, не очень и настаивал, боясь, что после уборки хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку — сжигать постройки. Кто-то должен потом будет браться и за такую работу, но Павел и представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет спустя люди будут вспоминать: «А-а, Павел Пинигин, который Матёру спалил...» Такой памяти он не заслужил.

Приезжая в Матёру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время: будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матёры не отлучался. Поселок этот стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. К кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его — хороший поселок, но мало ли их, хороших поселков, на белом свете? Дом у него здесь, а дома, как известно, лучше. Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он поднимался на яр и от-

крывалась перед ним родная деревня со всем тем, что знал и видел он с самого детства. Приплывал — и невидимая дверка за спиной захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все последние перемены.

А что перемены? Их не изменить и не переменить... И никуда от них не деться. Ни от него, ни от кого другого это не зависит. Надо — значит надо, но в этом «надо» он понимал только одну половину, понимал, что надо переезжать с Матёры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, да поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести. И когда, собираясь вместе, морокуя, что к чему, старались догадаться мужики, зачем, по какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный склон сопки, ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла. Поставили — и хоть лопни! Будто, как в старых сказках, пустили наугад стрелу, и куда ветер ее занес, туда и пошли. Объяснение простое: не для себя строили, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить. Считалось, когда привязывали этот новый поселок, что есть в комиссии свой человек, который постоит за интересы жителей,— директор совхоза, но этот «свой» со стороны явился и куда-то на сторону тут же и провалился, едва успев поставить согласную подпись. Он бы так же спокойно поставил ее и под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывают, что даже начальник ГЭСстроя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматерился и признал, что, будь его воля, он ни за чем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уже было сделано, деньги угроханы, и деньги немалые, изменить что-то стало невозможно. Жизнь, на то она и жизнь, чтоб продолжаться, она все перенесет и примется везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится если, то и под водой, но зачем же без нужды испытывать ее таким образом и создавать для людей никому не нужные трудности, зачем, заботясь о маленьких удобствах, создавать большие неудобства? Вот о чем думал и что пытался понять Павел. И не мог понять. А поэтому и не мог полностью принять этот новый поселок, хоть и знал, что жить в нем так или иначе придется и что жизнь в конце концов там наладится.

Надо — значит надо, но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы? Не больно терять это только тем, кто тут не жил, не работал, не поливал своим пóтом каждую борозду. Вот оно — гектар новой пашни разодрать стоит тысячу рублей; на него, на этот золотой гектар, посеяли нынче пшеничку, а она даже не взошла. Сверху земля черная, а подняли ее — она красная, впору кирпичный завод ставить. Пришлось пересевать люцерной по пословице: с паршивой овцы хоть шерсти клок, и неизвестно еще, уродится ли люцерна. Кто знает, сколько надо времени, чтобы приспособить эту дикую и бедную лесную землицу под хлеб, заставить ее делать то, что ей не дано. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились, и на север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня!

«Нет, старею, видно,— ставил себя Павел на место.— Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. Построили поселок тут — тут ему и следует стоять, это его единственное возможное место. Все, что ни происходит,— к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля — привезут тебе хлеб, готовенький, смолотый — испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! Молока не станет от собственной коровы — привезут и молоко, чтоб не возиться тебе с этой коровой, не хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку, и луковку — все привезут... А где возьмут — не твоя забота. У нас поселок городского типа — вот и будет в нем как в городе, ничуть не хуже. Деньги за разодранную пашню, за то, что будешь сеять-пересевать ее, ты получишь, на деньги эти, что потребуется, купишь. Вон какой выстеклили магазин — любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий... А плохо станет здесь, уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана».

«Старею,— признавал он.— Постарел уж — чего там! Считаю, что мать по недомыслию хватается за старое, а далеко ли и сам ушел от нее? Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и уверенности никакой нету. Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что ли, такой? Не успеешь разгадать

одну загадку, наваливается вторая, еще похитрей. Но мать-то свой век отжила, а тебе еще жить и работать. Не понимаю, что ли, что новое на пустом месте не построишь и из ничего не возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то и дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды? Прекрасно понимаю. И понимаю, что без техники, без самой большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый это понимает, но как понять, как признать то, что сотворили с поселком? Зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Сколько, выгадывая на один день, потеряли наперед — и почему бы это не подсчитать заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как живется, и плыть, как плывется, да ведь на том замешен: знать, что почем и что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек».

А возвращался в поселок, заходил в свой дворик, к которому волей-неволей успел прилипнуть, и смирялась душа: жить можно. Непривычно, неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да оно квартирант и есть, потому что дом не твой и хозяином-барином себя в нем не поведешь, зато и являешься на готовенькое: дрова не рубить, печку не топить... Воду, верно, носить еще приходится, но обещают и воду на дом. Что и говорить! — жизнь настала облегченная. Пришел с работы, умылся и можешь полеживать, в потолок поплевывать, никаких забот, никаких переживаний... Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой вес, без твердости и надежности, будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и сорвать — ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался?

Ничего, привыкнет и к этому...

Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом — в квартиру теперь надо говорить, не в дом — как вошла, ахнула, увидав сверкающую игрушку — электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, которые и белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней сидяк, пока, правда, без воды бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны полностью застекленную веранду — будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям — как у них, взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся

мебелишки привезти и что придется покупать, раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная, предовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А ведь тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой жизни не нюхала, но вот поди ж ты! — распушилась, откуда что и взялось? Как жареный петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не носиться, как угорелой, со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками. У Сони к тому же две сестры в Иркутске: одна, выйдя замуж за человека расторопного и удачливого, работающего по снабженческой части, жила как барыня, в квартире своей чего только не имела, и Соня немало ей завидовала. Приезжая из города, когда удавалось туда вырваться, недобро смотрела на ухваты да чугунки, а однажды попробовала сманить в Иркутск и Павла. Ей там нагородили с три короба, как хорошо да ладно, культурно да уважительно, свояк по снабженческой части посулил пристроить куда-то и его, Павла,— она и растаяла, поддалась, полетела чуть ли не укладываться. Павел тоже едва не дрогнул, потому что как раз пошли слухи о затоплении и переселяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город хорош, а кого матушка-деревня взрастила да до старости довела — сиди уж, не рыпайся. А вышло, что и ехать в город ни к чему, город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла успокоиться, а то нет-нет да попрекала мужика. Из грязи вылезли, в князи пошли...

Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает. Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку — всё не завезешь, как ни старайся, спохватятся, что и без коровы трудновато, на общественное стадо надейся, а свою коровку держи — и, как великий дар, дадут позволенье: держи, кому надо, городи, коси, пурхайся с темна до темна, если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем, уже другую привычку народ возьмет.

Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее — забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И, будто не собираясь никуда, она почти и не расспрашивала его, что там да как, а когда он проговаривался о чем-то

сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над далекой и посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка, где люди, говорят, чтобы не маять ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме Матёры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда придется все-таки ее с Матёры увозить.

10

Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери не оставил, Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было, а стала разбираться после огня — то сгорело, это сгорело... Больше всего убивалась Катерина по самовару; она, переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до другого дня — после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина.

Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самовара в дому не будет: теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавия — это уже и не стол, а так... кормушка, как у птиц и зверей, ни приятности, ни чинности. Извеку почитали в доме трех хозяев — самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, с их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи (она, печь-то, не сгорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник,— да белый свет, что ли, ею обогревать?). Хозяина у Катерины после отца не было никакого.

У Дарьи, у той и в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу, она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое рука поднялась? Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее, и,

когда Дарья подступала вплотную и надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась:

— Беспутный, дак че...

И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без крова и хлеба,— один охранный, всепрощающий смысл: мол, такой он у меня уродился, что с него взять?!

— Вот, вот,— распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья.— Всюю жисть ты так. Всюю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю,— с досадой спохватилась она,— в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею... чтоб не всплыть тебе.

— А он может,— вздыхала Катерина.— Беспутный, дак че...

— Вот и поговори с ей,— всплескивала Дарья руками.— Я ей про дело, она — про козу белу... Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! — вот дал господь кормильца...

Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, матёринского, мужика Алеши Звонникова, теперь давно уже не живого, убитого на войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало, но он и до работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице и оживала, как от вина, глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что видела она там, еще и теперь согревало ее. И говорила она об Алеше как о своем, и в Матёре она имела на это право, потому что Алешина семья после войны съехала с острова.

Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно, в деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алеша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и сено, под-

нимал завалившееся прясло. Так, на две семьи, и жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в Матёре к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алеше особенно и не посудачишь — всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. «А я таковский,— любил он прихвастнуть,— меня не перетакуешь». И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: «Ну, ишо один Алеша Звонников объявился».

Вот эту легкость, разговорную тароватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но если у того она была не на пустом месте — за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное, то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый, за что ни возьмется, все через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину, где надо смекалку показать — только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький «Беларусь» на больших колесах — он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил, гоняясь за кошками да собаками, у себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет — так за руль, и пошел кружить, только щепки во все стороны. Катерина выскочит:

— Ты че творишь, Петруха? Опомнись — че ты творишь, куды ездишь?! Тут для того, че ли, место сроблено, чтоб ты его давил?

Он отмахнется:

— Ниче ты, старая, не понимаешь. Так полагается. Такая разнарядка на севодни,— и дальше, а Катерина и отойдет в раздумье: кто его знает, может, и верно, полагается, чтоб научить трактор ровно ходить по полю, не выскакивать из борозды.

Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним — он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем Петруху про-

нять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз — колхоз, умирая, мог быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.

Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра — это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему Север с большими рублями... Но до Севера только доехать, надо терпение иметь, а у Петрухи его не водилось ни капли.

Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека. Боялась Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе — поэтому вину за Петрухино сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:

— Дак ежли он такой и есть — че с им самдели? Голову на плаху?

— А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? — подхватывала Дарья.— Он избу сжег, ты ему слово сказала?

— Сама говорела: так и этак бы сожгли...

— Да не своёй же рукой! Как она у его не отсохла, что спичку чиркала?! Это надо камень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил! Ну!

— Он, может, самдели незначай.

— Вот христовенькая, вот христовенькая! — приходила Дарья в восхищение.— Ишо бы — конешно, незначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил — золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал — эва че придумали про мужика. Незначай, незначай...

Катерина умолкала.

— А как такие люди получаются? — пыталась она понять — не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться.— Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила?

Никакой сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому — дак ежли он уродился такой. Он маленький был, ниче не хотел понимать. Глаза заворотит — и хошь говори ты ему, хошь кол на голове теши. Много ты с ребятами возилась?

— Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне.

— А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже... не до баловства было. В запустенье, правда что, не ходил. Старалася. Я погляжу на Клавкиных ребятишек... лутше самдели с мачехой жить... Родная она мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету — на подзатыльниках да на кусках, бедные... А какие славные ребятишки, ласковые, послушные... С чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?

— Н-ну,— хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.

Речь шла о Клавке Стригуновой.

— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая лупцовка не берет — был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат — на пользу, другого — на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь руки ты об его обломай, хошь испечалься об ём — он свое возьмет. Никакой правью не поправить. Так, че ли? Ты говоришь: я не спрашиваю с его. Царица небесная! Я надсадилась спрашивать. А тепери самдели отступилась, вижу, что без толку. Тепери какой есть, такой и есть. Вся злость вышла... жалость одна, что он такой. Дак не на плаху же, самдели? Пущай как хочет. Ему жить.

— Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо.

— А-а, че будет,— отмахнулась Катерина.— Мы уж тепери так и этак не своим ходом живем. Тащит... Куды затащит, там и ладно.

— Что тащит... правда, что тащит,— согласилась Дарья.

— Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут,— подчищая разговор, вернулась Катерина,— и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой привет — такой ответ... а-а,— несогласным стоном протянула она,— ниче не сходится. Кому как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то

постесняются галиться. А свои, как право им такое дадено, до того лютуют... злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену?

— А не доживай до этакой старости,— вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья.— Знай свой срок,— и пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать.— За грехи, ли че ли, за какие держит господь боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так... Где их набрать? Человек должон жить, покуль польза от его есть. Нету пользы — слезай, приехали. Нашто его самого маять, других маять? Живые... им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать. Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела,— непонятно на что опять осердясь, продолжала она,— что думала: «Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ей подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, не виноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала — я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы поболе, а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от меня идет — от чего-то другого. Нет, Катерина, старость запускать нельзя. Никому это не надо.

— Дак че — удавку, че ли, на шею?

Дарья не стала отвечать.

— И хоронют оне нас, плачут... оне плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого помнют... какие мы были,— говорила она.— И жалко нас... потому что себя жалко. Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас будут. А без нас оне скорей старются. Про себя оне нас раньше похоронили. Вот тогды бы и убраться, скараулить тот миг. А мы все за жисть ловимся. Че за ее ловиться — во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лутше будут помнить, и память об тебе останется покрасивей. Побольней останется память, позаметней. А ежли в гроб тебя, как кащею, кладут — дак ить глядеть страшно. Такая страхолюдина всю допрежнюю память отшибет...

— А мы-то в чем виноватые?

— А в том и виноватые, что привычку к себе, как собачонку какую, доржим. Чтоб нас она оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя опосле будешь терпеть — перекрестишься, не поверишь. Ниче уж живого нету, все вывалилось, окостенело, ни зубов, ни рогов, ни холеры — нет, милей тебя белый свет не видывал. Да нáшто? Тебе господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — и в землю... чтоб земля не убывала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек. Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не отымай у их время. У их его тоже в обрез.

— Куды так торопиться-то? — отказывалась Катерина.— Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила...

— А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто заместо меня будет жить?

— Может, кто другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты — пошто ты тогды с Петрухой со своим не можешь сладить? Пошто не живешь как охота, а по чужой указке ходишь? Пошто всю жисть маешься? Нет, Катерина, я про себя, прости господи, не возьмусь сказать, что это я жила... Сильно много со мной не сходится...

...Вдвоем и правда было легче и за хозяйственной управой, и за разговорами. Дни стояли длинные, старухи успевали все и, устав, ложились после обеда отдохнуть, но не засыпали, а разговаривали лежа. И разговаривали поднявшись, в ожидании вечерней уборки, а потом и после нее — так и шло время, так незаметно и соскальзывали с одной стороны на другую длинные летние дни. На разговоры подходила Сима со своим неотвязным хвостом — Колькой; заявлялся Богодул, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить слово; приходила глуховатая Тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не вынимала, а потому почти не говорила; приходили на чай и беседы другие, кто еще оставался в Матёре... Поминали старое, дивились новому, смыкали вместе то и другое, жизнь и смерть... Никогда раньше так подолгу они не разговаривали.

И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на большую жизнь, было что в ней понято.

А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторней и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер.

11

Но еще сумела, всплеснулась жизнь в Матёре — когда начался сенокос. Кормов по новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то угодий, двинулись в последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам — кто где жил, туда на страдованье и поехал. Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить-побыть под конец в родной деревеньке, чуть не у каждого там дом, скотина, огород, неподчищенные дела, да и земля не молчала, звала их перед смертью проститься. Мало кто, не слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной работе, отказался поехать — привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!

Полдеревни вернулось в Матёру, и Матёра ожила пускай не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные с Подмоги, зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забренчало покосное снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницу, чтобы подладить технику на конной тяге, достали литовки — и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось — и поди ж ты! — как раньше, отыскались литовки, и оказался жив дед Максим. К нему же тащили грабли, вилы, носилки — и он подновлял, подгонял, острил, вставлял взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за работой, хотя только что помирал, стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться. Ему с улыбкой, с удовольствием подчинялись — так же покрикивал он на них двадцать и больше годов назад, так же назначал их на работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры теперь,— будто ничего не изменилось. И, как тогда, обходились без большой техники: тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя, а здесь оставались только одна бортовая машинешка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на бугре за деревней. Но машину, как нарочно, как в наказанье, что она здесь оказалась, держали на побегушках: за холодным квасом по жаре сгонять или доставить на луг припоздавшую со скотиной бабу. Серьезной работы ей не давали. Из

какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась много дряхлей и неуместней подвод. Но это уж действительно из каприза, из игры, в которую, однако, включались все, и включались с охотой.

Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактор, а то и не один, так или иначе придется, когда понадобится стягивать зароды к воде — их сразу на тракторные сани и собирались метать. Но это потом, потом... пока управлялись, как и раньше, косилками, конными граблями, вязали для копен метлы...

И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей, придется навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на десять же лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был; и стыд не в стыд, когда кругом свой табор,— с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: «Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы», но в следующий роздых с удовольствием безумели снова.

Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом:

— Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому.

Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.

Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше

к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне,— ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были; в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза: из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки, по острову разгуливал народ — кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя куда-то вдаль, кто подбирал на полянах первую красную ягоду — и непросто было сразу сказать, свои это или чужие.

Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди — запряженные в ходки кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при въезде в деревню, по два-три человека в ходках, несколько верховых по сторонам, все остальные с песней за подводами. Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки старая, прощальная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, которую словно для этой поры и хранил в себе... Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце.

Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что ни на есть милостивая. На одной луговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа, конные грабли с большими изогнутыми зубьями; гребь поспевала на солнце и на ветру уже через день, до обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных для колес, сырых и неровных местах, после обеда брались за грабли. Мужики ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их спинами, как что-то жи-

вое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того — от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!.. где, в каком краю может еще так пахнуть?!

И уже начинали оглядываться с опаской: быстро, быстро подвигается дело — так и обратно скоро, не пожив вволюшку в Матёре. Дождь, что ли, брызнул бы, чтоб потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани — и верно, конец проглядывает, куда торопиться?! За сеном и с Матёрой на прощанье не побыть, не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама, и не находилось человечьих сил осаживать ее — гнали, напротив, злясь на себя, и того пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее; и работники не успели еще избаловаться.

По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе — полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости. Обмирала Матёра от судьбы своей в эти часы: догорала заря за Ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась наверху бездна неба; ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день и догасала, благодарствуя, жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание, которое то возникало сильней, то усмирялось; и чувства человеческие в лад ему тоже сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее ответствие. И казалось, сдвигались плотней в деревне избы и, покачиваясь, тянули единый, под ветер, нутряной голос; казалось, наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов; казалось, близко подступало все, что было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное, выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивало. Что? — не понять, не услышать было, но мнилось, что и на это, невнятное и неслышимое, следует отвечать.

Говорили мало и негромко — и правда словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет; только это, как обморочное, сном-духом чаянное, состояние и представлялось

важным, только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной, к несчастью, из огня, начинал возить на ней «Ты Подгорна, ты Подгорна...», сбивал настроение — и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет завтра, и идти в постель.

Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнула:

— Но-о... это откуль такая божья коровка к нам заползла?

— Извини-подвинься,— возмутился Петруха — не «божьей коровкой» возмутился, а «заползла».— Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, лётаю.

Это «извини-подвинься» он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занес он матери с больших денег за сожженную усадьбу пятнадцать рублей и, когда она заикнулась было, что мало, отвечал:

— И-извини-подвинься. А я на что должон существовать? Я должон ехать, устраиваться на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги.

Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками.

— Много наменял-то? — спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов изжамканных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые руки не попадали.

— Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мою не мешайся. Устроюсь — выпишу тебя, будем жить вместе. А покудова — извини-подвинься.

Два дня он потосковал в Матёре без магазина и нырнул в новый поселок, три дня плавал там, не снимая своего маркого костюма, светлый тон в котором после этого остался только далеко в глубине, а красная нитка полностью исчезла. Теперь опять объявился в Матёре, спал без родного угла где придется, иногда даже у Богодула в его колчаковском бараке, что считалось крайней степенью бездомности и опущенности, но форс продолжал держать,

выдумывая про себя, что он в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на катере и куда-то увезет как человека, до зарезу необходимого; подвязал к своей инвалидной «подгорне» веревку, чтобы накидывать на плечо, и «тарзанил» ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на луг, устроился под березку, и запилил-запиликал, но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха, обычно языкастый, и отругиваться не стал — отступил.

...Но после долгого, крепкого вёдра сумело-таки подползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди...

12

В первый день, когда дождь только еще направлялся, побрызгивая манной небесной, угодной полям и огородам, в Дарьин дом нагрянул гость — приехал Андрей, младший сын Павла. Павлу как отцу выпало обойтись без дочерей, четырежды Соня, жена его, рожала, и все были парни, но один сразу же, как только открыл глаза, не вынес белого света и отошел, осталось трое. Старший, женившись на нерусской, поехал на ее родину на Кавказские горы посмотреть, что это такое, да там и остался, соблазнившись теплым житьем; средний, гораздый на грамоту, учился в Иркутске на геолога и на тот год должен был уже отучиться, а Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в Матёре, но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше нарастающую, связанную с переселением, и укатил в город, устроился там на завод. Теперь он, оказывается, уволился с завода и метил в другое место, а по пути завернул домой. Два дня Андрей побыл у матери в совхозе — Соня работала в бухгалтерии и оставалась в поселке, отвел у нее первую очередь и поплыл к отцу и бабушке. Павел исподволь добился своего, вел в Матёре сенокос и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как до того наезжал в Матёру.

Дождь оказался кстати: можно было посидеть, поговорить не торопясь; не решались отважиться на передышку своей властью, так ее спустил сам бог. Андрей, здоровый рядом с отцом, невыболевший, не потратившийся на работе парень, которому армия пошла явно на пользу — уходил туда согнутый, заглядывавший в землю не-

складень, а воротился этакий вот молодец с выправленной спиной и поднятой головой,— Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно из избы во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только смоченную и налипающую пыль, вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто куда переезжает, и от нечего делать по-свойски, ласково задирал Дарью:

— Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?

— Куируюсь, куируюсь,— даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она.

— Неохота, наверно, отсюда уезжать?

— А какая тут охота? На своем-то месте мы бы, старухи, ишо ползали да ползали полегоньку, а вот погоди, сковырнут нас, и зараз все перемрем.

— Кто это, интересно, позволит вам умирать?

— А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-нить сами,— незаметно в свою очередь задираясь, говорила Дарья.— На это уполномоченных, чтоб приказы подавал, ишо не додумались назначать. Вот и мрут люди как попадя, что разнарядки такой нету.

— Да ты не обижайся, бабушка. Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю.

— Пошто я на тебя-то буду бижаться?

— А на кого ты обижаешься?

— Ни на кого. На самуё себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно место крапивой жарила, чтоб ты на ём сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал отсель...

Андрей смеялся.

— Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней.

— Распорядись, распорядись... Охота на тебя поглядеть, до чего ты под послед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь. Хошь на крыльях летай. И не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, дак все можешь? Ох, Андрей, не думай. Поживешь, поживешь и поймешь...

— Э-э, бабушка, тут я с тобой не согласен. Это у тебя от Матёры, оттого, что ты дальше Матёры носа не высовывала. Что ты ничего не видела. Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас

в руках такая сила — о-е-ей! Что захочет, то и сделает.

— Это сделает, сделает...— соглашалась Дарья.

— Ну, так что ты тогда говоришь?

— То и говорю. И помнет, и подымет... А смерть придет, помирать будет. Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне довелось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль Матёра стояла, мне торопиться некуды было. И про людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне ни приставлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе покуль себя не жалко, дак это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу. Издали вроде покажется: ну, этот ниче не боится, самого дьявола поборет... гонор такой доржит... А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше. Ты из своей человечьей шкуры хочешь выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо такого. Только обдерешься да надсадишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выскакивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не пустит. Люди про свое место под богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, кто до нас жил... Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох, загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже много чего об себе думал. А шмякнулся, печенки отбил — дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуды с земли не деться. Че говореть — сила вам нонче большая дадена. Ох, большая!.. И отсель, с Матёры, видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта... Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались.

Долго сидели за столом; отец с сыном выпили бутылку водки, привезенную Андреем, и ничуть не опьянели, только Андрей с лица еще больше помолодел, а Павел еще больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив нее, и думала: «Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было годов — где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было... чтоб с другого конца новый подвязать. Куды, в какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что будет? Пошто так охота узнать, что будет?»

Дождь на улице подбавился и зачастил, на стеклах появились потеки. Потемнела земля, крупными сосульчатыми каплями закапало с крыш; пенясь, остановилась в окне Ангара. И сильнее, приятней запахло за столом самоварным духом, душистей показался чай, который пили теперь уже все, и важней, уместней показался семейный разговор, который они говорили.

— Мало зарабатывал, что ли? — спрашивал Павел, допытываясь, почему Андрей уволился с завода.

— Зарабатывал — одному хватало,— пожимал плечами Андрей. Он старался говорить с отцом на равных, но, еще не привыкнув к равности, как-то сбивался, соскальзывал с нужного тона и то поднимал голос, то терял его.— Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. Неинтересно. Там стройка на весь мир. Утром радио включишь — ни одно утро не обходится, чтоб о ней не говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод... таких много. В каждом городе они есть.

— Для завода погоду не передают?

— Так и знал, что ты сейчас это скажешь,— спохватывался Андрей.— Для завода и не надо, для города передают. Дело не в этом. Завод, он никуда не убежит, а стройку закончат — обидно будет. Охота, пока молодой, тоже участвовать... чтоб было, значит, потом что вспомнить...

Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом: он скомкал, поджевал его, чтобы не произносить громких слов, которых, он знал это, отец не любил. Павел ожидающе молчал, и от этого неясного, как скрадывающего молчания Андрей начал горячиться.

— Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть,— то ли доказывал, то ли оправдывался он.— Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое... все, как говорится, в движении. Я хочу, чтоб было видно мою работу, чтоб она навечно осталась, а на заводе что? По неделе с территории не вылазишь... Это на машине-то. Железяки с места на место, из цеха в цех, как муравей, крутишься, развозишь. Это любой старик может. Завод, он для пожилых, для семейных, чтоб на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все по-другому... по-новому. ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет.

— Опоздал, однако, маленько,— задумчиво кивая, гово-

рил Павел.— Ее, ГЭС-то, однако, без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется.

— Ну-у, там еще столько работы! Хватит на меня. Самый интерес сейчас начнется.

Дарья насторожилась.

— Дак ты погоди, ты туды, че ли, метишь, где Ангару запружают? — только теперь поняла она.

— Туда, бабушка.

— Но-о, ишо не легче...— начала и не договорила она, потерявшись от неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным непониманием.

— А что, бабушка?

— Ты пошто другого-то места не нашел?

— Зачем мне другое? Я хочу туда. Матёру, бабушка, все равно затопят — хоть со мной, хоть без меня. Я тут ни при чем. Электричество, бабушка, требуется, электричество,— присаживая на сильную шею голову и взяв голос, как маленькой, толковал он Дарье.— Наша Матёра на электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить.

— А то она, христовенькая, на вред тут стояла,— тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья и умолкла, замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят, наблюдая больше, как говорят, как меняются в разговоре лица, с трудом или нет достаются слова, в какой они рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало ей покоя, и, забывшись, она опять сказала, будто и не спрашивая, а подтверждая для самой себя — никак не укладывалось это в ее голове: — Дак это ты, значитца, будешь воду на нас пускать?.. Но-но... Гляди-ка, че деется!

— Почему я-то? — засмеялся Андрей.— Там без меня все готово, чтоб ее пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши.

— Ну и не ездил бы туды...

— А что,— осторожно подхватил слова матери Павел.— Взял бы и остался здесь. Нам шоферы нужны. Новую машину получишь. Работы здесь хватит на весь ваш завод.

Он сказал и без надежды усмехнулся, скосив глаза вниз: не стоило и предлагать — не останется. И верно, помолчав, словно бы подумав, Андрей покачал головой:

— Да не-ет. Из города уехал и к вам?

Можно бы возмутиться: какое право он взял, родив-

шись здесь, поднявшись и став здесь человеком, говорить так о своей родине, но Павел не возмутился, он для того, казалось, и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет ответить сын, что нажил он за последние, не связанные с домом годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится. И что бы сейчас ни ответил Андрей, все следовало принимать спокойно и раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный смысл — ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, и это он заменит скоро отца на земле — нет, лучше сказать, не на земле, а на свете. От земли он отошел и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Павел продолжал говорить, так не для того, чтобы убедить сына, а чтобы знать его ответы.

— Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с тобой сидим.— Павел покосился на мать, боясь ненароком обидеть ее; к новому совхозному поселку он и сам не испытывал любви, но что верно, то верно.— У нас там будет как в городе, к тому дело идет. Ты был, видел, что творится.

— Видел. Здорово, конечно. А все равно неинтересно у вас.

— Какой тебе нужен интерес?

— Я уж говорил...— Андрей легонько поморщился от нежелания повторить то, что и не выстроилось в порядок, а только кружило голову, и о чем, стало быть, трудно сказать определенно.— Потом семьей обзаведусь, потом, может, и сюда приеду. А пока молодой, неженатый, охота туда, на передний, как говорится, край... чтоб не опоздать. Вся молодежь там.

— Война, что ли: передний край? — не пропустил Павел.

— Передний не передний... я не знаю, как сказать. Так говорят. Где горячее самое место, самая нужная стройка. Сейчас все внимание туда. Люди вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут рядом и — мимо. Как-то неудобно даже... будто прячусь. Потом, может, всю жизнь буду жалеть. Сильно, значит, нужна эта ГЭС... пишут о ней столько. Такое внимание... Чем я хуже других?

— Закончат — снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием? Привыкнете ведь на виду, избалуетесь, одного солнца мало покажется. Ты-то как думаешь, надолго туда, под внимание?

— Там видно будет.— И, почувствовав, что этого ма-

ло для ответа, заговорил быстрей и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно бы обиженной интонацией: — Как вы не понимаете?.. Бабушка не понимает — ей простительно, она старая. А ты-то? — Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец», но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему, детскому «папа».— Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя. Далеко не уйдешь. Разве что по Матёре топтаться... Много ли толку от этой Матёры? И ГЭС строят... наверно, подумали, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко Матёру, и мне тоже жалко, она нам родная... По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие родятся. Как вы не понимаете?

Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уже не из его — из другого, из следующего поколения.

— Почему не понимаем? — задумчиво и не сразу сказал он.— Маленько и мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нету. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

— Вот вы и работаете. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где, значит, трудней всего — там молодежь. Где полегче, попривычней — другие. Все-таки не сравнить — там или здесь, условия-то разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе сделать, она для них — самое главное, они там и живут только для этой работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем особенного нет. По-моему, всегда так было. У тебя тоже... если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе,

значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом месте... Так требуется...

— Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать получше, а в другом считаем, что можно как попало.

— Плохо, конечно,— не задумываясь, думая над тем, что еще возразить отцу, кивнул Андрей.— Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет назад, и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то, наверно, и на нашу Матёру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался — и вышло, что земли без Матёры и правда не хватало. А сын его пошел дальше — не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее...

— А почему ты думаешь, что здесь полегче?

Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:

— В старину как говаривали... Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого неволит,— худая мать.

— Это ты о чем, бабушка? — хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и обрадованно, что она встряла и перебила этот несогласный и какой-то неоткровенный, стыдливый разговор между отцом и сыном — точно говорили о бабах.

— А не об чем,— отказалась Дарья, поджимая тонкие, острые губы.

— Дождь-то как разошелся,— заглядывая в окно, сказал в молчании Андрей; ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание.

Стали смотреть на дождь — как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в твердых низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он с крыш амбаров; услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным, исполным покоем отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче, свежей стало дышаться, что, обновленный чистыми, снесенными водой небесными за-

пахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, воздух успел натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором, что разговор только отъединил их, родных по самому прямому родству, друг от друга, а это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но, поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверно, спросить давно:

— Когда уезжаешь-то?

— Поживу пока,— улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом у него нет.— Куда торопиться?

— Если поживешь, может, сена мне подмогнешь накосить? — предложил вдруг отец. Ему только сейчас, сию минуту пало это в голову и тут же само сказалось, он еще не успел осознать, надо ли было говорить и готов ли он сам к тому, на что подбивает сына.

Андрей с охотой согласился:

— Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу.

— И правда,— обрадовался, решившись, и живей заговорил Павел: — Вдвоем мы на корову накосим, зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли? А то мы уж в панику ударились, не знали, как быть. Одному где же... я на работе. Мать там. Бабушка тоже не помощница.

— До смертинки три пердинки,— кивнула Дарья.

Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не переставая почти, страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись вся, взмолилась Дарья сдавленным голосом:

— И могилки, Павел. Ты посулился. Когды потом?.. Заодно бы...

— Ага,— вспомнил Павел.— Надо бы еще могилы перенести. Она давно просит.

Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинув брови,— всерьез ли говорят, но согласился и на могилы.

13

Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе, морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало воду, наполнившись до краев,— она

разливалась через края, растекалась вширь и полнилась, полнилась... Вода стояла даже в травах. Улица, выбитая тележной и машинной ездой, походила на речку, по берегам которой выстроились порядки домов; только вдоль этих порядков и можно было ходить, а уж перебраться с берега на берег — надо было изноравливаться, наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, издождившиеся тучи, внизу же не было никакого даже подобия ветерка, замерший воздух сек один дождь. Ветки на деревьях обвисли, с них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли; обвисли и нескошенные травы, спрятав острые возглавия и выстелившись сплошным согбением, о которое шумел и шумел то сильней, то слабей, упадая, дождь. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода — пену выталкивало к берегам, к затопленной тиши, но она, собираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя.

Спасаясь от сырости, топили печи; дымы по утрам поднимались над избами как зимой — так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух. Дымилась и Настасьина изба, в нее сразу же, как только приехал к Дарье внук, перебралась Катерина. Похоже, что она обрадовалась причине перейти туда, чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который по-прежнему слонялся по деревне без забот и без дела, как одуванчик божий: куда понесет — туда и покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют «навар» — под «наваром» разумелась выгода.

— Мне чтоб фатера была, а не стайка,— выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда, с придурью, с форсом.— Я с матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей маяться. Конешное дело, она из комсомола состарилась, а ты говоришь, там комсомол... Но потребуется — сильно даже может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь,— «жизнь» Петруха выговаривал полностью, с удовольствием подзванивая это слово,— к примеру, рассказать...

Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней только по газетам да по сбивчивым рассказам, но Петруха вдруг засобирался с ним вместе, стал захаживать каждый день, чтоб поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым и нужным работником, а по деревне нес, будто уже устроился и чуть ли не получает даже зарплату. Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали:

— Сюда высылают?

— А куда — сюда? Ежли у нас почты нету? — поражался он людской бестолковости.— Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал: задержать. Опосле, вот непогодь эта кончится, подъеду и зараз получу.

— С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?

— Пошто-о?! — Петруха был за полную справедливость.— Я про бездетность сам в детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь... не работал. Ну и что, ежли не работал? Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел. У себя задержать хочут. И я по закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься, о-о-о! С ним не шибко!

— Ну трекало! Ну трекало! — восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухе, а он, довольный, что у них не находится больше что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал:

— Понимать надо.

В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье — все обман, на который они от слабости человеческого сердца поддались. А правда состоит в том, что надо переезжать, надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уж если жили не зная, чем жили,— зачем знать уезжая, оставляя после себя пустое место? Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит солнце и выстывает свет, а в душе

поднимаются смятение и любовь, и жажда еще большей любви, какие выпадают не часто,— правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения: так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе,— так свято и изначально верили они бесхитростным выпеваемым словам и так истово и едино возносили голоса; это сладкое и тревожное обмирание по вечерам пред красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе благословенным путем, чутко внимая всему, что проплывает внизу; эта возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал, что ты — не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу,— вот это все запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколенья людей.

Так отчего бы и им не омыться под конец жизнью, что велась в Матёре долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами: было. Было, да сплыло. Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засевает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания.

Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните.

Но почему так тревожно, так смутно на душе — только ли от затяжного ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот, или от чего-то еще? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась — не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом, отдельно с листом и отдельно с иголкой,

каждый кустик веет своим дыханием; пахнет деревом постройки, пахнет скотиной, жильем, навозной кучей за стайкой, огуречной ботвой, старым углем от кузницы — из всего дождь вымыл и взнял розные терпкие запахи, всему дал свободный дых. Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле? — не раньше и не позже. Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?

С утра попробовало распогодиться, тучи отжато посветлели и заворошились, пахнуло откуда-то иным, легким воздухом, вот-вот, казалось, поднырнет под тучи солнце, и люди поверили, тоже зашевелились, собрались к Павлу справляться, будет ли дело. А пока собирались да рассуждали, опять потемнело и потекло. Расходиться не хотелось — сидели, возили всё те же разговоры. Дарья вскипятила самовар, но на чай почему-то не польстились, видать, не просохли еще от домашнего. Одна Катерина взяла на колени стакан. У дверей на лавке, прислонившись к стене и подняв и обняв ногу, расположился Афанасий Кошкин, или Коткин, кому как нравится, тот так и называл, а Петруха из потехи сливал их вместе и на всю матушку-деревню кричал: «Кот и Кошкин, а Кот и Кошкин!» Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз, всей семьей поменяли фамилию на Коткины: новое — так все новое, красивое — так все красивое. Над Афанасием подшучивали — он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, што Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным ходил — никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им што — она им, фамиль-то, не родная, она им, што платок на голову,— сёдни одна, завтрева другу одевай. Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня... и я задумался. «Кошкин,— грят,— это ты вроде под бабой ходишь, а Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили... Задумался и грю: «Поллитру ишо дадите, дак берите». Никто не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили.

— За поллитру, значит, фамиль продал?

— Дак выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам под етой буковкой крышку сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто. А расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был Кошкин и есть Кошкин. А оне как хочут.

Вера Носарева, Дарьина соседка с нижнего края, несколько раз уже порывалась встать и уйти домой, даже не домой, а на деляну — Вера, пока суть да дело, бегала на свой сенокос, потихоньку валила травку, но уходить из тепла и от людей не хотелось, дождь к тому же распалился и шумел сплошной волной. На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова — эта давно бы и стриганула, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб — полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк, мало-помалу перешел опять все к тому же — к Матёре, к ее судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадежно махнула рукой:

— А-а, ниче не жалко стало...

— Жалко-то, поди, как не жалко...— начал Афанасий и умолк, сказать было нечего.

— Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету,— отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли ее.— Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут... Да она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как жуки навозные, за старую хватаетесь, всё каку-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить.

Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям:

— Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить.

— Без хлеба, че ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.

— Покеда не сидим...

— Ну горлодерка ты, Клавка! — вступила, опомнившись, Дарья.— Ну горлодерка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было.

— Раньче не было, теперь есть.

— Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога — пара.

— Нужон он мне как собаке пятая нога,— дернулась Клавка.

— А ты ему дак прямо сильно нужна,— обиделась в свою очередь Катерина.

— Вам че тут жалеть, об чем плакать? — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дергалась головой вперед, точно клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб.— У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что холера... Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам не жалко будет. Такие уж вы есть... обсевки.

Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет... почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так, нет. Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.

— Говори, говори, не отлынивай,— настаивала Клавка.

— Жалко,— сказал Андрей.

— За что тебе ее жалко-то?

— Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.

— Вот ребеночек! Че тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться — как же! Это ты говоришь — бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не Матёру.

— Почему...

— Потому. Меня не проведешь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду... Ты тоже не любишь ее прятать.

Но Дарья и не собиралась обижаться.

— Я, девка, и об етим думала,— призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю.— Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну ладно, думаю, пушай и такая... А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит — кто до

нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых братов пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержанье только дали... чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие спросют. Вы детишек-то нáшто рожаете? Только начни этак фуговать — поглянется. Мы-то однова живем, да мы-то кто?

— Человек — царь природы,— подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет.

И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми, крупными каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над Матёрой крышку, теперь рассосалась — было серо и размыто, и так же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серо, мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни.

— Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты,— приговоркой прервал его, очнувшись, Афанасий и поднялся.— Налей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша сёдни уплыла, будем чаи гонять.

Пришла Тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она, молча пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и, причмокивая, принималась сосать ее. И не трогай ее, не скажет за весь день ни слова, а может, и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной глубокой и сонной задумчивости.

Была она в Матёре не своя, но теперь уже и не чужая, потому что доживала здесь второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив, Тунгуска толковала — не столько словами, сколько жестами, что это ее земля, что в далекую старину сюда заходили тунгусы — и так оно, наверно, и было. Теперь же старуха прикочевала сюда по другой причине. Совхоз собрался заводить звероферму, но пока завел только заведующего — это и была Тунгускина дочь, немолодая безмужняя женщина. Прошлой весной, когда они приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не хватало, и дочь по чьей-то подсказке привезла свою старуху в Матёру, где появились свободные избы. Так и застряла здесь

Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, смотрит, уставив глаза куда-то в низовья, на север. С огородишком она почти не возилась — так, грядку, две, да и те запускала до крайности — или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась, никто не знал: дочь к ней наведывалась из поселка не часто. На людях за чай, когда усаживали, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку хлеба. Но тем не менее жила, не пропадала и как-то чуяла, где собирался народ, туда сразу и правила. Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше.

Тунгуска прошла в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже привыкли — что усаживалась на пол, и хоть силой подымай ее на сиденье — не встанет. Старики в Матёре тоже, бывало, примащивались курить на пол — вот она откуда, выходит, привычка эта,— еще от древних тунгусских кровей.

— Пришла? — отрываясь от чая, спросил Афанасий.

Тунгуска кивнула.

— Вот тоже для чего-то человек живет,— философски заметил Афанасий.— А живет.

— Она добрая, пускай живет,— с улыбкой сказала Вера Носарева.

— Да пуша-ай. Ты в совхоз-то поедешь? — громко, как глухой, крикнул он Тунгуске.

Она, не успев сомлеть, опять кивнула — на этот раз уже с трубкой в зубах.

— Ишь ты, собирается. Ей-то там, однако, совсем не шибко будет.

— Дался вам этот совхоз,— задираясь, опять начала Клавка.— Прямо как бельмо на глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза — опомнитесь, не то запоете. До чего капризный народ: че забирают — жалко, хошь самим не надо, в сто раз лучше дают — дак нет, ерепенятся: то не так, это не растак. Че дают, то и берите, плохого не дадут. Другие вон радуются. Чем не житье там? Тетка Дарья ладно,— сделала она отмашку в сторону Дарьи,— с нее спрос, как с летошного снега. А вам-то че ишо надо?

Вера Носарева, необычно присмиревшая, уставшая и растерянная без работы, сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула:

— Дали б только корову держать... Косить бы дали... А так-то че? Другая жисть, непривычная, дак привыкнем. Школа там, до десятого классу, говорят, школа будет.

А тут с четырехлеткой мученье ребятишкам. Куда бы я нонче Ирку отправляла? А там она на месте, со мной. От дому отрывать не надо.— Вера украдкой и виновато взглянула на Дарью и в мечте, не один раз, наверно, представленной, захотела свести...— Этот поселок да в Матёру бы к нам...

— Ишь, чего захотела! Нет уж, я несогласная,— закричала Клавка.— Это опять посередь Ангары, у дьявола на рогах! Ни сходить никуды, ни съездить... Как в тюрьме.

— Привыкнем,— откуда-то издалека, со дна, достал свое, своей думой решенное слово Афанасий.— Конешно, привыкнем. Через год, через два... тут Клавка в кои-то веки правду обронила... Через год, два доведись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труды положим, дак што... Нас с землей-то первым делом оне, труды, роднят. Тебе, Клавка, не жалко отседа уезжать — дак ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не подскакивай,— остановил он ее,— мы-то знаем. Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам-читалкам мышковала...

— У меня грамота...

— Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов — у-у — много надо трудов, чтоб землю добыть. За што и браться... Найти бы тую комиссию, што место выбирала, и носом, носом... Эх, мать вашу растак...

— Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил да покрепче привык.

— Может, и так. Где наша не пропадала. Вырулим. Обтерпимся, исхитримся. Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику, он из любой заразы вылезет. Так, нет я, Павел, говорю?, Што молчишь?

Павел курил, слушал и все больше, не понимая и ненавидя себя, терялся: говорила мать — он соглашался с ней, сказал сейчас Афанасий — он и с ним согласился, не найдя, чем можно возразить. «Что же это такое? — спрашивал себя Павел.— Своя-то голова где? Есть она? Или песок в ней, который, что ни скажи, все без разбору впитывает внутрь? И где правда, почему так широко и далеко ее растянули, что не найти ни начал, ни концов? Ведь должна же быть какая-то одна, коренная правда?! Почему я не могу ее отыскать?» Но чувствовал, чувствовал он и втайне давно с этим согласился, и если не вынес для себя в твердое убеждение, которое отметало бы всякие

раздумья, то потому лишь, что мешали этому боль прощания с Матёрой да горечь и суета переезда — чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезному человеку бы их говорить, и в рассуждениях Андрея в тот день, когда они встретились и сидели за столом, и есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти. И молодые понимают ее, видимо, лучше. Что ж, на то они и молодые, им жить дальше. Хочешь не хочешь, а приходится согласиться с Андреем, что на своих двоих, да еще в старой Матёре за сегодняшней жизнью не поспеть.

— Привыкнем,— согласился Павел.

— Как думаешь, добьемся, нет хлебушка от той землицы? — спрашивал Афанасий.

— Должны добиться. Наука пособит. А не добьемся — свиней будем откармливать или куриц разводить. Счас везде эта.. специализация.

— Дак я на своем комбайне што — куриц теребить буду?

Бабы оживились.

— Сделают приспособление, и будешь. Чем плохо?

— Хватит пыль глотать, вон почернел весь от ее.

— Перо полетит, дак очистится.

Дарья, отстав от разговора, никого не слушая и не видя, сосредоточенно, занятая только этим, потягивала из поднятого в руках блюдечка чай и чему-то, как обычно, мелко и согласно кивала.

— Што, бабы,— руководил Афанасий,— будем закрывать, однако, собрание. Засиделись. Дарья уже самовар допивает. Какое примем постановленье? Переезжать али што?

— Без нас давно приняли.

— Пое-е-хали! Там, на большой земле, и вниманье на нас будет большое.

— Только клопов, тараканов лучше вытряхивайте.

— Как ты, Тунгуска? Будем переезжать?

Тунгуска вынула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос непонятно где плутавшие глаза и кивнула.

— Ты, Дарья, тоже собирайся. Без тебя мы не поедем.

Но Дарья не ответила.

— Глите-ка,— спохватилась Вера Носарева.— Дожь-то вроде присмирел. Засиделись, засиделись... Воду толочь — дак вода и будет. Я побежала. Крикнешь, Павел, ежли че. Но сёдни уж не кричи. Сёдни я побежала.

...Дождь, дождь... Но виделся уже и конец ему, про-

межутки от дождя до дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова забарабанит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять забрызгало — словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь окончательно прояснит. И люди, не умея покориться, злились, кляли и небо, и себя — за то, что живут под этим небом.

В один из таких не устоявшихся еще, шатких дней — не дождь и не вёдро, не работа и не отдых — приехал Воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воду. Народ собрали в грязном и сыром помещении с наполовину выбитыми стеклами, бывшей колхозной конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах; не было и стола, за который бы устроились приехавшие,— они, дав между собой и народом небольшую, в три шага дистанцию, встали возле дальней стены. Первым говорил Воронцов — о том, что надо закончить сенокос по-ударному, и люди, не перебивая, смотрели на него так, будто он свалился с луны: что он говорит? — дождь за окном. И верно, опять сорвался дождь, застучал по крыше, но Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он токовал свое. Представитель из района, по фамилии Песенный, простоватый с виду мужчина с загорелым и скуластым, как у всех местных, лицом и голубыми детскими глазами, который, быть может, и правда хорошо пел, если имел такую фамилию,— представитель этот, когда Воронцов назвал его, начал издалека, чуть ли не с текущего момента, но сумел увидеть, как люди переминаются и жмутся друг к другу от сырости и сквозняка, и оборвал себя. Помолчав, он сказал то, зачем и прибыл сюда: надо, чтобы к половине сентября Матёра была полностью очищена от всего, что на ней стоит и растет. Двадцатого числа Государственная комиссия поедет принимать ложе водохранилища.

— Дак мы картошку не успеем выкопать. Хлеб не успеют убрать. Вот так же задурит погода...— несмело возразил кто-то.

Песенный развел руками; отвечал Воронцов:

— С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный урожай мы обязаны убрать. И

мы его уберем. В крайнем случае из города силы подъедут.

Но люди, изнуренные ненастьем, и объявленный крайний срок гибели родной деревни приняли как-то спокойно и просто. Не верилось, когда все кругом на десять рядов пропиталось водой, что когда-нибудь что-нибудь может загореться. И середина сентября казалась сейчас столь же далекой, как середина декабря. Только взяли на память, что нынче придется приниматься за картошку пораньше. И мысли пошли в сторону: выкопать — ладно, выкопается, а как ее перевозить, куда ссыпать? Где взять столько мешков? По семьдесят, по восемьдесят кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут чего проще: при нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать — огород под боком, а туда, наверно, понадобится снаряжать все одним разом. Вот и задумаешься: что делать, как быть?

Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил матёринцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху сроду никто не хвалил, и он завзглядывал кругом себя героем, а после собрания подошел к Воронцову и Песенному для беседы. О чем была меж ними беседа, никто не слышал, но видели, как Воронцов, показывая на Петруху, что-то долго говорил Песенному, а тот вынул из кармана блокнот и стал черкать в нем карандашиком.

И только по избам, отогревшись, загалдели люди: середина сентября. Полтора месяца осталось. Всего-навсего полтора месяца — не заметишь, как и пролетят. И непривычно, жутко было представлять, что дальше дни пойдут уже без Матёры-деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза: где там, рано или поздно, красное солнышко? Походят, походят осенние дни над Матёрой-островом, приглядываясь, что случилось, отчего не несет с острова дымом и не звучат голоса, пока в свой час один из дней, на какой это падет, не сможет отыскать на своем извечном месте и острова.

И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.

Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание, тоже постоял, привалившись к дверному косяку, отдельно от всех, как человек посторонний, послушал, что привезло начальство. И, вернувшись домой, подробно передал Дарье, о чем говорилось. Она присела на лавку у стены, опустив руки, помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала:

— Но-но.

Андрея удивил ее голос: на одном этом звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжественности, точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечется ли, глядя на Матёру, вся остальная земля? Но уже тише, покорней Дарья добавила:

— Вот так бы и человеку. Сказали бы, когды помирать — ну и знал бы, готовился... без пути не суетился бы...

— Что ты, бабушка! Зачем же знать?!

Она не ответила — может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку, и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уже загорелся, взялся представлять:

— А забавно было бы. Ты, значит, живой, здоровый, а в паспорте у тебя, где год рождения, год смерти рядышком стоит.— Он натянуто, чужим смехом рассмеялся.— Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрят, а смотрят, сколько тебе осталось жить. Это же самый главный интерес. Кому мало — иди дальше, не работник; кому много — давай сюда. А захотел, к примеру, жениться: покажь, покажь, голубушка, какая ты долголетняя. И она тоже первым делом: ну-ка... Нет, бабушка,— поморщившись, задумчиво отказался он,— не надо. Пускай будет как есть.

Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснило больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо поднялось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный — первый знак того, что идет наконец погода. Временами соскальзывало и солнце — то упадет полосой за реку, то проплывет, вынырнув возле деревни, по поско-

тине, по полям и по лугу и снесется куда-то вниз. Заголосили присмиревшие в последние дни петухи — тоже чуют, что к чему, не просто так; слышнее и чище стали звуки: за версту брякнет, а отдается как над ухом. И Павел поверил: все, конец ненастью, а поверив, решил проверить, что успел натворить дождь — не почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего опять начинать работу.

Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный и подталкиваемый какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который состоялся в день его приезда:

— Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, ты говорила?

— Помню. Как не помню.

— Почему тебе его жалко?

Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для серьезного ответа эти слова:

— По то и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не чужой, поди-ка.

— Да почему жалко-то, я спрашиваю. Ты говорила: маленький он, человек. Слабый, значит, бессильный, или что?

— Ну, приспичило. Сказала и сказала. Я, может, так сказала, испроста.

— Не так ты сказала.

Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.

— А че, не маленький, ли че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать.— Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти-и-ил... страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давн-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над им верх взяла, она с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся. Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че ишо осталось, а че уж ветром унесло... Не-ет, он тошней того — ну понужать, ну пону-

жать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж — че там!..

— Как это он, интересно, надсадится, если есть машины? Все на машинах. Знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет, что они могут делать. Теперь уж не осталось такого производства, чтоб самому упираться. Где ему надсадиться-то? Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про старого человека говоришь, который сто лет назад жил.

Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.

— Я знаю, про че говорю. Сто годов... Сто-то годов назадь в спокое, поди-ка, жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говореть! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

— Есть, говорят, такая.

— Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и бог, парень. И хошь не верь — изневерься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того — человека в тебе доржит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке устремились. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянетесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню. Догонили не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека... себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтобы быстро нестись, оставите, остальное не надо. И в ранешное время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и

того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится? — Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с ведром, вареную с утра для коровы картошку, и продолжала: — Я на отца твово погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо непроворот. Друг дружку толкают, обгоняют... Упаси бог! Глядишь и думаешь: это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не огляделся — в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остановиться на месте. Громоток там, ишь, поболе, громоток тебе понадобится.

— Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом... Живем, и все. Кто как может, так и живет. — Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами Дарьи, смотрел на нее внимательно и насмешливо.

— Живете... Живите как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься. Куды, скажешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. Живите... Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Одную бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куды деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя.

— Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко?

— А я тебе про че говорю? — обиженно споткнулась она и вздохнула, опомнясь, что и верно, говорит, однако, не о том. Лучше бы ни о чем и не говорить — что толку! Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят Матёру, а она, вместо того чтобы поднять и вознести до срока и действа этого душу, берется рассуждать о том, что и рассудить нельзя, начинает переливать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим занятием времени! Немых считают несчастными, что говорить они не могут, а уж так ли они несчастливы, думая долгими, неперебиваемыми думами? Но Андрей ждал, ему для чего-то

нужен был ее ответ, и она, снова вздохнув, отыскивая, с чего начать, потерянным до полного смирения голосом неуверенно сказала: — Ну и жалко... Ить только посмотреть на его...

Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая за работой голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять:

— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется... И говорит... он хитрит на кажном слове, он не то хотел сказать. А че сказать просится — не скажет, промолчит. Надо идти в одну сторону, он поворотит в другую. Опосле опомнится — стыдно станет, обозлится на себя, а раз на себя, то и на весь белый свет. И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется память. А память, она все-о помнит, все держит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь кажин день на могилке цветочки сади, все одно колюча попрет. Э-эх! — Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг — чего прежде и в голову бы не пришло, явилось недоверие к этому вздоху: вышел он сам собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или бабушка умело подыграла им в лад словам? Но он не стал перебивать бабушку — она продолжала: — Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться? Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С Петрухи и спросу нет. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться. У сватьи Татьяны невестка была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она, Гуть-

ка, молоток за уборну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она щас молоток в руки, и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтоб доску прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.

— И ты, бабушка, тоже?

— А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит сделать как надо — нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ хлестался, есть бог али нету. Прости, господь милосливый, прости меня, грешную,— перекрестилась она в дверь, мимо Андрея.— Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют.

— Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.

Дарья выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро дрова, и повернулась к Андрею:

— А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру — ежли вы все можете, ежли вы всяких машин понаделали... Срежьте ее и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когды землю спускал, он ни одной сажени никому лишной не дал. А вам она лишная стала. Отведите, и пущай будет. Вам сгодится и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут.

— Нет, бабушка, таких машин. Таких не придумали.

— Думали, дак придумали бы.

И то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья:

— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, и плачет — ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется... По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом пройти, он бежит. А ишо смерть... Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смер-

ти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь...

Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной, в прихожей, где одно окно выходило на Ангару, стояло солнце. Лицо ее просветлело.

— Господи! — виновато прошептала Дарья.— А я про смерть... Не иначе как с ума, старая, сошла. Не иначе.

Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудом продравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, обещая, что только зайдет на ночь, а утром выйдет и примется за работу.

Дурноматом кричали петухи; кричала скотина; где-то гулко и торжественно бухало железо.

15

И оно, солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом: в небе еще держались тучи, подсохшие и сморенные, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось, тучи, утоньшаясь и сквозя, все отступали от него и отступали — и наконец, как льдины, растаяли совсем. К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей, снизывая, волна за волной, щедрую, чистую краску. В него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в глубоких нырках от счастья, что им дано летать. Мокрая земля задымила белым, молочным парком, который тут же сгорал под солнцем; готовились кваситься лужи, в них со вниманием заглядывали, словно решаясь наконец научиться плавать, курицы, в них бродили поросята, но без жары не ложились, только примеривались, где можно будет позже лечь. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты, но и после недельного ненастья нигде не тронулся желтизной лист — лето, значит, будет долгим. Розные в дождь, резкие и ясные запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было разобрать, чья, из какого ручья вода.

После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое сено. Дождь работы наделал. Но хуже всего — он смыл и унес азарт и запал, с ка-

кими до того шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и наперед, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорей конца: поставить зароды — и домой. Хватит жить нараскоряку: одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас, при солнце, середина сентября казалась совсем близкой — рукой подать, а еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду — где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды,— как быть с ней? И кто решался косить, теперь задумывался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу под забор?

— Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать,— попрекала себя и мужиков своих Дарья, недовольно охая, растравляясь тем, что вот задним умом только и умны.

— Можно было,— пряча глаза и нервничая, отвечал Павел.— Только он не сказывался, когда кончится. Можно было и сгноить.

Один Андрей не унывал:

— Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится — накосим. Я хоть завтра могу начать. Копен тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать копен?

— Ежли картофка уродится, пошто не хватит.

— Уродится — куда она денется!

Веселел от этой уверенности и Павел:

— Может, с кем сговорюсь в пристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работы не будет,— он еще по привычке говорил «колхоз».

— А поправитесь, могилки, Павел, могилки,— не забывала Дарья.— Покуль могилки не перенесете, я вас с Матёры не пущу. А нет — дак я сама тут останусь.

Андрей удивленно и недоверчиво переводил глаза с отца на бабушку и с бабушки на отца: неужто правда, как они говорят, придется отрывать могилы и выгребать то, что осталось от покойников, похороненных давным-давно, когда еще и его не было на свете? Зачем? Предстоящая эта работа и пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила: интересно. Интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле тридцать, сорок,

пятьдесят лет, и не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода-племени — дядя или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, не испытанные еще чувства? Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь похожее. Это особый случай, особая история, которые наверняка не повторятся.

Но известно же, что человек только предполагает... Назавтра вдруг как снег на голову: Павла срочно, с посыльным, вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, по головотяпству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом.

Павел лишь на минутку забежал домой, приехав с луга, куда за ним гоняли машину, едва переоделся и без чаю, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула:

— Когда назадь-то ждать?

— Не знаю,— на бегу отмахнулся он.

Андрей в тот день косил. Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте, на правом дальнем берегу за полями и кочкарником, и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один, прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, котелок и брусок, чтобы острить литовку. Он унес две литовки: вечером, пораньше, прямо с луга туда должен был завернуть отец. Но он не пришел, и о том, что случилось, Андрей узнал, воротясь в потемках домой. Выслушав бабушку, он уверенно сказал — так что поверила и она:

— Утром приплывет.

Однако утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, побежала к Андрею на покос. В кочкарнике после дождей стояла вода; если обходить — заворачивать далеко, долго, и она не от ума поперла прямо, выше колен провалилась в холодную вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и вынуждена была все-таки повернуть. Она совсем выбилась из сил, пока добралась до места,— Андрея там не было. Литовка, воткнутая в землю, торчала возле шалагана — старого, наполовину разоренного, крытого корьем еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми притаился

шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него, присела под солнышко на поваленную траву — ноги никак не отогревались. Разувшись и растирая их руками, она осмотрелась.

Андрей не столько накосил, сколько напутал,— видно, отвык от крестьянской работы, позабыл, растерял, что умел. Валки топорщились высоко, сквозь них торчала уцелевшая, ростовая трава, прокосы были волнистыми. Приглядевшись, Дарья заметила, что валки успели подвялиться и обсохнуть,— значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких гона. И горькое, неприятное чувство сжало Дарью: нет, ничего из загаданного не будет. Ничего не будет, не стоит и надеяться. Все впустую.

Она крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей выбрался из тальниковых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках у него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Недосмотри — он в кусты, где ягодка... И как он один живет?!

Но она для того и пришла, чтобы снять его с работы. За день она извелась и, когда услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут же подхватилась: пусть сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом. Бог с ней, с косьбой: приедет Павел — накосят, не приедет — один Андрей так и этак не справится. Но она уже мало сомневалась, что на этом нынешний сенокос и закончится. Что нынешний! — никакого другого для нее и подавно не будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да и одна ли?.. Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать косьбу, она решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда проститься. Вся земля на Матёре своя, но эта из своих своя: сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, но сколько и снято, испытано радости!

Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, Дарья копошилась в огороде. После дождей густо полезла трава, размыло картошку, и ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После недельного полива, а затем тепла хорошо, богато пошли огурцы — снимай хоть два раза на дню. И Дарья снимала, жалея, что некому их есть, вспоминая то время, когда свои ребята, потом внуки караулили чуть не каждый огу-

рец, размечая еще на гряде: этот твой, а этот мой... Давно ли, кажется, такое было? Вчера. Она сказала Андрею в тот разговор, когда он пристал с расспросами, что человек живет на свете всего ничего. И верно, не успеешь оглянуться — жизнь прошла. Только на три дня и можно рассчитывать: вчера, сегодня, ну и, может, немножко завтра.

В огород теперь, когда появилось что клевать, лезли курицы, опускались и небесные птички, и Дарья решила поставить пугало. Она натянула на крестовину палок свой старый и драный малахай; не найдя подходящей шапки, повязала сверху грязную тряпицу и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого черенка, вдруг поразилась: да ведь это она и есть. Она, она... Встать вот так посреди гряды, раскинуть руки — и ни одна курица не подойдет, ни одна птичка не подлетит. А она еще искала, спрашивала себя, на кого она похожа... Господи милостивый! — или так надо?

Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают по комиссиям, история эта скоро не кончится... решили не косить. Но Дарья думала уже не о сене, она перепугалась:

— Дак он-то при чем? Его там не было. Он тут был. Пошто его-то таскают?

— За технику безопасности он отвечает.

— Ну и че ему тепери будет... за эту опасность? — За век свой Дарья давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив: на кого пальцем покажут, того и метит, того и судит, и что человеческая вина нередко прилипает без глаз.

— Ничего не будет,— как всегда, уверенно отвечал Андрей.— Потаскают, нервы потреплют, ну, выговор на всякий пожарный случай дадут. И все.

— Это он тебе говорел?

— Он говорил. Я и сам знаю. Известная штука.

Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей, объясняя, что дальше тянуть нельзя, что скоро попрет из армии солдат и на работу устроиться будет непросто. Но Дарья и не удерживала, не напомнив ни о сене, ни о могилах,— все шло так, как она и догадывалась. В этот вечер приплелся Богодул и долго сидел, скырныкая на Андрея зубами, который тоже, в свою очередь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом. В молчании пили втроем чай, но Андрей скоро выскочил

из-за стола и, насвистывая, напевая что-то, стал укладывать чемоданчик, не скрывая радости, что уезжает.

Раньше Дарья не стерпела бы свиста: «Ты кого высвистываешь, кого из избы высвистываешь, такой-сякой?» Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставят. Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но она сделала вид, что не слышит, не понимает и этих знаков.

После, когда рассерженный, недовольный ею Богодул ушел, Андрей с возмущением спросил:

— Че ты его, бабушка, принимаешь? Че не гонишь от себя, зверюгу такую? Это же не человек, это зверь.

— Пошто не человек? — с какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью и скорбью отвечала она.— Он человек.

— Какой он человек?! Ты погляди хоть раз внимательно на него, на образину. Страх берет. Он и говорить-то, как люди говорят, не может, по-звериному рычит да бурчит.

— А я его и без лишнего разговора понимаю. И он меня понимает. Я ить, Андрюшка, потеперь ищу, кто ровня мне, не как-нить. Сама-то я лутше, ли че ли? Никого уж не остается, кто бы меня понимал.

Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с нею в избе, не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для нее подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой.

А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, и Катерина снова перебралась к Дарье.

Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в лесах, поспела, по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после ильина дня отрезно, как после свадьбы, никто не купался, потому что «олень в во-

ду написал», нельзя. Отцветало небо и солнечными днями смотрелось тяжелым и мякотным. Погода больше не дурила, стояла ветреная, сухая, но уже чувствовалось, чувствовалось время: ночами было студено; ярко, блескуче горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось и в душе, сиротя и сжимая ее; по утрам, после особенно звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая всей сплошью Ангару; а дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем они могут свезти.

И верно, случался словно бы затор, и раза два или три, и все под вечер, где-то далеко, за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, до дождя и буйства не доходило.

Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насмелились косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти одна же, потому что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал, из уважения и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ. И хоть после метки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор всем им не попуститься коровой, отстоять свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упреком себе Дарья, что надо бы и ей попробовать взяться опять за литовку. А там бы видно было... тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей и не стряслась эта оказия с Павлом. Оттого, может, и стряслась, что долго раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить? Ни холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилась — нечего сказать. Эх, да что толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум?!

Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых высыпало видимо-невидимо,— будто

за все оставшиеся наперед, оборванные годы. Где стоит хоть одна сосенка или елочка — обязательно густой россыпью маслята. Подошли и грузди, осиновые и березовые, но эти всходили степенно и разборчиво, без спешки и колготни. Вообще это последнее лето, словно зная, что оно последнее, было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обыденок сходила и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Катериной перенесли домой. Бабы и ребятишки зачастили на Подмогу — там росла голубица, и тоже было вдоволь. В последние годы стали брать «воронью ягоду» — жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему эту горьковатую, и верно, как для ворон водившуюся, дикую ягоду, любящую вырубки и хлам. И уж одно то, что она подделывалась под голубицу и не имела своего чистого вида, не говорило в пользу этой жимолости. Вот и имя чудное, какое-то нечистое и жидкое, раньше на Матёре его не знали. Другое дело — смородина, черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на островах, на том и другом, было мало, только в рот покидать, за ней плавали за реку, на старые гари. Но для брусники еще и время не вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей никто никогда не осмеливался ее называть.

Дарья ждала Соню, невестку, думала, что, быть может, Соня приплывет и побегает, посбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня и глаз не казала — так, видно, поглянулось ей на новом месте. Не все же время она работает... Ну да как хотят, им жить. Только на второй неделе приехал, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Павел, привез старухам чаю и сахару, сказал, что будет теперь работать на тракторе, нагрузился огородной всячиной и, не пробыв полного дня, опять утарахтел на своей моторке. Дарья вышла за деревню к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в лодке, неподвижную фигуру, отлетающую словно от какой-то посторонней пущенности, и тяжело, устало размышляла: нет, не хозяин себе Павел. И не Соня им руководит, этого он не позволит — просто подхватило всех их и несет, несет куда-то, не давая оглянуться... своим шагом мало кто хо-

дит. Уехать разве к Ивану, второму сыну, в леспромхоз? А что там? Сторона хоть и не дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи, и неизвестно, не чужой ли сын. Может, съездить поначалу в гости, посмотреть? Нет, надо прежде проводить Матёру. Проводить Матёру и лучше всего к своим — туда, где своих в десять раз больше, чем здесь. Верхней, скользящей памятью Дарья помимо воли стала вспоминать, перечисляя тех, кто там, и вдруг вспомнила старика своего — Мирона. Вспомнила и замерла от стыда: стала забывать о нем, редко, совсем редко приходит он на ум. Господи, как легко расстается человек с близкими своими, как быстро он забывает всех, кто не дети ему: жена забывает мужа, муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит — волосы рвет на себе от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? — так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не сберег. А со всеми остальными случайно или не случайно — от одного отца-матери — встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся — каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить...

Одно лишь находилось у Дарьи оправдание, да и то если искать его. У Мирона, у старика ее, не было своей могилы, над которой можно посидеть и, вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что могло быть дальше. Он ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь землю провалился. И ни одна душа не сказала, что с ним сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья всполошилась не на шутку, забегала по деревне и добилась, что мужики снарядились на розыски, зная, где Мирон промышлял, но никаких следов не отыскали. Вместе с ним сгинули две собаки — попробуй догадайся, какая приняла всех их смерть. Он не старик и был, это она, примеряя его к теперешним своим годам, говорит «старик», а ему тогда едва перевалило за пятьдесят, в самой мужицкой поре. Примерно столько же, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить: отец был покрепче, поживей, характером потверже. Или это теперь только кажется? Многое, поди, было на самом деле другим, чем

видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не тронув сердца. Выстудилось оно. Выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегодняшним днем,— той же Матёрой... Неужели и о Матёре люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих забывают так скоро...

«Прости нам, господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой,— думала она.— С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или ты устал спрашивать? Отчего же вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти ты не даешь. Я уж не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землей: все вижу, а понять, че к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора... Пошли за мной, господи, просю тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родне... к той, к которой я ближе».

Текла в солнечном сиянии Ангара... текло под слабый верховик с легким шуршанием время. За спиной лежала Матёра, омываемая той и другой течью; высоко над головой возносилось небо. Прекрасна, значит, земля под ним, если так красиво и жутко небо. Остановят Ангару — время не остановится, и то, что казалось одним движением, разойдется на части. Уйдет под воду Матёра — все так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. «Что небу-то до Матёры? — поправляла себя Дарья.— Это людское дело. Она у людей в руках, оне над ей распоряжаются». И все же что-то в Дарьиных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих ее, рассуждениях обрывалось, для чего-то полного и понятного не хватало связи. И билась, билась, короткая и упрямая, оборванная мысль: течет Ангара, и течет время...

И хотелось с кем-то спорить, доказывать свое, зная даже, что правда не твоя.

Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у Катерины:

— У тебя не бывало, что никого нету, а будто кто с тобой говорит?

— Кто говорит? — испуганно отозвалась Катерина.

— Не знаю. Я сегодня пришла в себя, а я вслух разго-

вариваю. Навроде как кто со мной рядом был. Спрашивал у меня, а я с им говорела.

— Царица небесная! Об чем спрашивал-то?

— Все смутливое, тяжелое... И не сказать, об чем. Видно, с ума сходю. Скорей бы уж, ли че ли...

16

Это были уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки мирные, как бы домашние, дни. Потом нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать,— все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек, мужики — тоже молодые, разудалые. В первый же день, захватив Матёру и почуяв вольницу, они перепились, передрались меж собой, так что назавтра двоих пришлось отправлять к врачу. И назавтра они шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени: пожалейте, не губите христианскую душу. Но парни попросили луку, даже совали за него деньги и ушли; Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только Богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе и смотрел на приезжих пристально и недовольно, а они, чувствовалось, хоть и задирали его и потешались над ним, но и побаивались: не человек — леший, мало ли что такому в голову взбредет. Босой, лохматый и красноглазый, с огромными, как у обезьяны, руками и цепким пугающим взглядом, он поневоле внушал к себе почтение, а когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем есть грех, а может, и не один за убийство, Богодула и задирать стали меньше. Но вдобавок к старому дали ему еще одно прозвище — Снежный человек, на что он, как и положено сошедшему с гор снежному человеку, рычал и матюкался.

Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, и хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли; не свое собирают — не им и страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят, все равно эта земля родит в последний раз, а могло случиться так, что и нын-

че б уже не родила — все равно... Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал; лодка сновала в поселок и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против прошлых колхозных лет, могли бы управиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим... А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательного переезда, опять в деревне остались в сторожах одни старухи. Пред тем как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели — все ли там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на все запоры.

А время шло. День да ночь — сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще непоправимей подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые, подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Громко и бранно звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись, подолгу урчала там заведенная машина, пока наконец не влезали в нее и не отъезжали. После этого у поварни за конторой начинали мелькать бабешки, которых трудно было различить со стороны: все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три, как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про одну говорили, что она чья-то, кто здесь же, с ней, жена; две другие, безмужние, страдовали нелегкую страду. К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, отставший от работников, то ли похмельный, то ли больной, почесываясь и зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше — снова спать или жить? Тут, подкараулив, брали его в оборот бабешки, заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне, и тогда оттуда, из поварни, слышались возня, шлепки и смех.

Днями припекало, струился перед глазами нагревшийся воздух и горчил от спелого сухого духа, исходящего от трав, от хлебов, от всего, что принесло урожай. С полей доносился приятный, будто и не машинный вовсе, стрекот комбайнов: на одном работал свой, матёринский парень из семьи Кошкиных, на другом — кто-то из приезжих. К правому, удобному для погрузки берегу рядом с пинигинским покосом подогнали баржу, которая доставила на остров вторую машину и трактор и в которую ссыпали от комбайнов зерно. Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь подвозили приезжим продукты, и шло всякое иное сообщение между Матёрой и поселком. И, пользуясь катером, из боязни к чу-

жому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец. Это ведь как: только покажи одна, и пошло-поехало... Кудахтанье и визг раздавались каждый день. Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена рубилась мужиками и на плаву стягивалась в одно высокая, в два наката со стояками большегрузная платформа.

Видать, видать конец... И назначенный срок не опоздает, и люди не оробеют — вон как взялись, сколько понагнали рук!

На Подмогу, где не было полей, только выпасы да леса, высадилась другая бригада — эта из леспромхоза. Весь скот оттуда в день велено было перегнать на Матёру — хорошо, вода в протоке стояла низкая. И запылала Подмога — вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем леса. Дула низовка, и весь дым с Подмоги несло на Матёру — не видно в иные часы было неба, солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот забивался в стайки и мычал, совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топоча и роняя с губ пену; кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокойней, но и они боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались:

— Что делают-то? Что делают?! Пошто было не подождать маленько! Этак и Матёре недолго пыхнуть. Сушь такая... Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной искринки хватит.

А не свои, больше некому, подожгли в ответ мельницу — или по чьей тихой команде, чтоб потихоньку подчищать, или без нее, из одного озорства: все равно гореть — ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать! — мы свой добудем, с треском, с огоньком! И добыли. Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево уже и не с нижней стороны, от Подмоги, а с верхней, слева от деревни. Кроме как мельнице, пылать было там нечему. И, воротясь торопливо в избу, Дарья растормошила Катерину, которая уже улеглась:

— Пойдем простимся с ей. Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их — никто добрым словом не помянет! Пошли, Катерина.

— Куды? Об чем ты? — испугалась та; всего они в последнее время боялись, от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали — не беду ли оно несет, не о худом ли скажет?

— Мельницу запалили. Помешала она имя. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас под послед увидит.

На подъезде возле горящей мельницы и правда толпились одни приезжие. Что делает огнь пожирающий с людьми, почему так страшно он на них действует? Эти как с ума посходили: они прыгали, кричали, бросались под жар — кто дальше забежит, дольше подержится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабешки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастливы. Какой-то парень, совсем еще молоденький, глупый, залез на березу и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки. На него, как на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего происходящего кругом,— на парня и на нее показывали пальцами и покатывались со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха, потеха... На березе свертывались, подрагивая, листочки, западали с жаркой стороны тяжелые ветви, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной, прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей.

Горело с жутким, идущим изнутри подвывом; высокое пламя загибало поверху ветром и обрывало; сажные лохмотья неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытые от чужих людей кустами, чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже потерялась в огне — казалось, он, играя, то поднимал ее над землей, то опускал; верилось даже, что все это огромное бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Ангарой, пугая народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость.

Старухи не услышали, когда к ним подошел незнакомый, тоже из приезжих, но не молодой уже мужик в распущенной клетчатой рубахе — где было и услышать в этом гуде и треске!

Постояв рядом, мужик спросил — в голосе его прозвучало участие:

— Хорошая была мельница?

— Хорошая,— без испуга ответила Дарья.

— Понимаю,— кивнул он.— Послужила, выходит, службу.— И протянул: — По-е-ехала!

Слово это — «поехала» — не выходило потом у Дарьи из головы и стало главным, все объясняющим, ко всему, что происходило вокруг, приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрела вслед: поехал. Гнали к Ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки,— и Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженный жердями плот не плот, паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их к скобам и трогают от земли. Поехали. Несло горький черный дым с Подмоги, который набирался в жилье и доводил до кашля, и она думала: поехала Подмога, поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо — поехал, христовенький... Тянули к берегу зароды — пое-ехали! Все меньше и меньше оставалось своего, привычного, все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к отъезду; голоса чужих людей звучали в ней как в бочке, а собственные где-то терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза — пустела Матёра, свободно было взгляду.

Клавка Стригунова, с помощью забитого бычка сойдясь с приезжими, подговорила их спалить и ее избу — не терпелось Клавке получить деньги. Они, конечно, в удовольствие себе за милу душу спалили; спасибо хоть — не пустили огонь на соседние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная дымящаяся яма, а глаз, не находя опоры, проваливался и обрывался, как в колодец, в дальний ангарский простор. Разъединилась, распалась Матёра на две стороны...

В тот вечер, когда «поехала» мельница, Дарья с Катериной, воротясь в темноте с пожара домой, натолкнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Они сидели перед запертой дверью: Колька хныкал, Сима, успокаивая, что-то наговаривала ему. Она торопливо поднялась навстречу старухам и, как всегда, когда нервничала, поглаживая себя ладонью по щеке, взмолилась:

— Пустите сегодня к себе... боимся мы. И он не спит, плачет, и я не могу. Так страшно... так страшно...

Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала: днем Сима еще уходила к себе, копошилась там по

дому и огороду, на ночь же возвращалась к Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не одной только Симе. Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:

— Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!

— Кого убьешь? — всполошилась Дарья. — Как я тебе ее дам? — ишо правду убьешь! Ты че это? На кого так?

— Гр-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их...— Он гулко, как выстрелил, прукнул губами.

— Из ее, однако что, и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. Ишо сам живой был...

Но Богодул снял берданку и унес — разве что попугать кого, потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы: у него ума достанет и пальнуть, если разгорячится, на то он и Богодул. Теперь только этого и не хватало. С него взятки гладки, с нее, с Дарьи, тоже много не спросишь — таскать, стало быть, возьмутся опять Павла.

Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке... Картошки, всякой другой овощи было вдоволь, мучица оставалась еще из старых, из колхозных запасов, чай, соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал — он теперь работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко свое; Дарья была рада, что есть наконец кому пить его, и подливала Кольке и утром, и вечером, наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке, Катерина, как и раньше, стелилась на топчане, Симе с Колькой отдали кровать. После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул — этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак. Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали:

— Эй ты! Партизан!

— Снежный человек!

— Турок!

— С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?

— Ты спроси, какого он сам образца. Не служил ли он у Петра Первого?

— А у Ивана Грозного не хошь?

— Да она у него и не стреляет.

Богодул только и ждал этих слов.

— Выдь! — показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины.— Выдь, кур-рва!

Но охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось; Богодул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся.

17

А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли,— после раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы услужить им; коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной, одна на весь белый свет, казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей — и слова возникали как бы сами собой, без усилий, память была легкой и покладистой. О чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но от Матёры да от самих себя отворачивали редко, так одно по одному на разные лады и толкли.

На этот раз должно было икаться Петрухе: начали с него. Клавка Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там при деле: занимается пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в это можно поверить, а Петрухе она — дело знакомое, он с ней управляется почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят, и платят вроде неплохо, он не жалуется. «Сытый, пьяный, и нос в табаке»,— будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на пароход прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься

и Клавку, но она якобы отказалась, потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей ненадежным, а она была при деньгах.

Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом:

— Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову потерял?! Как он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле ходить хочет? О-е-ей!

Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

— Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи — не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папирёсу запалил, и грейся — куды тебе с добром! Подволошна — деревня большая, версты на три, однако что, растянулась... Там ему работенки хватит.

Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитанья сказала:

— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб убирать али избы жегчи — кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм... Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает — прости, господи!

— Пущай другой... пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку надел, ему не отмыть ее будет.

— А нашто ему отмывать? Он и с ей проживет не хужей других. Ишо и хвалиться будет. Ты об ем, Катерина, сильно не печалься. Ты об себе попечалься. А он че: эта работенка кончится, другая така же найдется.

— Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня будут пальцем тыкать...

— Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не знают. Ты сколь жить собралась — сто годов, ли че ли?

— Может, поехать туды? — не отвечая, осторожно подала на совет Катерина.— Очурать его? Сказать: че ты делаешь?

Дарья с удовольствием подхватила:

— Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят —

подволошенские али матёринские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то все три зараз запалит — ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебя на катере отвезут. Очурай его. Че это он чужие избы жгет, ежли свои ишо не все погорели. Ох, Катерина, пошто мы с тобой такие простофили? Жили, жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы... Ну?

И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда она не поедет и ничем Петруху не проймет и не вразумит: был Петруха и останется Петруха. Так, видно, до смерти своей и не бросит петрухаться, такая ему судьба. А ей судьба — быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди... Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной — ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится — ни для совести, ни для стыда? Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет и ни одна душа, пред которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что толку? Дарья... Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой... и жить-то уж ничего не осталось...

А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином, месте. Это что же такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит. Вот ей не надо стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И так же, получается, разговаривала бы с нею Катерина, окажись Дарья матерью Петрухи. А где же тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? Куда девается человек, если за него говорит место? И стань она, Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с малолетним вну-

чонком на руках — тоже была бы тише воды ниже травы? А что поделаешь? — наверно, была бы. Как мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез. Неужели правда она могла бы быть такой же, как Сима? — совсем ведь разные люди.

Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему Кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной: ярче обозначились окна, мертвым сиянием дробился мутный воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые дроглые тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и безостановочно собака — устало, беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из Симиного шепота доносились отдельные бессвязные слова — будто тоже тени слов настоящих, такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала:

— А много ли, кажись, надо... Царица небесная, послушай. Только и надо: чтоб пристроился он, беспутный, куды... Занялся человечьим делом. Оно и без Матёры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды и на меня, глядишь, такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха, вставай, на работу пора. Собирала бы узелок на обед. Пушай бы он на меня ругался, пушай хошь че — я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал.

— Женить его надо,— недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о Петрухе.— Ежли ты с им не можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовые рукавицы взяла. Иначе толку не будет.

— Кто за его, беспутного, пойдет...

— Дак ежли бы он маленько за ум взялся — пошто не подти?!

— Он так-то добрый,— обрадовалась Катерина тому, что вот и Дарья, значит, не считает его совсем пропащим человеком, что и она видит для него пусть слабое, ненадежное, но спасение.— Сердце у его мягкое...

Дарья наверху, на печке, хмыкнула: как не мягкое... мягче некуда.

— Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас телка была... не доглядишь ежли — весь хлебушко ей скормит. Режет на ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала: подойдет вечером под ворота и кричит, кричит: это она его зовет. Я отгоню —

она со двора зайдет и тошней того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть — съест, а не успокоится, надо, чтоб он вышел. А он даст — самдели уйдет. И раньше корова была... увидит, что она мое сено подчистила, тайком от меня, чтоб я не ругалась, ишо ей кинет. Тоже подкармливал. А сколь этих щенков перетаскал! — где он их только подбирал?! Особливо ежли нетрезвый — ну обязательно щенка под пазухой тащит. У нас одно время четыре, однако что, собаки собралось. Я надселась на их кричать. Кажной кусок надо бросить, а их, кусков-то, на себя не хватало. Нет, он ниче не понимал.

— Ишь, до чего добрый! — не утерпела, ковырнула Дарья.— Собак блудящих он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это не его дело.

— Беспутный. Я говорю, что беспутный,— привычно ответила Катерина.— Он и корове подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю, чтоб растянуть, по норме даю, а он как попало. А потом, под весну, и бросить нечего.

— Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, че делать будешь, как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куды? Ты об етим подумала? Она мне про корову толкует, коровы уж сто годов в живых нету.

— Я и говорю...— Сказать Катерине было нечего, голос ее без твердости и надежды звучал пусто.— Ежли бы он куды пристроился... дали бы угол...

Дарья громко, на всю избу вздохнула: ах, кабы на цветы да не морозы...

Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть: вступила, усыпив Кольку, Сима, и она потянула его туда же, в ту же сторону.

Сима сказала:

— Каждому свое. Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним. Внучонка бы дождаться, нянчиться...

— Ой, не говори, Сима,— простонала Катерина, не смея и надеяться на такое счастье.— Не говори.

— У меня тоже от дочери помочи ждать не приходится. Тоже не знаю, куда голову приклонить. У меня хоть Коляня есть. Для него из последних сил надо жить. А как жить? День и ночь думаю, день и ночь думаю: как жить? куда двинуться? Нашелся бы старичок какой...

— Господи! — взмолилась Дарья.— Ить это надо! У самой уж... а она все про старичка! Ну. Какого тебе ишо старичка, невеста ты, прости господи, на семьдесят семь

дырок. И из кажной песок сыпится. Че ты у старичка делать будешь?

Сима обиженно молчала.

— Ну, на што он тебе? По каку холеру он тебе потребовался? — добивалась Дарья.— Пошто ты нам не скажешь?

— Мне, Дарья Васильевна, скрывать нечего,— если «Дарья Васильевна», не на шутку, значит, разобижена Сима.— А мечтать никому не запрещается, да. Катерина мечтает возле сына жить, и я мечтаю. Мне тоже охота свой угол иметь. Я не так чтоб совсем старая, на домашнюю работу сгожусь. Вошла бы в дом, никто не пожалел бы. Мне много, Дарья Васильевна, не надо. В мои годы люди сходятся не детишек рожать, а полегче друг возле дружки старость принять. И Колька бы рос, у меня об Кольке забота. Я об чем попало не мечтаю. А на что гожусь, на то гожусь. И постирала бы, и сготовила.

— Годисься, годисься...

— А если тебе мечтать не об чем — че ж... Не наше кукованье. Дети в люди вышли, не отказывают. Это нам на сирую голову... Не все же плакать...

— И песенку старичку бы спела?

— А славный старик бы попался, и песенку бы спела. Он бы послушал.

Теперь замолчала, отступив, Дарья, смущенная позабытым словом «мечтать». Симе ли его говорить? Дарье ли его слушать? Мечтают в девичестве, приготовляясь к жизни, ничего о ней еще толком не зная, а как почал тебя мужик да обзавелась семьей — остается только надеяться. Но и надежды с каждым годом все меньше, и она тает, как снег, пока не истает совсем, впитавшись в землю,— и вот уже перед тобой не надежда, а парком дымящиеся из-под земли воспоминания. Ну так Сима — что с нее взять! В мечтания ударилась! Сирая голова, да не головкой звать. Вольная птица, да присесть некуда, все места заняты. А летать — крылышки не те. «Хошь Сима — да мимо»,— вспомнила Дарья дразнилку. Мимо и будет, не иначе. Но, размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей, Дарье, от завтрашнего дня не надо. Не то что мечтать — куда там! — не то что надеяться, но и самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло в одну сторону. На что ей, верно, надеяться? На смерть? Этого не минуешь, на это можно не тратить надежду. А на что еще? Не на что. Стало быть,

скоро и помирать, если жить больше не с чем. А Сима с Катериной подержатся, поживут, и не потому, что они помоложе, силенки у ней тоже не все еще вышли, а потому, что есть у них тут дело: Симе поднимать мальчонку, Катерине беспокоиться о Петрухе, надеяться на его выправление. Они кому-то нужны, этой нуждой в себе они и станут шевелиться, от нее же никому ничего не требуется. Сейчас она в сторожах, а переедут, и этого не понадобится. Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может. Тут ему и конец. И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без надобности, без полезного служения, крест-накрест складывали на груди лапки.

Стало еще светлей и неспокойней — вышла в окно луна. Все бренчала и бренчала жестяным голосом одуревшая собака — прямо в уши вонзался этот навредный лай. Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать — и так захотелось, настолько показалось необходимым, что она, понимая, что незачем это, все-таки торопливо опустила ноги в носках на приступку, сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну. Пол-ограды было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде; пол-ограды лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. «Как вареный»,— вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья — надо было что-то сказать — спросила:

— Уснул мальчонка-то?

— Уснул,— услужливо ответила Сима.— Давно уснул. А ты че?

— Так. Спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько, посмотрела, вы со мной говорели али не вы. Полезу назадь.

— Ну и кто с тобой говорел? — спросила Катерина.— Мы, нет?

— Кто вас разберет? По голосу навроде вы, а по словам — каки-то молоденькие. Ох, че щас Настасья наша — спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас поминает. Она ить не знает, что мы тепери в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья — от и коммуния, никого боле не надо. Ей-то,

поди-ка, есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, че и за всю жисть не видывала. За себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы слушать.

Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе:

— Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду бабаяга. Ни кожи, ни рожи. А хужей того — злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде не злая была. А потеперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать, дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут — ну и пущай. Оне хозяева, ихное время настало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не бросют, а боле мне ниче и не надо. Так, нет я, девки, говорю?

«Девки», не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались.

— Уснули, ли че ли? Ну спите, когды уснули. Скоро, однако что, рассветать зачнет. А рассветет, белый день выйдет — ишо потопчемся. Оно, может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об чем, люди говорят, твоему сердцу болеть. Только пошто оно так болит? Хорошо, ежли об чем одном болит — поправить можно, а ежли не об чем, обо всем вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет. Никакого спасу. Сильно, выходит, виноватая. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая, в чем каяться мне, многогрешливой? Рази можно без покаяния? Ох, да спи, спи... Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка, когды боле ниче бы и не было, можно жить.

18

Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый — унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под долгим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет божий рыжики, которые нынче опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разорные запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды — сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле, и не набирался, после него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что пришла пора копать картошку.

Приезжие, покончив с хлебом, слава богу, снялись — после них и прошел этот благодатный, очистной дождик. Стало полегче, поспокойней, можно было без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. Но прощание они устроили шумное, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне; верещали бабешки, кого-то успокаивая, а когда успокаивают бабешки, значит, больше того стравливая, сшибая злость со злостью; всю ночь как полоумные шарашились, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром, перед отплытием, на жаркую память подожгли вслед за собой контору, в которой квартировали. Только они отчалили, вышел из кустов на верхней протоке еще один из этого же войска — покорябанный, грязный и страшный, в свежих лохмотьях на одежонке, имевший какую-то причину скрываться от своих. Завидев огонь, он кинулся в деревню — как бежал, не обрываясь, влетел в конторскую дверь, за которой у него, видать, что-то осталось, каким-то чудом сумел развернуться внутри и выскочил ни с чем обратно. Поплясал, поплясал поджаренно и успокоился, стал, отойдя, смотреть, как горит.

Горело на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще и в темноте горячим, накальным жаром полыхала высокая горка углей — то, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром, когда проснулись, горела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на отставшего от орды парня нельзя было: он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессованный под ногами назём на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым — дым больше так и не сходил с Матёры.

На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и закуткам птичье перо. Не дай бог, попадется на глаза живая курица — загоняют и отеребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха: зажав вдвоем меж ног, его уже доканывали. После этого чудо какой голосистый петух уже и не кукарекал, а только жалобно по-утиному крякал,— смертный страх даром ему не прошел. Куриное перо работнички втыкали в картофелины и с силой подбрасывали вверх — игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего потешней, если она находила цель, угадывала на чью-нибудь склоненную спину. Просто швы-

рять картошку — хулиганство, а с пером — игра. Играли — такой народ! Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина. Наверно, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Дарья однажды издали наблюдала: галдят, жгут костры и, окружив, караулят их, чтоб ненароком не убежали, но кто работает — подвигается споро, вырывает ботву как коноплю. А что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чистя себя, готовясь к новому урожаю, она бы сама выказывала худую работу на глаза, а теперь, перед смертью, и ей было все равно.

В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин — из конторы, больницы, детсада, столовой — откуда только можно. Совхозное начальство, не без понуканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде всего прибраться на дальней и неудобной Матёре, сюда и гнали людей. И прибрались, верно, быстро: в прежние годы самая бы страда, самая работа, а нынче — все, конец, хоть праздник справляй. За центнерами не гнались: сколько окажется, столько и ладно, была бы очищена земля. За центнеры никто не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток — чего ж было на приговоренных, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? Пришло время обходиться без того, что давала эта земля.

Из матёринских баб на совхозную картошку мало кто ходил: сидели на собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь в отличие от сенокоса не сходились вместе, не пели песен, не вели о подступающей жизни бесед — торопились, каждый жил в своем доме, в своем огороде своим, а подступающее затопление уже и без бесед брало за горло. Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц: четвертый куль — твой, но скорей, скорей... Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собой паром — и будешь прыгать, кричать перевозу. Совхозное добро вон уже отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все больше оголялась и сквозила Матёра. Да и какие песни — полдеревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили. Какие песни! — горели уже ма-

тёринские леса, и в иной день остров, окутанный дымом, с чужого берега было не видать — туда, на дым, и плыли.

Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая, перебрались на Матёру. Было их то пятеро, то семеро — мужики, не в пример прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матёре устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний, и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными — той последней, окончательной работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матёру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо, посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей — пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню. И верно, Богодул приметил, как к ним в барак приходили и долго толковали о чем-то Воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то они и поджигатели. И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не они, так другие сделали бы то, что положено делать, но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то они, глаза видели перед собой их.

Картошка напоследок наросла не просто богатая, а дурная: два куста — ведро, два куста — ведро. А ведра, конечно, не базарные — свои. И так у всех, кто хоть мало-мальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег. Но, охая над белыми и чистыми в песочке, крупными, как поросята, картофелинами, охали и над мешками, которые приходилось ворочать по многу раз, прежде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С огорода на телегу ворочай, с телеги под яр ворочай, с берега на паром или катер ворочай, а подводу надо караулить, потому что на деревню осталась одна кобыленка, всех остальных увезли, а машин не осталось уже ни одной. Паром тоже не ждет под берегом. Мучились, ох мучились с этим богатством! Но самое страшное оханье: куда ссыпать там, в поселке? Совхоз, правда, чтобы выйти из положения, предложил свое овощехранилище, едва заполненное

до половины, но это только подумать хозяйке: в одну огромную общую яму ссыпать свою картошку, которая кажется лучше, роднее и вкуснее любой другой, и достать потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к черту на кулички, а он, черт с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на печке спит! Что тут говорить! — не у себя — не свое. Да на двенадцать деревень никакого и подземелья не хватит.

Но это там, там, впереди... Здесь же надо было поскорей выкопать и увезти, чтоб не унесло водой.

Пинигины управились со своей картошкой в три дня, на четвертый остался небольшой докопок. Отпросился с работы Павел, впервые за лето приехала Соня, но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в конторе на счетах, с молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, эта Мила запрокидывала кудрявую, папашью голову и закатывала глаза, ну а раз смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые, слепые. Что ни скажи — ей смешно, а того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она поначалу и не понравилась Дарье.

— Как, как, говоришь, ее зовут? — нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжая.

— Мила.

— Мила? Рази есть такое имя?

— Есть,— смеялась приезжая.— Есть, бабушка, есть. А что?

— Ишо не легче! Раньче это парень любую девку мог так скликать. Все милки. Частушки про их складывали. Нешто не слыхала? А тепери телок так зовут.

— Телок? — пуще того заливалась работница.— Ты, бабушка, скажешь... Значит, я телка? Похожа я на телку?

— Однако что, похожая,— с удовольствием соглашалась Дарья.— Тогды правда что Милка.

Работница копала два дня и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным, под смех ее, именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем и у нее, как у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это, выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку — пускай, христовенький, отдохнет маленько. К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:

— Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой...

У их хорошие бывают наклички. У нас, помню, Зойка была — куды с добром! Глядишь, и хаханькать стала бы помене. Че это тебе все смешно-то?

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала: может, это и хорошо, может, так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей. Есть они — ха-ха, и нет — ха-ха! К таким и горе придет -- не поймут, что горе, отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть не пристанет близко к сердцу, все в леготочку, вся жизнь — потеха. И верно — чем плохо? Где бы такому научиться?

Павел на третий день повез картошку. Пятнадцать мешков нагребли, во всю имеющуюся тару, а наваленная в огороде куча едва поджалась лишь с одного края. Да еще сколько копать! Это значит, возить не перевозить. Дарья намекала, что надо бы помочь Катерине, увезти и от нее мешков пять; на Петруху надеяться нельзя, то ли он покажется, то ли нет, а старухе где-то жить, что-то жевать.

— Куда я их?! — не отказываясь, не зная действительно, что с ними делать, пожимал Павел плечами.

— А свою куды?

— Что не войдет, придется пока на веранду высыпать.

«Не войдет» — это в подполье. Павел промучился с ним с месяц: привез с Ангары песочку, сделал настил и избавился-таки от воды (хорошо еще, что дом угадал на взгорке: у кого в низине — там не избавиться), но теперь оно стало заметно меньше, много в него не столкаешь. Отрывать в сторону — возни не оберешься: подполье цементированное, а отроешь — как знать, не забулькает ли снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть.

Соня, копавшая два дня в наклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за поночевство, пришли Сима с Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья порой смотрела на нее как на незнакомую: потолстела, одрябла, остригла на городской манер и за-

кручивала в колечки волосы, отчего лицо сделалось больше и круглей; глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. В Матёре не до болезней было, тут и фельдшерицы не усиживали: приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворый, и назад.

— Как там — ндравится? — осторожно спросила у Сони Дарья.

— Да уж не здесь,— не объясняя, с какой-то злостью ответила она. А что «не здесь» — хуже, лучше? — поди разберись.

И представила Дарья, что и отношение к ней, к старухе, там будет другим. Тут она жила в своей избе, все кругом на десять рядов было своим, идущим от нее, и над всем она почиталась хозяйкой. Пусть даже и не старалась показывать себя ею — это признавалось само собой. Там хозяйкой выступит Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей быть в силе,— пора выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее. Человек не может без того, чтоб над кем-нибудь не командовать, это ему самая сладкая служба, и чем дольше он просидел под началом другого, тем больше старается потом наверстать свое.

Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Вывозили картошку, вывозили, у кого оставался, скот, подбирали последнее, что еще могло пригодиться. Оставлять наперед больше было некуда: наступила та самая, объявленная крайним сроком, середина сентября. Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку,— по четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав, надломившись возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел. И без того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать мешков, хватит с головой. Катерине он советовал сбыть все, а что понадобится на жизнь, обещал из своих запасов, картошка одинаковая. Но три куля Катерина все-таки оставила — мало ли что! Разбогатела на двадцать рублей и Сима — этой совсем некуда ничего девать, не на что рассчитывать, а огородишко, хоть и некорыстненький, что прошено было у него и даже сверх того, принес. После Сима охала, что надо было продать больше, а она придержалась, половину картошки для чего-то сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела.

Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. Настасья не ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла из него куриц — неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню последним: опустели кормильцы. Только кой-где торчала еще морковка, да свекла, да редька. Капусту, зная, что не дадут ей затвердеть, мало кто сажал. Не видя больше надобности в себе, заваливалась городьба, ветер позванивал на высоких грядах высохшей тонкой огуречной травой, ерошил бесполезную картофельную ботву. Только Вера Носарева для порядка стаскала ее, как и раньше, в копну, а увезти, пустить в корм скотине отказалась и она: больше того мороки. Не до ботвы — хорошо хоть сено переправила, и тому не могла нарадоваться.

Не ехала Настасья, и старухам ничего не оставалось, как приняться и за ее огород. Что делать? Закрыли в Настасьиной избе ставни и ссыпали картошку на пол, а для чего копали, для чего ссыпали — чтобы сгореть ей вместе с избой или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жареными на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес,— вот так же, может случиться, испекут и картошку. Но и в земле оставлять совестно — как, правда, допустить, чтоб не выкопать, это уж совсем из рук вон. Должна все-таки Настасья приехать, раз сулилась,— как им там без картошки? Может, что задержало, может, вынырнет из Ангары в самый последний момент, когда будет не до копки, а сгрести времени много не потребуется, сгрести они ей пособят.

И выкопали — нет Настасьи...

Вывезли скот; Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умница и послушница Майка, напуганная разором, огнем, одиночеством и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву — Майка мычала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью осмеливалась она выбраться из нее, да и то не на вольную волю, а в огород рядом, чтобы подкормиться там ботвой, и обратно. Долгими часами стояла стоймя с наклоненной, вытянутой вперед, к дверке, головой, все время чего-то в напряжении ожидая, к чему-то готовясь. И когда Павел накинул ей на шею веревку и повел, Майка послушно пошла — куда угодно, на что угодно, но прочь, прочь с этой страшной земли. И послушно поднялась по доскам на паром, дала

себя привязать, отвернувшись от Матёры, кося глазами на далекий противоположный берег.

Дарья, провожая ее, заплакала.

— Ну что, мать,— еще дома сказал ей Павел,— может, и тебя сразу соберем? Больше как будто тут делать нечего.

— Нет,— твердо отказалась Дарья.— Меня уж ты покуль не трогай. Я не корова, чтоб просто так с Матёры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне есть че делать.

— Подожгут скоро, мать...

— Пушай поджигают.

И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и ни к чему спрашивать:

— Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?

Павел сник, на него было жалко смотреть.

— Видишь, как все нынче получилось,— стал оправдываться он.— Собирались же... если б не эта... А теперь когда? Я три дня сменщику задолжал. Наверно, не выйдет, мать. Не мы одни...

— Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут,— предрекла она.— О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то могилок?!

Когда Павел уехал, она пошла, еще не остыв, не успокоившись после этого разговора, на кладбище. День опускался, солнце скатилось больше чем наполовину и грело сухим остывающим зноем. Сильно и удушливо пахло гарью: снималась с земли, отлетая в небо, сосновая пустошка за поскотиной, и бесцветное, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик пламя то выскакивало вверх, то опадало. Если бы не треск и гул, доходящий оттуда, и не понять бы, что пустошка горит: дыма от нее почти не отличить было от приносного, стелющегося над Ангарой, чужого дымления. Дул слабый, угарный верховик, в горле у Дарьи першило, голова кружилась, ноги ступали наугад. Справа, за поворотным мысом, все еще доносился стукоток катера, с которым поехала Майка. Вот и Майка поехала, чуя беду здесь и не чуя ее там, где теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортилось мясо.

Воротца на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами, на первой же полянке, чернела большим пятном выжженная земля. Дарья вскинула голову и не увидела на могилках ни крестов, ни тумбочек, ни оградок — то, чему помешали старухи в начале лета, выступив вой-

ной против незнакомых мужиков, потихоньку под один огонь и дым сделано было теперь. Но теперь Дарья не почувствовала ни возмущения, ни обиды — один конец. Много чего было видано и вынесено с той поры — сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого — ну и ладно, что дождалась, так ей написано на роду. Озлиться нельзя: она шла к своим, а идти туда со смутливой, несогласной душой не годится, пришлось бы поворачивать назад. Один, один конец...

Она повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать, те, кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от вывернутого креста. Слева, ее клали первой, покоилась мать, справа отец. В изголовье, но не на холмике, а на соступе с него, росла рябина, посаженная когда-то ею же, Дарьей, на траве валялись клеванные птицей красные ягоды. А в изножье стояла сосна; в ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь и в помине не было, она взошла позже от вольно упавшего семени. Холмик давно уже казался Дарье чересчур коротким, она не раз удерживала себя, чтобы не прилечь, вытянувшись, и не примериться к нему, понять наконец, скатилась ли с него за долгие годы земля, или, верно, так невелик человек. Ветки рябины и сосны сошлись наверху вместе. И жутко, грешно, и угодно было думать, что, быть может, и в их жизни, как и в ее, есть какой-то долей участие тех двоих, лежащих в глуби, откуда питаются корни. Все, все кругом родное...

Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только на кладбище и чудится духом человеческого избывания.

Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма, ни разоренных могил, и, покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько объявилась:

— Это я, тятька. Я это, мамка.— Голос был неверный, вяклый, и, помолчав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для дальнего проникновения тоном.— Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры. Не ля-

гу я к вам, ниче не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе лягчи, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я, на меня пало. А я, бестолковая, не знала, че делать. Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила... я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А тепери че? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет... А я, клятая, отделюсь, другое поселенье зачну. Кто мне такое простит?! Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? — Она уткнулась лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали. И туда, в траву и землю, горько пожаловалась: — Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму. Сами видите. А меня-то вы видите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к вам надо... рази можно меня к живым? Я ж туда непригодная, я вашего веку. Мне к вам... я бы избу ишо проводила и к вам. Пушай огонь, вода...— Она подняла голову и поправила платок.— Избу нашу, тятька, не седни-завтри тоже... тоже туды. А я глядеть буду. Подойду, чтоб не сильно пекло, и буду глядеть, хорошо ли горит. А после приду и скажу тебе. Че я сделаю? Ну?

И вдруг ей пришло на ум — будто донесло угадывающимся шепотом откуда-то издалека-издалека: «А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась, а как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо избу. Мы все в ей жили». Вздрогнув, Дарья торопливо согласилась: «Приберу, приберу. И как я из памяти выпустила? Сама бы должна знать. Приберу».

«А ишо че? — надеясь на ответ, спросила она.— Ишо че мне делать? Как быть-то мне?» — и напряглась, натянулась, вслушиваясь, собирая в одно слабые, проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное не сказалось. По-прежнему было тихо, шелест листьев и травы не сошелся в ответ. Она спросила еще раз, уже без надежды,— могилы молчали. И она решила, что не получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его получить? Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они,— не стыд ли?

Дарья подняла глаза — в верхушках деревьев висел дым, в высоком небе плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому леску, длинные тени казались закругленными и твердыми —

вдоль одной такой тени прыгали, как по лежащему стволу, друг за дружкой две пташки с задранными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки,— было еще не время. Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца,— все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. И на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее пред всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче, все нетерпеливей и яростней... Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной...

Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью: «Выходит, и там без надежи нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так».

Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет земля,— отметила она.— Седни, как никогда, тянет». Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в

каждой второй из них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше... Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его — солнечный свет померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.

А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше — впереди или позади? И кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного продергивания — зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной матёринской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она,— и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было — то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.

«Устала я,— думала Дарья.— Ох, устала, устала. Щас бы никуды и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все

глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти».

И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла.

Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя; прокалывались в небе звездочки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий «царский листвень». И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матёра.

19

Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский листвень» — так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его — тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвень присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в пасху и троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, держав-

ному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имелись свои причины.

Толстые, огромные ветви отходили у «царского лиственя» от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны — будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «пашиным суком»: когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая матёринская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.

И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под «царским лиственем» после войны: все с того же «пашиного сука» оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.

Вот сколько всяких историй связано было с «царским лиственем».

За век свой он наронял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок,— и кора со временем сползла, листвень оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкие, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление — и только, все остальное казалось цельным и литым.

А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.

И вот настал день, когда к нему, к «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.

Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову,— с такой силой он спружинил обратно.

— Ого! — изумился мужик.— Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды два четыре. Не таких видывали.

Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились, на том и другом темнели дырки.

Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависая над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

— Как железное,— признал он и опять ввернул непонят-

ную арифметическую угрозу: — Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять — двадцать пять.

Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Отставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

— Вот так,— удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор.— Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.

Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.

— Гляди-ка ты! — удивился тот же мужик.— Стоит! Ну постой, постой...— Это был веселый мужик, он баском пропел: — «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».

Однако долго глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой — пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.

— Ну зверь! — с восхищением щурился на листвень веселый мужик.— На нашего хозяина похожий.— Он имел в виду Богодула.— Такой же ненормальный. Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть — тридцать шесть.

— Плюнуть на него,— неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя — в болотных сапогах.— К чему нам дочиста все соскребать!

Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:

— Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.

— Пилу надо.

— Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.

— Я говорю про бензопилу.

— Не пойдет. Ишь че: ширше...— следовало непечатное слово.— Для нее твоя бензопила — что чикотка.

Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он.— Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.

— Разводили же вчера.

— Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.

— Давайте попробуем еще. Должна загореться.

Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин — не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.

— Как дважды два — четыре,— победно крикнул тот, веселый...

Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.

Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.

— Надо завтра бензопилой все-таки попробовать,— согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.

И опять, уже громче, уверенней прозвучали отступные слова:

— Плюнуть на него — и дело с концом! Пускай торчит — хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались...

— Все бы плевали! — разозлился бригадир.— Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут — куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?

— Было бы это дерево...

На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному, подступили к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее — пила зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом — не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать — результат один. И бригадир остановил пилу.

— Неповалимый,— сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху.— Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!

Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:

— Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут... Наросли, понимаешь...

И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломов уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский листвень» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли матёринские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали

луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.

Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.

20

Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через «не могу» нажигать этот камень, как в старину. Но на диво, и сама начинала — не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и добыла известку. Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.

Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза — после осенней приборки перед покровом и после зимней топки на пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным подом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.

Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут — так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет, другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.

А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:

— Ну что, бабки,— перед ним они были все вместе — Дарья, Катерина и Сима,— нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам — доканчивать свое дело. Давайте не тяните.

И Дарья заторопилась — не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край Матёры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не вырвать.

Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:

— А я свою не прибрала.

— Ты ж не знала, как будет,— хотела успокоить ее Дарья.

— Не знала,— без облегчения повторила Катерина.

Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась — сначала на четвереньки — хорошо стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила:

— Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.

— Сиди! — в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее немощь.

Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить ее не учить, за жизнь свою набелилась — и известка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала: «Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох, чует, чует, не иначе». И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться.

Там, на столе, с кисткой в руке, и застал ее другой уже пожогщик — они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко разинул глаза:

— Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!

— Завтри и поджигай, поджигатель,— остановила его

сверху Дарья суровым судным голосом.— Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать — чтоб в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?

— Запомнил,— кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик. И, поозиравшись еще, ушел.

А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет — и не встанет. Она двигалась и не могла надивиться себе, что двигается, не падает — нет, вышло, значит, к ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы, нечего и думать.

Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей известки.

И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку.

— Давай мне,— вызывалась опять Сима.

И опять Дарья отказала:

— Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.

Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под завтрашнюю — так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать — спасали, иначе нельзя. Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось по-прежнему старое и святое, как к богу, отношение к хлебу и картошке.

Дарья добеливала ставни у второго уличного окна,

когда услышала позади себя разговор и шаги — это пожогщики полным строем направились на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.

— И правда, спятила бабка,— сказал один веселым и удивленным голосом.

Второй голос оборвал его:

— Помолчи.

К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз приступали к «царскому лиственю». Мужик, кашлянув, сказал:

— Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все... переезжайте. Ты меня слышишь?

— Слышу,— не оборачиваясь, ответила Дарья.

Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю, во всю свою беду и обиду заплакала — сухими, мучительными слезами: настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же, может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра — и что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!

Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет. Плакать — значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели, нет. Перед живыми она ни в чем не виновата — в том разве только, что зажилась. Но кому-то надобно, видать, и это, надобно, чтобы она была здесь, прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матёру.

В обед собрались опять возле самовара — три старухи, парнишка и Богодул. Только они и оставались теперь в Матёре, все остальные съехали. Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью, привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину, а рамы увез в поселок. Набегал на той не-

деле и Воронцов, разговаривал с пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя, чтобы Богодул немедленно снимался с острова.

— Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве,— разъяснял он.— Райисполком устроит. Давай-ка собирайся.

— Кур-р-рва! — много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся тылом.

— Ты смотри... как тебя? — пригрозил, растерявшись, Воронцов.— Я могу и участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял?

— Кур-р-рва! — Вот и разбери: понял или не понял.

Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матёру больше не наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо — то и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.

За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:

— Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?

— Японский бог! — возмутился Богодул, широко разводя руки.— Нар-ры.

— А завтри и я к вам,— пообещала Дарья.

После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вышоркать голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по краске споласкивать легче, да ведь это не контора, дома и понагибаться не велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.

Сколько тут хожено, сколько топтано — вон как вытоптались яминами, будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.

Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мочью,— и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота. Там ее спохва-

тятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда угодно, не откажет ни тем, ни другим.

Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом — ну да недолго ей и лежать, недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.

Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила. Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает, ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а продолжение никуда не денется, будет.

И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, что там должны быть ветки пихты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он где-нибудь на Матёре,— все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.

Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в дальних, примытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не сходил теперь с Матёры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке земли. «Откуда же это?» — поискала Дарья и не нашла. «А оттуда, из-под земли,— послышалось ей.— Откуда же еще?» И правда — откуда же сырой земляной дух, как не из земли?

Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И дышалось тоже свободно и легко. «Правильно, зна-

чит, догадалась про пихту»,— подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает правильно, даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Катерине, разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра — тоже, поди, не думал не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, все со смыслом. И она уже смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда идти, как на дальнюю и вещую посланницу.

Она отыскала пихту, которая сбереглась для нее и сразу же показала себя, нарвала полную охапку и в потемках воротилась домой. И только дома заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит. Устали не было и теперь, под ночь, руки-ноги точно раскрылились и двигались неслышно и самостоятельно.

Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она развешивала с табуретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение. И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный, застывший лик. «Чует, ох чует, куда я её обряжаю»,— думала Дарья, оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что она выпустила, забыла? Все как будто на месте. Ей мешало, досаждало вязкое шуршание травы под ногами; она загасила лампу и взобралась на печь.

Жуткая и пустая тишина обуяла ее — не взлает собака, не скрипнет ни под чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках ветер. Все кругом точно вымерло. Собаки на острове оставались, три пса, брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по Матёре, кидаясь из стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они. Ни звука.

Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву.

И всю ночь она творила ее, виновато и смиренно прощаясь с избой, и чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль.

Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в ко-

тором хранилось ее похоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла, прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасьиной избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли самовар, и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она оставила свой сундучок возле первых сенцев, а сама направилась во вторые, где квартировали пожогщики.

— Все,— сказала она им.— Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой...

И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть ей в глаза.

Старухи искали ее, кричали, но она не слышала.

Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле «царского лиственя». Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела, как сносит с острова последние дымы.

— Вставай, мать,— поднял ее Павел.— Тетка Настасья приехала.

21

Настасья с зажатым в руках лицом, всхлипывая и раскачиваясь вперед-назад, слабо выстанывала:

— А Егор-то... Егор-то!..

Старухи растерянно и подавленно молчали, не зная, верить, не верить в смерть деда Егора. Кто скажет, не тронулась ли Настасья в городе за это время еще больше, и если здесь она выдумывала про старика, будто он без конца плачет да кровью исходит, не подвинулась ли там своей больной головой до смерти? А дед Егор, может, сидит сейчас и как ни в чем не бывало палит свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стала бы она хоронить живого, что дело дошло уж до этого. И страшно представить, что деда Егора нет...

Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным, грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое, увязанное в узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе громоздилась гора посу-

ды. Дарьин самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом курятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом — у другой, не пахло даже маломальским жилым духом.

Но выбирать, искать что поприличней не приходилось: к этому часу только он, колчаковский барак, и уцелел, ни единой ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чадили разверстые избища, в горячем пепле время от времени что-то, донятое жаром, будто порох, фукало, мертво и страшно остывали вышедшие на простор и вид русские печи. Все: снялась, улетела Матёра — царствие ей небесное! Этот барак не считается, он, рубленный чужими руками, и всегда-то был сбоку припека, с ним не захотели возиться даже пожогщики и под вечер на заказанном заранее катере, собравшись подчистую, укатили. На прощанье двое из них зашли на Богодулову половину, где, дрожа от страха и скрываясь от картины горящих изб, прятались Сима с Катериной.

— Ну что, бабки, с вами делать? — сказал один.— Неумные вы старухи — так и так ведь сгонят. А нам пережидать... ну вас! Мы лучше в баню поедем, вашу сажу смывать. Поджигайте эту крепость сами, раз такое дело.

— Слышь ты, бурлак! — окликнул второй Богодула.— Чтоб в целости не оставляли после себя, не положено. Спички-то есть?

— Кур-рва! — рыкнул Богодул, а Сима, испуганно и обрадованно засуетившись, перевела:

— Есть, есть у нас спички. Есть. Мы сами.

Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом привел с поскотины мать. Он растерялся и не знал, что делать со старухами: в одну лодку не сгрузить, тут еще этот пень замшелый — Богодул, да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил:

— Может, сегодня и соберемся? Завтра я бы за остальными приехал...

Она не стала даже отвечать.

— Ладно,— подумав, согласился он.— Раз тетка Настасья тут — ладно. А через два дня я возьму катер.

Слышь, мать: через два дня. Завтра я в ночь работаю. А послезавтра будьте готовы. И мешки прихвачу — может, увезем вашу картошку.

Он походил, походил возле горячих пожарищ и уплыл. Так они остались совсем одни, но уже не впятером, уже с Настасьей вшестером.

Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с Матёрой боль, Настасья рассказывала:

— Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорю: «Ты пошто, Егор, не выйдешь-то? Пошто к людям-то не выйдешь? Люди-то все такие же, как мы, все утопленники». А нас так и зовут другие-то, кто не с Ангары: утопленники. Весь, почитай, дом из однех утопленников. Повечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормо-очем, бормочем... Кто откуль: и черепановская одна старуха есть, и воробьевские, и шаманские. Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то... А он все дома, все один. Радиу разведет, радиа у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю: «Пошли, Егор, че люди говорят, послушай. Че хорошего ты по воздуху-то наслышишь?» Нет, он уткнется, ничем его не оттащить. На меня же ишо сердится, что я пристаю. Как домовой сделался. А сам пла-ачет, плачет...

— Как поехала-то ты, тоже плакал? Как сюды-то поехала? — замирая и стыдясь своих слов, которыми она хотела подловить и провести Настасью, спросила Дарья.

— Как поехала-то? — не понимая, переспросила Настасья.— Куды поехала?

— Да сюды-то поехала?

Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось.

— Он бы плакал... Он бы плакал, дак он уж... он как плакать-то будет? Он опосле-то уж не плакал, когды помер,— вы че это?! Лежит, весь такой светленый, светленый, он-то, Егор-то... Я убиваюсь над им, я убиваюсь...— она опять закачалась вперед-назад,— ...а он лежи-ыт, лежит, молчи-ит, молчит...

— Схоронить-то пособлял кто, нет? — спросила Катерина, и Настасья, словно обрадовавшись вопросу, заговорила спокойней и живей:

— Схоронить-то хорошо пособили. Че здря говореть: народ добрый. Свой народ-то, из одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла... Да че говореть: весь заезд приходил. Там кто в одну дверку по лесенке заехал — «заезд» называют. Гроб откуль-то добыли,

привезли, матерьялом обтянули — я ни к чему и не касалась. Опосле машину подогнали, вынесли. Однако что, Аксинья надо всем и правила, воистая такая... не погляди, что старуха, что в такой же деревне жила. А от как-то пообвыкла, как тут и была, и ниче. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал... Весь остатный свет — радиа эта. Слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спросю: «Че там, Егор, говорят-то, что ты не наслушашься?» — «Посевная,— грит,— идет».— «Какая посевная? Какая посевная — под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли,— говорю,— решился?» — «А эта посевная,— грит,— круглый год идет». Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче, старый, поплачь, лишного не выдумывай». А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачной сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал. Я спросю: «Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?» Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался, до последнего часу ерепенился. «Он, слышишь,— грит,— бонбы кидают?» — «Это, Егор, не бонбы,— я ему говорю,— это землю спуста подрывают, чтобы не копать». Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я попервости-то, как ухнуло, едва тут и не кончилась. А он-то никуды не ходил, это я ему доносю, что так и так. «Ухозвон,— грит,— ухозвон замучил». Только на этот ухозвон и жалился, боле ни на че.

— А помер спокойно, не маялся?

— Помер спокойно. Спокойней спокойного помер, дай-то бог и мне так. Днем говорит: «Поди, Настасья, возьми красенького, чёй-то я весь отерп. Возьми,— говорит,— я кровь подгоню, а то она завернулась куды-то вся». Я пошла. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красенького не было, я пошла ишо через дорогу. Там машины, со всего белого свету машины — так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, боле того простояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила. Ворочаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не сердись, не ходовитая я по городу. Он ниче. Встал ко столу-то, встал и покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. Сели мы, уж вечер. Немного и посидели, а выпил он

на два пальца в стакане. Нет, грит, не питок, не лезет. И назадь в постель. Мы с им нарозь спали. Он на кровати на нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая в гармошку складывается. Лег — и вижу: глядит на меня. «Че,— говорю,— Егор, можеть, надо че?» — Голос у Настасьи напрягся, она подалась вся вперед, как наклоняются, не выдерживая, за ответом.— «Можеть,— спрашиваю,— надо че?» Я же вижу, что он неспроста смотрит.— И откачнулась назад.— А он ниче и не скажи. Знаю, что хочет сказать, а не сказал,— ишь, он боялся напужать меня. А чуял, чуял смерть.— Она опять прервалась и покивала.— Чуял, чуял. Я свет убрала, легла и заснула, непутевая. Заснула! — выкрикнулось у нее, но она тут же поправила голос.— А ночью пробудилась — слышу, дожжик идет. Че это, думаю, он — с вечеру-то ни одной тучки не видать было. Там хошь и плохо небо видно, да я все по привычке смотрела. И дожжик такой неноровистый, тихий. Ой, думаю, че-то неладно. К окошку подошла, а он только-только направился, ишо и землю не замочил. А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, грит, нету. Я потихоньку говорю: «Егор, дожжик-то пошел. Он тебе нашто нужон-то был? Нашто,— вдругорядь спрашиваю у Егора,— он тебе нужон-то был?» Он молчит. Я за огонь, шарю по стенке, шарю. Зажгла, а мой Егор-то, Егор-то...

Настасья заплакала.

Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно молчали; испуганно теребил за рукав Симу мальчонка, она слабо отпихивалась. Со свистом гонял в себя и из себя воздух Богодул. Не дождавшись, пока примутся за самовар старухи, он в молчании этом вынес его в сени и стал булькать там водой.

— Баба, баба,— взялся за голос Колька.

Настасья, обернувшись, заметила его.

— Все с тобой Коляня-то? — спросила она у Симы.

— Со мной, со мной,— торопливо ответила Сима.— С кем он ишо будет? Пока живая, куда я его?

— У нас с Егором тоже ребяты были,— сказала Настасья.— Вот Дарья с Катериной должны помнить. Помните?

Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили.

— Дак че — вру, че ли, я? — с обидой выкрикнула Настасья.

— Господь с тобой, Настасья,— сказала Дарья и,

успокаивая, повела рукой по ее спине.— Господь с тобой, Настасья. Че ты?! Приехала — вот и хорошо, что приехала, вот и ладно. Мы-то тебя ждали как... Картофку твою мы выкопали.

— Каку картофку?

— Твою-то. Из твоева огорода.

— А-а,— отмахнулась Настасья.— Куды я с ей?

— Куды-никуды — не пропадать же картофке!

Спохватились зажечь свет, ан нет: у Богодула, как у таракана, светить нечем — ни лампы, ни свечки, а свою лампу Дарья оставила в избе, и она, поди, подбавила огня. Катерина сходила во вторую половину, где жили пожогщики, но и там ничего не отыскала. Пришлось сидеть в темноте. Так, значит, надо, и до этого дошло. Так оно было, пожалуй, даже лучше: не стоит все время перед глазами это убожество и кочевье и не пугает завтрашним днем. Причесали Матёру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел свет, и, чудилось, все — никто не приедет и свет не вернется, а их, прилипших к Матёре, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час. И, будто чувствуя это, жалобно захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима.

Богодул занес вскипевший самовар, поставил его опять на пол, на ощупь отыскал в груде посуды запарник и заварил чай. И пили его, не слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками. Никто не спросил ни сахару, ни хлеба — казалось, ничего этого больше не положено. Хорошо хоть остался чай. В дыру в окне тянуло свежестью; Сима, пряча от нее Кольку, зашебуршилась, стала укладывать его — Колька продолжал о чем-то хныкать. Скоро чуть посветлело, выявились стены, и Богодул доложил:

— Цыганско сонце, кур-рва!

— Ты самовар-то увезла — ставила его там, нет? — вспомнив, спросила у Настасьи Дарья.

— Два раза за все время ставила,— со вздохом сказала Настасья.— Один раз при Егоре ишо, а в другой — уж опосле. Аксинья черепановская пришла, давай, говорит, вскипятим. Ой, да какой там чай! Вода не дай бог мореная, ее там травят чем-то, чтоб Ангарой не пахла. И углей нету. Она же, Аксинья, шишек сосновых насобирала, залили самовар и по лесенке вниз его, на улицу. А где ишо греть? Боле негде. Сидим с ей, караулим, а народ кругом ходит, смеется. Она, Аксинья-то, боевитая, ниче

не боится. Замучились ждать — без трубы тяги никакой нету, шишки наши как каменья. Ну, дождались все ж таки, надо назад тащить. У нас-то фатера на четвертоим поднебесьи, я на пустых ногах койни-как туды заползаю со своей одышкой. На кажной ступеньке стою. Лесенка не дай бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье — хошь и немного, а пониже. Там на кажный заулок по четыре дверки выходит, у ей крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали. С ей там ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва ходит. Ну, мы как засели — самовар-то опростали. Знам, что не подогреть будет — ну и давай, ну и давай.

— Назадь поедешь, нет?

— Ой, да не знаю, Дарья. Ниче покуль не знаю. Я бы и рада не поехать, дак куды меня?

— Ты там, поди, не привязана.

— Не привязана, а визжи. Куды деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И Егорова могилка там — как я ее брошу? А лягчи-то нам, видать, нарозь доведется, это надо в одночасье помереть, чтоб вместе лягчи. Я уж узнавала. Кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронют, кто с кем угадат. Ой, да мне-то долго не продержаться — все, может, недалеко от Егора посторонюсь. Не знаю, зиму перезимую, нет ли... Думаю, поеду, проведаю вас, на Матёру в остатный раз гляну. И зачну готовиться. Изба-то наша с Егором сгорела?

— Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо догорала. Весь наш околоток до седни держался, однем махом сгорел. Не видала, ли че ли?

— Ниче я не видала. Я не видала, как и сюды-то приплыла, как на пароходе ехала. Все будто во сне. А так приспичило на Матёру под послед поглядеть, так приспичило... свету белого не вижу. Ничего не надо, кусок хлеба в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жисти не будет. Нюню, кошечку, привезу. Ой,— спохватилась она.— Нюня-то моя живая? Я и не спросю. Дарья, Нюню-то я тебе оставляла?..

— Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою...

— Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.

— Вечор ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. Мо-

жет, обратно в продушину залезла, а может, бродит где.

— Надо завтри поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна-то буду? — в темноте Настасья засморкалась, закачалась.

Дарья вдруг подсказала:

— Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Али Богодула. А то про Нюню...

— Ык! — отказался Богодул.— Гор-род! — и возмущенно фукнул.

— Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала,— обрадовалась Настасья.— Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, матёринские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы некуды.

— Я не знаю,— растерялась Сима.— Надо, наверно, разрешение брать. Могут не дать. А так хорошо бы...

Настасья вздохнула:

— Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а без ее я совсем бы пропала. Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и есть. Хлебушко купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушко, он недорогой... Аксинья меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах — у меня ажно голова закружилась. Ну приехали. Дак нашто и ехали? Котелок картофки три рубли стоит, головка чесноку — рупь. Да это че, думаю, деется, где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! Я так ни с чем и обратно поехала. Нагляделась зато за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды оне столь хапают, нашто имя?! Ой, да че говореть! У нас покуль за телку деньги оставались, дак жили. А потеперь не знаю. Сулятся за Егора пензию назначить. Не знаю. За фатеру ондай, за огонь ондай. Можеть, ниче, я теперь уж много не ем. Не надо стало. Совсем ниче не надо стало. Другой раз крошки в рот забуду не возьму, и он не попросит. Как святая сделалась. В чем душа держится.

Завозился, укладываясь с краю у двери, Богодул, и Настасья умолкла. Часто, раз за разом, вздыхала Катерина, не слышно было ни мальчишку, ни Симу. Какой-то дальний, издонный холодный свет кружил по курятнику, смутной рябью падал на стены и лица, тенетил дверь напротив окошка. И завороженные этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись.

Павел добрался до поселка в сумерках. Дежурная машина, все лето гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не работала, и Павел, замкнув лодку и поговорив со сторожем, подволошенским стариком Воротилой, прозванным так когда-то за огромную силушку, а теперь немало усохшим и ослабшим, направился было за десять верст в гору пешком, но ему неожиданно повезло: уже где-то на второй версте его догнал на мотоцикле незнакомый мужик в шлеме над острым, строгим и морщинистым лицом и сам, без просьбы, остановился и подсадил. Спрашивать, куда едешь, не надо было: дорога от сворота вела только в поселок, ни дальше, ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой и удачной попутке домчал Павел за десять минут. Возле гаража при въезде в поселок мужик притормозил, молча, кивком головы ответил на благодарность и повернул по улице влево. Павел пошел прямо, его улица протянулась наверху, возле самого леса.

Солнце зашло, и в остывающем сгустившемся свете, четко выделяющем каждый предмет, поселок больше всего походил на пасеку. Ровными, правильными рядами стояли одинаковые, за одинаковыми же невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны — влево и к Ангаре. Собственно, поселок слева и оставался, улица, по которой поднимался Павел, была крайней, всю правую сторону ее занимали в глубине производственные постройки — гараж, мастерские, заправка, котельная, а еще дальше — баня. Она Рабочей и называлась. Всегда шумная, рокочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и пустынной; один Павел и шагал по ней, держась жилой стороны, где было меньше изжулькано и изрыто. Жизнь шла там, за заборами,— там разговаривали, бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо, собаки (всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили — после того как участковый Ваня Суслов, молоденький веселый парень из пограничников, едва не половину их перестрелял), там, за заборами, устраивалась своя жизнь и свой порядок, быть может, высаживались даже черемуха и березки. Здесь же, на улице, как и на всех без исключения улицах, было просторно и

голо — ни единого палисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли, или считалось, не надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали без умолку мотоциклы — гоняют, поди, обучаясь, пацаны. Мотоциклов этих развелось — в каждом дворе, за ними едут в Братск, даже в Иркутск, их покупают с какой-то ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их прекращен и это остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом: и мы, мол, не лыком шиты, и мы кое-что имеем и кое-что можем. Не понимая этой торопливости, Павел, однако, и сам подумывал, что придется к весне обзаводиться мотоциклом и ему. В Матёре он был без надобности, там все под руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, если пешком, а летом и до воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод — хоть куда доведись — на своих двоих не находишься... Это не Матёра.

Что верно, то верно — это не Матёра. Вот и не стало Матёры — царствие ей небесное, как бы сказала, перекрестясь, мать. Вот и не стало Матёры-деревни, а скоро не станет и острова. Еще можно будет, наверно, нынче же сплавать, покружить, гадая, тут или не тут стояла она... И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как не один раз пережитое,— и лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лодке, пытающегося по далеким берегам определить место Матёры, пристально вглядывающегося в темную замершую массу воды — не подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак, не блеснет ли где огонек. Нет, ни знака, ни огонька. Поперек воды, если править с берега на берег, еще можно сказать: тут — потому что где-то в каком-то месте ее пересечешь, а повдоль — нет, повдоль даже приблизительно не угадать, где же, на какой линии она, христовенькая, стояла, обетовала, куда она залегла... Все — поминай как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся боли: будто нарывало, нарывало и прорвало. Все равно это должно было случиться и случилось, а от ожидания этой неминуемости устали и измучились больше, чем от самой потери. Хватит, хватит... никаких сил уже не осталось. Теперь не придется изводиться Матёрой, сравнивать одно с другим, ездить туда-сюда, баламутить, натягивать без конца душу — теперь, и взыскивая с новой жизни здесь, в этом поселке, придется устраи-

ваться прочно, врастать в нее всеми уцелевшими корнями.

Павел повернул влево и, скосив на одну улицу — так было ближе к дому,— пошел опять в гору. Откуда-то со двора сладко потянуло дымком, и Павел, только что приехавший оттуда, где дымы больше месяца не сходили с земли, не давая дышать, невольно приостановился и потянул в себя приятный, как бы со всем старым связанный запах, который, казалось, должен был с переездом сгинуть и не сгинул. И верно, печей, банек здесь не топят, дымокуров не разводят, но просто дымка на своем клочке никто еще не отменял; Павел стал вспоминать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе по какой нужде, и выходило, что не добывал. Мусор, сгребенный в кучу, так в углу и преет, сквозь него уж трава проросла; собрался еще по весне сжечь, но представил, что могут прибежать: что горит? не пожар ли? почему никто не жжет, а вы жжете? — и плюнул, оставил, хотя никто наверняка не прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли: все, как у чужого дяди, делаешь с оглядкой, на все ждешь указаний. И, возвращаясь опять мыслью к Матёре, к сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспомнил, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул, тянул из себя, искал какое-то сильное, надрывное чувство — не пень ведь горит, родная изба — и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа! Точно оправдывая в чем себя, Павел подумал, что ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к жизни: после войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших, казалось ему, пришел. Все, что требуется, они делают — и детей рожают, и работу справляют, и солнце видят, и радуются, злятся в полную моченьку, но все как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз, все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью. О себе Павел хорошо знал, что у него часто случаются затмения, когда он теряет, выпускает куда-то, на какую-то волю, себя, и бывает, надолго; и где он был, куда отлетал, что делал — не помнит. Затем спохватывается, держит память ближе, ступает прочней, делает все, чтоб крепче зацепить себя, с зарубками, с заметами — и так идет неделю или две, порой больше, и снова провал, снова стягивает в какое-то свихнутое и чужедальнее, как у лунатика, состояние, когда шевелиться шевелишься, но без головы, только лишь по инерции.

Выплеснулись единым махом ребячьи голоса, и Павел догадался, что это из школы, кончились уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюминиевой краской водосточной трубой был виден и отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув отчего-то, оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли и им не учиться здесь. Хорошую, даже по нынешним временам, выстроили школу — веселую, в три этажа, приподнятую надо всем остальным, окнастую — и если поселок действительно походил на пасеку с вымеренно и ровно поставленными ульями, то они, постройки нежилые — школа, магазин, детсад, столовая, даже баня — пятнали, разбавляли его от красивого и унылого однообразия. А как, верно, хорошо, если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков ходил в эту школу, а его вызывали бы на собрания и спрашивали за двойки и шалости. Но нет, видно, не бывать и этому. Вот отчего за самое горло берет тоска, когда он глядит на школу и слышит, как вот сейчас, ребячьи голоса. Прошла, значит, жизнь — и не время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнил он опять о матери, о том, что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь ступит она в этот поселок. Что-то не давало, не пускало поверить — хоть ты что делай! — ни в какую невозможно было это представить себе, перед глазами тотчас опускалась пелена.

Отсюда, с горы, стало как бы светлей, и высокие, крытые шифером крыши домов струились с улицы на улицу живыми спокойными волнами. По-прежнему трещали мотоциклы, взбивая пыль; с полей доносился натужный вой трактора, все еще гомонили, растекаясь по улицам, школьники и горько, страдальчески взмыкивала раз за разом запертым нутром где-то во дворе корова. Далеко-далеко синел за запанью, где шла Ангара, противоположный берег и круто, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с одним-единственным, заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного облачка. Здесь же, над головой, небо уже остыло и смеркалось, клонясь туда же, в сторону Ангары. Было не как в Матёре, где сразу после солнца прохватывала свежесть,— было кругом тепло и сухо, и шло это тепло от нагретой за день земли и построек; чувствовалось, как пахнет от них краской и бензином.

Павел вышел на свою улицу, застроенную только с одной стороны против леса, дошел до калитки и остановил-

ся, высматривая, нет ли среди бродящих в кустах, потрескивающих сучьями коров Майки. Ее не было,— Павел заглянул в щелку в заборе и увидел, что она во дворе.

До чего умная корова! — и здесь, где скот одичал без выпасов и присмотра, шастая, как звери, по лесу, она сама каждый день приходит домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него — хоть убей — не возьмется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся. Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху, и Соня, решительная в таких действиях, только бессильно и брезгливо махала рукой, когда он норовил сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми, но тут поделать с собой ничего не может, таким уродился.

Что-то не хотелось ему идти домой... Не хотелось, и все. Вечер тек тихо и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все еще не просела. Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись — будто осторожно сносило их той же течью властительного времени. Слетел с осины напротив красный лист и застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, подхватило его и вынесло на дорогу, продернуло еще чуть по земле. Павел без памяти и без мысли чему-то кивнул: так и должно быть. А что так и должно быть, о чем подхватилось опять дальнее-предальнее неспокойство — поди разберись. Наверное, надо было все-таки настоять и перевезти сегодня мать. Он уезжал с Матёры без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех, чтоб не разлучать их в этом переезде, но сейчас вдруг стало не по себе. И не «вдруг» — что-то ныло и наплескивалось постоянно с той поры, как он оставил их, а он считал, что ноет другое. Но как опять же было настоять? С матерью не больно поговоришь, если она не захочет, от старух она, конечно, никуда бы не поехала. И без старух, будь она совсем одна, но сразу после того, как сняли избу, тоже, наверное, не поехала бы, не сумев хоть немножко успокоиться на родной земле, возле этой избы.

И опять он не поверил, что когда-нибудь она войдет в эту калитку...

Постояв еще, помучившись без утешения, Павел пошел

в дом — пора было укладываться, утром рано на работу. Соня, ожидая его, сидела внизу, в кухне, и вязала, из большой кастрюли на полу тянулись красная, зеленая и черная нитки. Вязать она пристрастилась уже здесь, в поселке, когда в магазин навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской пряжи, и конторские, все без исключения, опять же чтобы не отстать друг от друга, набрали ее ворохами. В Матёре от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать, и не было тем носкам и рукавицам износу. В них воду наливай — не капнет, не то что Сонина, со сплошными дырками, как кружево, по моде работа.

Поднимаясь, чтобы накормить Павла, Соня сказала:

— Земляк наш два раза уже за вечер приходил, спрашивал тебя.

— Кто такой?

— Петруха. «Где,— говорит,— моя мать?»

— Вспомнил про мать...

— Я и говорю: не рано ли вспомнил про свою мать, сыночек? Подождал бы, пока затопит, потом и искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезвый он или пьяный. Одинаково боталит.

Павел не стал расспрашивать, что такое «боталил» Петруха, ему это было неинтересно. Но повидать Петруху надо бы: пускай поможет послезавтра перевезти старух. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай бы забирал — только куда, в какие хоромы, в какое царство-государство станет он ее забирать? Но это уж не его, не Павла, забота. На него, чувствовал и предвидел он, достанет заботы определять куда-то Симу с мальчишкой и Богодула, провожать обратно Настасью. Будет еще мороки, будет... Но не это, в конце концов, страшно, с этим он как-нибудь бы управился, больше всего пугало его, и мыслью не давая подступиться и разрешить, угадать хоть немного наперед,— что будет с матерью? Отсрочка на один день ничего не даст; оглянуться не успеешь, как вот оно, послезавтра, и надо ехать за нею, надо перевозить...

Только он поужинал и еще не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги, и по громкому, нарочитому, упреждающему этому стуку Павел догадался: Петруха. Легок на помине. Но Петруха явился не один, с ним был — вот уж кого нельзя было ожидать — Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал «здравствуйте», кинулся зыркать

своими круглыми, навыкате глазами на круглом же и румяном лице по углам.

— Павел Миронович,— быстро и требовательно спросил он,— где у вас старуха?

— В Матёре,— уже начиная догадываться, что к чему, ответил Павел.

— Как в Матёре?! Ты же ездил сегодня туда! Почему в Матёре?!

— Я-то ездил, да она не поехала.

— Шутки шутить будем или что будем?..— вскинулся, растерявшись, Воронцов.— Как не поехала?! Что значит не поехала?! — Он, все еще не веря, осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглянул наверх.

— Нету, нету,— остановил его Павел, а то бы он и наверх полез.— Зачем я обманывать буду? Нету. Там. Не нажилась, говорит. Осталась пожить.

— А моя мать? — вскричал Петруха — ну прямо сердце кровью, можно было подумать, окатилось у него в эту минуту о матери.— Тоже там?

— Ну если ты не снял ее оттуда — тоже там.

— Когда?! — завопил он.— Когда я сыму ее! Я только сёдни с задания воротился, я задание выполнял. Вот Борис Андреич скажет,— сослался он на Воронцова, тряхнув у того перед самым носом грязной, перебинтованной почему-то черной тряпицей рукой. И по этому истовому взмаху, по горящим глазам и выжимаемому до конца голосу Павел понял, что Петруха нетрезв.

Воронцов передернулся.

— З-задание! — вскипел он.— З-зад-дание! Мать у тебя почему в неположенном месте находится, пьяница ты несчастный?! Твое задание, чтоб она здесь находилась. Где хошь чтоб находилась, а не там. А ты что делаешь?! Есть указание, оно всех касается! Понимать будем или что будем?..

Что до понимания, Павел понимал, что говорится, кричится это не столько Петрухе, сколько, конечно, ему.

Но Петруха решил обидеться.

— Я, может, и пьяница,— он исподлобья оглядел всех, приглашая прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания,— но чтоб нещастный — и-извини-подвинься, товарищ Воронцов, Борис Андреич. Я на себя такую кличку взять никак не могу. Не имею права! Да! — капризно вздернул он голову и замер, проникаясь силой своих слов.— А пьяница... че ж пьяница...— Пет-

руха помолчал.— Че бы вы делали без этих пьяниц?..

— Где они там живут? — не слушая его, опять быстро и нервно спросил Павла Воронцов.

— В бараке.

— В бараке?! Барак стоит?! Стоит барак?

— Стоит.

— Да это же! Это же... Вы понимаете, что это значит?..— Воронцов даже затрясся и кинулся к окну — и что он там хотел увидеть, было непонятно.— А ты,— отскакивая от окна, накинулся он на Павла,— ты, Павел Миронович, куда смотрел? Как позволил? Ты же коммунист, не то что этот,— брезгливо кивнул он на Петруху.— А ты мать, столетнюю старуху, не можешь к порядку призвать! Барак стоит! — простонал он.— А у меня завтра государственная комиссия. Утром нагрянет. Я им что — барак буду показывать? Людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия — понимаешь ты, Павел Миронович?! А он съездил и приехал. И чай пьет. И никаких! А с кого завтра спросят? — При собственном же вопросе «С кого завтра спросят?» Воронцов напрягся и решительно приказал: — Собирайтесь. Хватит в игрушки играть. Надо понимать положение. К утру чтоб ни барака, ни людей. Не вздумай смыться,— предупредил он Петруху.— Поедешь. На з-задание поедешь. Вместе со мной. Ты, Павел Миронович, тоже собирайся. Хватит. Это дело государственное. Черт знает что творится!

Не хотелось Павлу ехать, устал он, да и ночь на носу, а утром рано на смену, значит, спать не придется совсем, но больше того не хотелось тормошить сейчас и выгонять из гнезда старух и на глазах у них поджигать последнее, что осталось на Матёре,— барак, давший им последнее же пристанище. Но делать нечего — надо было ехать. Павел представил, как станет Воронцов в темноте суетиться и покрикивать на старух, поторапливая и загоняя их на катер, как, не выбирая выражений, станет он грозить им и ругаться, кляня вместе с ними все на свете. Представил мать и то, как она будет одергивать эту власть и как, с какой болью и требовательностью станет она смотреть на него, на Павла... представил потерянную, дрожащую от страха Настасью, с перепугу кивающую беспрерывно головой... плачущего мальчонку... нахохлившегося и задиристого Богодула, за которым к тому же надо присматривать, чтобы он — чего доброго! — не кинулся на Воронцова... Представил Павел все это и предложил Воронцову:

— Может, тебе не ездить? Мы как-нибудь одни управимся.

— Не-ет,— вскинулся тот.— Нет, Павел Миронович, на вас я больше надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать, я должен быть уверен, что территория очищена, а на вас понадейся — вы мне опять попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за нее.

Он велел Петрухе идти поднимать катериста, дал на сборы и на дорогу до гаража, где решили собраться, чтобы без задержки оттуда выехать, полчаса и выскочил.

— А что,— сказала Соня.— И правильно. Зачем человека под удар ставить? Он отвечает.

— Пущай отвечает,— взъярился Петруха.— Пущай отвечает, никто ему не мешает отвечать. Да пущай человека уважает. Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться да меня же чем попадя обзывать. Извини-подвинься. У меня гордость. Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть!

Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого катеристом и называли, угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивал его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью сбегал, прошло не полчаса — час. Выехали уже в темноте, при звездах, на маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль сел Павел. Дорога была хорошая, и под гору покатились быстро; торопливо набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны, лес; мельтешила на свету, каким-то чудом успевая вонзаться в него, ночная крылатая мелочь; ровно, сплошным отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла молчали. Петруха попробовал было завести беседу, доставая до Воронцова намеками о сверхурочных, но Воронцов даже и оборвать его посчитал недостойным себя, и Петруха затих, отчего-то (Павел видел это в зеркале) страдая и морщась. Старик Галкин дремал. Воронцов сидел впереди них прямо, будто даже и не покачиваясь, когда встряхивало, пристально и сердито уставившись в лобовое стекло.

Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в окно сыростью. И как-то медлительней, ленивей стал набегать лес, еще глуше зашуршала резина. А когда выскочили на открытое место в полутора километрах от реки, на машину двинулись сначала

редкие, затем все больше и больше нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар, серые мочальные лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Старик Галкин позади Павла встрепенулся и с неуверенностью и тревогой в голосе спросил:

— Туман?

— Туман,— обрадованно подтвердил Петруха.— Может, это...— Он не решался ясно высказать свое желание и только поддернул голову, закидывая ее назад.— Че по туману шариться?..

Воронцов и на этот раз не посчитал нужным ответить.

Не разворачиваясь, Павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел. Катер, стоящий за вереницей лодок справа, не был виден, но туман висел еще в воздухе, и полоса воды понизу просматривалась, насколько позволяла темнота, довольно хорошо. Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким случайным чмоком со сна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста течения, молчала земля — все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью. Поднялись, не слыша шагов за собой, на катер, Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестности и надрывая уши, а заработал, точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва ли стукоток его пробивался дальше чем за тридцать шагов. Последним заскочил на катер Петруха, со счастливой усмешкой похвалился Павлу:

— Воротилу подпер. Даже не шевельнулся, спит без задних ног.

— Все ребячишься? — поморщился Павел.

— Пуш-шай. Сторож, дак сторожи, а не спи, как сурок. Проснется, а выдти — хрен ему. В окошко надо вылазить. Вылезет, а катер угнали. Вот запляшет Воротила.

Петруха хохотнул и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу, отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли будкой.

Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, а какой-то мелкой, как пыль, липкой серой испотью. Павел чувствовал, как тяжелеют, наливаются противной сыростью и лицо его, и одежда, но подни-

маться и идти в будку не хотелось, он устроился позади нее на приспособленном под сиденье чурбане и закурил, от прохлады и тревоги с особенным удовольствием и жадностью втягивая в себя дым, но тревога не рассасывалась, напротив, все больше и больше обострялась и росла. Вот сейчас приедут они — и что будет? Замирало и отнекивалось от этого вопроса все внутри, и так не хотелось, хоть в воду бросайся, плыть. Сильней всего он жалел, что согласился на этот ночной внезапный десант; он уже и забыл, что ничего другого ему не оставалось. Как, как, в самом деле, угораздило его согласиться? И как опять-таки мог он отказаться, если там мать, если переезд ее нельзя перепоручать кому-то другому: мать никогда бы ему этого не простила.

Матёра лежала на нижний искосок верстах в двух от берега, от которого отчалили. Галкин взял сразу на Ангару и теперь вел катер вслепую, на ощупь: уже через пять минут после того, как снялись, забрались в такой плотный, дремучий туман, что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было совершенно невозможно. Павел подумал задней догадкой, что следовало, наверно, сначала спуститься хоть немного вниз по течению и только затем повернуть поперек, чтобы не промахнуться и наверняка наткнуться на Матёру и уж по берегу обогнуть ее и спокойно подойти, куда нужно. Но сейчас говорить об этом было поздно, надо было думать сразу. Ничего, Галкин плавал здесь полное лето, дорожка знакомая, доберется, поди, по памяти, одним чутьем. Он вел катер осторожно, на малых оборотах; до Павла донеслось, как Воронцов добивался, чтобы он прибавил газу, но Галкин не подчинился, и ход остался тем же; на полной скорости, чего доброго, недолго залететь на мель — потом кукуй. За катер отвечает моторист. Мотор едва слышно стучал где-то далеко-далеко внутри, представлялось даже, что под водой, зато хорошо слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки, и под это мягкое и монотонное шипение Павел, тревожно затаившись, забылся.

Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло; вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но никакого берега, как ни всматривался, не увидел. Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, за эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи; Павел не помнил,

чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости. По времени пора бы уже приехать, однако непохоже было, что они причаливали; Павел пошел в рубку, и по тому, с какой пристальностью, с каким беспокойством, вытягивая шею, всматривался в темь Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь в дорогу, да еще по воде, ясное дело, не отправились бы... И он, Павел, тоже как маленький: куда повели, туда и пошел, не пробовал даже возражать. Теперь что ж, теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное, они все-таки проскочили Матёру выше, а потом незаметно развернулись и пошли по течению. Наверное, так и получилось. А если так, надо, значит, брать вправо и попробовать встретить Матёру с другой стороны, от своей Ангары. Павел неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот, обрадовавшись, что не ему одному отвечать за руль, не раздумывая, туда и повернул.

— Долго что-то,— почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева.— Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?

— Найдем,— без уверенности ответил Галкин.

От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода (был он, как и днем, все в той же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.

— Ого, туманчик-то! — удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать руками грудь.— Хошь ножиком режь. Закружали, значит? Закружали, закружали... Я говорил...— Ничего толкового Петруха не говорил, ни от чего не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть и самому неведомой, правоте — и Петруха его, конечно, не упустил.— В такой туман надо рыбой быть, чтоб не закружать. Дела-а-а!

Проплыли еще минут пятнадцать — вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей Ангары в Матёру или Подмогу — ничего: ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать,

куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

— Глуши,— решившись, сказал он.

Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана,— самой воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз — там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода. Воронцов не выдержал:

— Долго мы еще тут будем возиться? Вы что — не понимаете или понимаете? Скоро утро, надо дело делать.

— Не кричи,— оборвал его Галкин.— Тут тебе не собрание.

И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что приказами здесь не поможешь. Однако «не кричи», которое обидело его, потому что он не привык к такому обращению к себе, подвинуло его к другому решению, он потребовал от Петрухи:

— Кричи.

— Че кричи? — не понял тот.

— Что хошь кричи. Хоть караул. Есть же тут где-то живые люди или что? Может, они услышат. Или вы все сговорились? Ну?!

Петруха не сразу, не вдруг, показав, что он подумал и согласился с Воронцовым, пошел в нос катера, и оттуда донеслось:

— Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Где вы? Э-э-эй!

Ни звука в ответ. И смешно было надеяться, что кто-то отзовется: туман тут же, на месте, впитывал и топил голос, выбраться из его трясины ничто не могло.

Снова завели двигатель и поплыли, правя, казалось, к наконец-то точно угаданному берегу, не отыскав его, поворачивали к другому, потом к третьему — и ни к одному не могли добраться. Все сгинуло в кромешной тьме тумана.

— Так нам и надо,— уже с последней, безучастной злостью, обращаясь к Воронцову, сказал Павел.— Какого дьявола было на ночь плыть — до утра бы не подождали, что ли?

— Если бы ты днем их привез, не поплыли бы,— оправдался Воронцов.

Павел смирился: будь что будет. Он уже не подсказывал Галкину держать ни вправо, ни влево, тот правил куда-то, в какую-то пустоту, самостоятельно. Затих, сми-

рившись, и Воронцов, он сидел с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой красными, воспаленными за ночь глазами, но время от времени не забывал расталкивать дремавшего рядом Петруху. Петруха встряхивался, выходил на борт и глухо и безнадежно кричал, едва слыша себя, все то же:

— Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матёра-а!

Затем возвращался и, наваливаясь по-братски на Воронцова, опять засыпал.

В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана.

* * *

Заплакал со сна, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая,— они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день,— отозвалась Дарья.— Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

— Ты не ложилась, Дарья?

— Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли? Это ить я сидю-то.

— Потеперь вижу. Я куды-то летала, меня тут не было. Ниче не помню.

— Куды летала — там люди есть, нет?

— Не видала. Я летала по темени, я на свет не выглядывала.

— А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

— Я-то? Я Настасья.

— Это которая с Матёры?

— Она. А ты Дарья?

— Дарья.

— Это рядом-то со мной жила?

— Ну.

— Я ить тебя, девка, признала.

— Дак я тебя поперед признала.

— Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

В два голоса ответили:

— Рехнулись.

И замолчали, то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание Богодула. В лад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи.

— Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нить.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюся.

Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то? Говори — че ты молчишь?

— Не видать, кур-рва! — ответил Богодул.— Туман.

Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

— Это ты, Дарья?

— Однако что, я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

— Я здесь, здесь.

Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой — то был прощальный голос Хозяина. Тут же его точно смыло, и сильнее запестрило в окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то, будто споднизу, донесся слабый, едва угадывающийся шум мотора.

ЖИВИ И ПОМНИ

1

Зима на 45-й, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, кроишивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился — нет топора. Обыскал все — нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка — легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело,

вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым, полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то»,— упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороженная, посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и

ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинающим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник,— вот она, пла́ха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашел свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени — на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше невмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный — морозы только еще начинали сдавать,— но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не

чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопреть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

— Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от страха.

Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов — не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб — и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи,— стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости — многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего — от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей — слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» — и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

— Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче: принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду,— без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится — чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо.

А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем, Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки. Характер у нее выказался не сладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова — надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а, скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить — то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался един-

ственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить — будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом — в страх. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина — она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибиваясь к старинному правилу: сошлись — надо жить. Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, кото-

рое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом 44-го года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома — так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

— Какие имеете известия от сына? — строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

— Больше он о себе ничего не сообщал?

— Нет.— Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя.— А че такое с им? Где он?

— Вот это мы и хотим выяснить — где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать — сообщите нам. Понятно?

— Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

3

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос

был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

— Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?!

— Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

— Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое источало в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается — настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

— Искали меня?

— Милиционер недавно приезжал и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

— Отец, мать догадываются про меня?

— Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

— А ты, значит, догадалась?

Она не успела ответить.

— Хлеб ты приносила?

— Я.

Он помолчал.

— Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю,— с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет.— Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила.— Он опять больно сдавил ее плечо.— Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

— Понимаю.

— Ну и что?

— Не знаю.— Настена бессильно покачала головой.— Не знаю, Андрей, не спрашивай.

— Не спрашивай...— Дыхание у него опять поднялось и запрыгало.— Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому — убью. Убью — мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

— Господи! О чем ты говоришь?!

— Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери — к тебе. И никто: ни мать, ни отец — не должен обо мне знать... Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих. Но если ты не хочешь этим делом руки марать — скажи сразу.

— Что ты меня пытаешь?! — простонала она.— Чужая я тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами — после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала, почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать — хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть, как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча — в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом,— вся эта встреча выходила чересчур неправдашней, бессильной, пригрезившейся в дурном забытьи, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, на послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое, похожее на ласку, прикосновение: Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не

зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

— Как вы тут хоть жили?

— Тебя ждали,— сказала она.

— Дождались. Дождали-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступиться к нему, откуда ни возьми, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

— Может, помоешься?

— Надо помыться,— торопливо и даже как будто обрадованно согласился он.— Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

— Для тебя.

— Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

— Остыла, поди, совсем? — зачем-то спросила она.

— Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

— Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полузнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего — ни утешения и ни горечи — она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

— Надо было хоть белье тебе принести,— сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

— Черт с ним, с бельем,— отозвался он.— Я тебе счас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

— Живая.

— Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

— А что я ему скажу про ружье?

— Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье — мясо я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же, попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

— Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

— Куда ты пойдешь? — спросила Настена.

Он хмыкнул:

— Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

— Не забуду.

— И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

— Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? — неожиданно спросил он с порога.

— Радая.

— Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

— Нет.

— Кто?

— Муж.

— Вот: муж,— с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выхода из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно, недальний, пока не упрешься в стену, а поворотить назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним сталось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх — многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила его на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причи-

тания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настеной у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настену; он не был в точности уверен, что это она, однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу — достаточно, войну не заворотишь. Но знай он, что та фигура, которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, вовсю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу

яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим — не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы,— скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченый человек. Да неужели и впрямь конченый? Отказываясь, со взыгравшим недобрым упрямством он вслух пообещал:

— Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не сделается — увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды, еще до своего отбытия с фронта, он не уберегся и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоян-

но, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался — это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей — тут уж либо пан, либо пропал, а подержишься, побережешься — погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все,— не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку — коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть — уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от ннх отступиться, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил — живи. Порой, в легкие, утешные минуты на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего

плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых — не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило — конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного,— лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все — плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. «Дней на десять отпустят,— определили Гуськову,— не меньше». Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они,— знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а для них — особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга,— разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не

домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать — и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундированне и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настеной,— этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил — не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал — все легче. Она бы и проводила, а когда провожают — надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах,— есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек — почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали,— как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал,— и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет — туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война — сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

— А тебе куда? — спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

— В Иркутск.

— Вместе поедем,— обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, подсадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня — не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше — дня тоже не хватит. И двух не хватит — зима. А возвращаться с полдороги — зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного — самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго — совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его — нет. «Шкура! — говорили.— Ну и шкура! Всех захотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они долж-

ны воевать, а он кататься туда-обратно — вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза — рано утром и вечером, и приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке — кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая, душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба. Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо

ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только — чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрей, торопливей — он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Оставаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот — те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня — не та, за кого она себя выдает.

Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго — застрял совсем, думал о Настене — оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай — не расхлебать, кайся — не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хоть на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна — домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на

заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал — не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрел до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном,— то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой, сюда и в прежние-то годы мало кто заглядывал, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому, правому рукаву.

Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, ры-

балка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене и по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так — Покосным — и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья, одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переплавлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще — на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая неспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним сталось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и зайдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись

от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате — бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит — не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

— Ну и на сколь?

— На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

— Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

— Какие шутки...

— А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

— Нету.

— Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее,— он кивнул на печку, где лежала Семеновна,— может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

— Сказали, в последний раз. Для победы.

— Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

— Цё, цё она говорит?

— Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! — выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской — спущенную цифру подняли, не уронили,— с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему:

— Нестор Ильич,— даже повеличала, чтобы подольститься,— кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить?

Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

— Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты — не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

— Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

— Ты только обратно ее потом отпусти.— И подмигнул Настене.— Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до

выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится — неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

— Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там.— И попросил дрогнувшим голосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно — Михеич сказал:

— И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

— Седни-то обратно ждать, нет?

— Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

— Но-но. Не седни, дак завтра.— И не утерпел, вспомнил: — Не могла ты вчерась с самого утра куда-нить ухле-

стать. Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполовину мене язык-то свой высовывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О гошподи! Не знают, на кого и вешаться.— Язык Семеновны звучал на свой лад.— Ить он за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

— Ладно, ладно, старая, не выдумывай,— останавливал ее Михеич.— Лежишь — ну и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться — за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он — Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу,— пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею

утащила, а муку отсыпать побоялась, ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука — все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси. Карда — деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут вправду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые волосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком, езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике — вперед, Настена! Не бойся, Настена,— вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами — она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой — ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался — все, будто на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво — ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами

Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев — вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко — сама не думала, что так сумеет,— вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась — давно бы так — и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант — самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук — откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею — все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой оста-

новилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги,— и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыма, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать, научилась воровать. А ведь это только начало — что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

6

— Ну, здравствуй, что ли,— сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку — его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах.

И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее неспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился — видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь — и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

— Вот,— с виноватой улыбкой снова начала она,— приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

— У меня теперь все дни черные,— впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно. Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

— Куда ты?

— Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

— Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами, вроде «возьми» да «подай». Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась — нет,

надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвастала ему:

— Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать.

Он в ответ бегло кивнул.

— Это что же получается? — обиделась Настена.— Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

— Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

— Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

— Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили — или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит — вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо,— верный, только ей одной известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок — говори, что хочешь, смейся, дури — все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и неохотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

— А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

— Почему чудной?

— Да какой-то...— Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех.— Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной — ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

— Ну и как нечистая сила?

— Ничего. Но свой мужик лучше.

— Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

— Зачем?

— Чтобы не походить на лешего.— Он сказал и тут же одумался.— Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

— Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю,— спохватилась Настена.— Приехала тут разговоры разговаривать.— В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать.— Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

— Никто, говоришь, не колошматил?

— Ну.

— Соскучилась, что ли?

— Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.

— Надо хоть чаю поставить,— вспомнил он.

— Ставь — что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним — так редко это случалось раньше и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки — не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится — тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверное, в запыленной бутыли самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг при-

спичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посудины — из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену — и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекшись на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось — настолько все казалось неправдашним, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

— Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя,— неизвестно к чему сказала она.— Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола — она, чтобы подразнить его, закрыла

глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Чего-чего?

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох, и дурили же они — пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка,— тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

— Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

— Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубаху и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

— Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

— Сейчас уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так — будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было, и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

— Ты не рассердишься, если я усну? — слабым и счастливым голосом спросила она.

— Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее,— она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубло, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели — это от работы. От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще неспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи»,— зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился — так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом. Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезло. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку — Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту — это всегда помогало ему уснуть,— скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

— Так сладко поспала,— сказала Настена.— Уж и не помню, когда еще так доводилось — на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

— Возвернись я туда, я бы там и остался — это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так — не продох-

нуть. Зря это не бывает. Зря не зря — теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами — так легче было говорить — и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить.

— Но как, как ты насмелился? — вырвалось у Настены.— Это ж непросто. Как у тебя духу хватило?

— Не знаю,— не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает.— Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

— Война кончится,— может, простят,— неуверенно сказала Настена.

— Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгалялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся — век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

— Ну что ты, что ты,— начала Настена, но он перебил ее:

— Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое

лето. Охота, и все — хоть убей. А тут ты сегодня обогрела — впору скулить от радости.— Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал.— Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу.— Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело.— И ты — слышишь, Настена? — и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испугалась Настена и тоже приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

— Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

— Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? — спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

— Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю,

ты поймешь. Поймешь все, как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет — тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

— Ты как-то страшно все время говоришь...

— Не бойся. Я не тебя пугаю — себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

— Что мне говорить...

— Как там мать — ходит?

— Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает — сама. Так и не научусь, поди, никогда хлебы печь.

— Отец все в конюховке?

— Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

— Что такое?

— Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, чего нет. А он сном-слыхом не чуял — ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

— Стариков пока не бросай,— сказал он и опять затмился, задумался.— Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

— А как же, Андрей, дальше-то? — несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена.— Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война — что им потом думать? У них вся надежа на тебя.

— Надежа, надежа...— он вскочил и заходил по зимовейке.— Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я? — я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки — и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был — и сплыл. С кого спрашивать? Что

там капитан — тыщи людей ие могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя — все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежа — сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

— Еще неизвестно, что лучше: точно знать — твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать — чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получит — не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет — все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать.— Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: — Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

— Как же я останусь?

— Еще-то приедешь?

— Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

— Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит.

Настена вспомнила:

— Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала.— Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в углу два холщовых мешочка — с порохом и дробью.— Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

— Мне и половины за глаза достанет,— обрадованно засуетился над мешочками Андрей.— Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! — Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: — С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

— Ну тебя! — не слыша, разволновалась Настена.—

Прямо сердце зашлось — до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

— Прибегай, я приучу.

— Да я-то бы каждый день прибегала.

— За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю; Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настенка тихонько ахнула:

— Ой, что за чудовина такая?

— Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого — не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

— Господи, да их в руки брать боязно.

— Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так...

...Настена ехала и плакала — до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать,— все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте — так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей.

Столько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли — не снялись совсем,

но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в пол-языка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь — отступиться от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь,— без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И, может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной... Их если не бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

Живые там, он — здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены — как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

8

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке,

всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной, сторону он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжнтого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, заброcанном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким, смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему сиялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было — неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубки, поля, покосы.

По берегу снова шел — не шел, а катил — Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на

разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские — что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем не страшно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался — то ли от непогодья, то ли от людей. Скорей всего от людей — зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей,— не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье — свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, таращился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного, острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод... Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно — может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие. Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подыхающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза — они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней и просторней нижнего; срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля

вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержись, разведи он огонь, и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибегал лишь на дневку и едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускало, припекало днями уж так, что мешал полушубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудреными зарубками: что делать, куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами — вдруг укусишь? — но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал. Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, мо-

лодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки или что-то еще — неизвестно. Но находило, схватывало — не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда — как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалясь, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от наставленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую, на одном длинном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней — настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить — по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать»,— со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и,

словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

9

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик — Максим Вологжин. Хотя, если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на руках у баб, остальные воюют. Простая арифметика, деревня маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

— А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой.

— Хоть так повоюет,— со злостью сказала Надька.— Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла:

— Не мог мой паразит живым остаться... Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? — вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением.— Наклепал ребятишек и... смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? — Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы.— Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов — и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене:

— Слыхала, Максим Вологжин пришел?

— Слыхала.

— Ты там не была?

— Нет.

— Надо бы сходить... может, он знает че про Андрея.

— Пошел бы ты, штарый, шам,— застонала Семеновна.— Больше надежи. Она ить и шпрошить как шледует не шпрошит.

— А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

— Ой, да делайте, как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего — чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он

знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильней стал приволакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал,— он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком — это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше — тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленней, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо еще больше заострилось — так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

— Сходи, дева, сходи,— отправлял он Настену.— Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.

— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли,— принялась она жаловаться Настене.— Ну, не прорва ли, не прорва ли! — скажи ты мне. И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? — прикрикнула она опять на Лидку.— Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и она же еще ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем?

У меня мучицы на одну квашонку осталось — и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть бы капельку че-иить понимали. И ведь он-то, балбес, уж не маленький,— Надька ткнула рукой в сторону Родьки,— должен бы хоть немножко че-то соображать — нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подыхайте, раз так — не жалко.

— Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить,— буркнул от окна Родька.

— Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу и нонче объедимся. Куда только кости от рыбы девать станем — никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

— Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

— А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не наглядишься.

— Не пойдешь, что ли?

— Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан,— крикнула она на Родьку.— Неси дрова да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи навострить. Дома весь вечер будешь сидеть — так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:

— С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

— Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идолы какие-то, наказанье божье. Ой, че с них будет, че с них будет? — кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя

ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дождаться и самое лучшее — уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильней, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька не разорялась перед ним. Надоест — сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька — там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку,— Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого; свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало — ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаючись мать,— до того сироты и пострадальцы, что у

доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уж смерклось, пожухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер — ни голоса и ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с кромешной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними,— пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжиных было людно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он — Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, забинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка, младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

— С возвращением!

И Настена вслед за ней повторила:

— С возвращением.

На лавке вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла — сияло ее лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся

грудь — сияло все, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

— Еще утром ниче не знала. Ячмень вместе чистили. Ячмень...— Всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них — на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

— Ну, Настена, когда ты своего будешь встречать?

Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила:

— Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой...

— Кто — Андрей потерялся?

— Он в госпитале лежал... тоже раненый. А после его обратно, на фронт,— Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича.— С той поры ни слуху ни духу. Не знаю... Ничего не знаю.

— Ну, найдется.

— Дак это... всерьез потерялся,— взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену.— Тут с расследованием приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

— Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит,— уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так вышло — теперь только вспоми-

най, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курево; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке — о том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно — видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватилась за отца, закричала — пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал — добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

— А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

— Куда в сторону? Зачем?

— Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

— Мешать будет, Лиза отрубит.

— Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню,— ухмыляясь, заявил Нестор.

— Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли,— взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить.— Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

— Я над вами куражился? — обиделся Нестор.— А, бабы? Я куражился?

Бабы молчали.

— Слушай ты ее,— вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой,— толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

— А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

— Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать,— важно наставляла Василиса Пре-

мудрая.— Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

— Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.

— Я знаю,— наступала Надька,— это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

— Я за Гаврилу спокойная,— насмешливо ответила Василиса.

— Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

— Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

— Ой, глядите-ка, сравнила! — обрадованно зачастила Надька.— Я сорока — ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

— Нет, Надежда,— хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович.— Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. Сколько — посылок пять, однако, в этом году было? — обернулся он к Василисе.— Или поболе?

Та замялась:

— Я не считала.

— Она их даже не открывала,— съязвила Надька.— Вместо табуреток держит.

— А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

— Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? — спросила она.

— Ни одной не получала.

— Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

— А мне и не надо никаких посылок,— счастливо засмеялась Лиза.— Я сегодня говорю: давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову

забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

— Значит, загибла бы? — натянуто, с подманкой переспросила Надька.

— Загибла бы, загибла.

— А то руки на себя наложила?

— Ага.

— Чего ты приставляешься, Лиза? — вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся.— Это че же — значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине — всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки,— как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается... Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась припеваючи жить — доставлялась. Теперь вся память-то, что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло — нету.

Лиза легко повинилась.

— Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

— Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить — берегись. Не пожалеем — это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

— Не виноватые.

— Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться,

у вас все от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим — понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

— Ему не давали — вот этому.

— Он только пришел.

— Дядя Максим, ему не давали.

Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

— Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

— Ты, что ли, Родион? — глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

— Ну, здорово, что ли,— Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку.— Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? — Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял.— Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

— Смотри, как вырос,— с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

— Они растут,— бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор.— Им и война нипочем.

— Скоро она кончится, война-то? — спросила вдруг Лиза.— Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты нам — долго еще ждать?

— Для тебя она кончилась,— негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

— Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела больше ни до чего нету?

Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видеть, а с народом.

— Скоро, бабы, скоро,— ответил Максим.— Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додавят.

— А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

— Заворотят? — Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось.— Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

— Четыре года — куда больше? — закивала Василиса Премудрая.— И мы тут поизносились.

Надька не пропустила:

— Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

— Ох, Надежда... Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

— И нам досталось,— подхватила Лиза.— Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа — это ладно, это свое. А только хлебушек уберем — уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше — с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что — выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешь, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась — сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась — не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала — я ручьем заливаюсь, реву.— На глаза у Лизы навернулись слезы.— Она пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву.— Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула.— Реву и реву, ниче не могу с собой поделать. Не могу.

— Лиза, Лиза! — останавливая ее, позвал Максим.

— Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду.— Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья.— А облигации? — напомнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться.— Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать — только б рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А ты тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

— Кто из нас, непонятно,— я или ты сегодня мужика дождалася? — спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

— Я, Надька, я. Больше не буду.

— У нас все шиворот-навыворот,— обиженно загудел осоловевший Нестор.— Что за народ! На войну мужиков провожали — пели, а встречаем — как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе первых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми — как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством — ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимание. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей,

колхозный счетовод Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька — все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя — без этого человек не живет, — то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел,— против Надьки, и против Василисы Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину — малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет — с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается — всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испокон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинаньем, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна, совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его вызволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло — раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном — жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только что, минуту назад, все выдумала — и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей — выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой — предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

10

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз — верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме, берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать?

Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать ее было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом — во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти десять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку — на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангару было бы, пожалуй, даже удобней, но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней. Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты — женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе — ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты — того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрей оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковей и теплей, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет — этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают

своих собственных, богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг — видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью — не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно — заглохло, закаменело, и сами они никого также не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя — не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час — до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит — мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились; уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести — тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесть куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, в основном же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе — мощным и длинным гудом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна — март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено,— по этим приметам и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула изо всех сил и быстро запалилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный,— неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него — там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет,— дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащилась в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и взыграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза,— это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее — все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости, она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было бы надеяться, что ее кто-то услышит,— голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров,

остров она пропустила, не заметив,— то был уже материк. Через Ангару, слава богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все то же. В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала — другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение — чем-то еще; она боялась думать, что это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбивало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла она к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко:

— Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери,— она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала — это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все

еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

— Мог бы встретить,— капризно и запальчиво выкрикивала она сквозь слезы.— Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

— Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

— Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно; приятно и домовнто постреливали горящие дрова да еще позванивала в окошке стеклина — единственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

— Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

— Что прибежала-то? — снова вскидываясь, передразнила она.— К тебе прибежала — вот что! Он еще спрашивает! — уже другим, остывшим голосом она ответила: — Ничего не стряслось.

— Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

— Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

— Как крот,— согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: — Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все перепутал.

— Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? — Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином.

— Ушицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

— Только я на улицу больше ни за что не пойду.

— Сиди, я сам.

Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину — хорошего,

килограмма на три, налима и со стуком опустил его на стол.

— Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы,— удивилась Настена.

— Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

— Ну, еще бы не фартовая,— с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот докатилось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно отыскал ее в кустах, там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком — рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам. Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев.

Хорошо сказано — «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть, и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь,

но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: не обязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой.

Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ощупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась к голосу Андрея — его ли? искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала,— пугала и запутывала себя почем зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полок, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завыть.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях — рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещение в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что, приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Уж не бесчувственная ли, не деревянная ли она? Правда, Настена не была до кон-

ца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло — еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

— Андрей, знаешь что?

— Что?

Но она передумала:

— Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно — сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

— Закрывай скорей.

— Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

— Ага, послабже.

Он подошел и присел к ней.

— Все еще не согрелась, что ли?

— Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти пристала.

— Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

— Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи — кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка...— Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

— Отец ни о чем таком не спрашивал?

— Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

— Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

— Придумать-то придумала...— Настена поморщилась.

— И что придумала?

— А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

— Тяжело тебе, Настена?

— Да нет.— Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чи-

стой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой.— Вот за тебя сердце болит.— Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала.— А сама я что? — я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.

— Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

— Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится — наотдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать — что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь.— Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: — Забеременела, кажется, я, Андрей.

— Что?! — у него вышло не «что», а с охом.— Что-ох! — Он не усидел, вскочил.— Ты это правду... правду говоришь?

— Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду.— Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому относится.

— Что ж ты молчала? — неуверенно начал он, и, пока говорил эти первые попавшиеся слова, его проняло, весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром.— Нас-те-на! — негромко и истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за руку.— Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот... Я знаю... теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба... Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал — ты понимаешь? Как чувствовал. А еще, дурак, боялся. Да ради этого...— Он не вскрикивал, он выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно, глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены; обращаясь к Настене, он, казалось, и не видел, не замечал ее — он говорил для себя и убеждал себя.— Это ж все — никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется... Это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний,

погубил родову. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а! Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя! — Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой.

Настена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затем уже с обидой и тревогой: что ж он о себе только? А она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно?

Тревога и обида эти и были в ней недалеко — вот почему они поспели так скоро. Неделю назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее — давно отринутых, оскорбленных, упрятанных и вот теперь освободившихся и оправдавшихся чувств: господи, неужели?! Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни, после стольких напрасных желаний, стараний и молитв, теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздобрилась и понесла? Что случилось? Она собиралась ложиться на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этими «неужели?»,— оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась — голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены. Тело ее, сильное и крепкое, полное не лишней, а своей собственной, здоровой полнотой, светилось теплой, парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, а заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость, и теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке, и достала до нее — достала, отделила от всего остального, тронула, и та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась: есть. Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше?

Действительно, как быть, что делать? Счастье-то сча-

стье — и какое счастье! — но что с него, если взошло оно в самое неподходящее время? Где ж оно, жданное-пережданное, было раньше, почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало с ног на голову. Ей ли не знать, что ни с кем никогда, кроме мужика своего, она не бывала, а деревне известно другое — деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза. Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить, да не выйдет, надо искать живую душу. А зачем ее искать, зачем на кого-то, невинного, взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь.

Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше.

А может, ничего нет, может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли как случается у бабы, раз на раз, ясное дело, не приходится. А она уж в панику ударилась — может, напрасно? Как не было, так и нет. И не будет.

А что лучше — чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать — что, в самом деле, лучше? Остаться в положении или никогда его не дождаться?

Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо — побыть возле человека, с которым она разделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. К кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?

Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела: зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала.

— А я? — приподымаясь на нарах, спросила Настена.— Как же со мной-то быть? Я ж середь людей живу — или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются.

Так близко, совсем рядом, был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью.

— Не знаю,— пожал он плечами.— Плевать нам на все.

— Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

— Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

— Я радая, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет, откроется.

— Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись?— В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать.

— Помню... как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было — только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостоиной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хужей было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я — вот она такая свиристелка, полюбуйтесь на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла — ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! — простонала Настена и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение.— Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет — значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или неживой. Может, твоя мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты не живой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет — и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом — боюсь не справиться, Андрей.

Он молчал, тяжело, неподвижно глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настене стало сначала неловко, а затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время, когда, чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься — ничего не будет. Все от нее зависит. Будет — плохо, и не будет — плохо. Но отказываться от него она не хотела — нет, жутко, неможно казалось ей взять на себя такую тяжесть — отречься от своих же собственных надежд; она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя.

— Я не знаю, Андрей,— обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она.— Не знаю, что делать. Растерялася.

— От судьбы, Настена, никуда не уйдешь,— отозвался наконец он.— Хошь делай заделайся поперек ей, а она на своем поставит.— Он невесело, утверждающе усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил уверенней и злей: — Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь, обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? — Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, навострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловечий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно.— Похоже? — спросил он и сам же себе ответил: — Похоже. Знай, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья — от другого. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежу от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это все для меня, вся

моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

— Да ведь его, может, еще и нет,— слабо возразила Настена.— Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

— На нет и суда нет. А есть — оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай, как знаешь...

— Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?!

— Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая, но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять. Что бы ты делала, если б он раньше, еще до войны, появился?

— Я разве не хочу, Андрей?! Я разве не хочу?! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?

— Ты не отказалась от меня, когда увидела, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить — без тебя я, наверно, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья... какая семья?.. так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря я жил. Что говорить?! У тебя была только одна сторона: люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две: люди и я. Свести их нельзя: надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упрятке, отсижусь до своего часа.

— Перестань, Андрей! Хватит, не надо так.

Запал из него вышел, Андрей опустился на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней и легче, зная, что главное сказано.

— Пересудов людских ты боишься... Что они тебе? Люди — как собаки: кто где не так пошевелился — они

в шум. Полаяли и перестали — и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся — не без этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо пославить. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их — скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уж вместе с людями окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут. Люди... Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей — себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то сладко разве?

— Я не жалуюсь.

— Что жаловаться — так видно.

Они не заметили, как затихла хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружавшие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела.

Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч.

Настена, повернув голову, следила за Андреем. Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось, но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать. Чтоб не получилось, как у той причитающей бабы: ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он занемог... То, что нужно, Андрей сказал, Настена выслушала — и достаточно. Надо потерпеть — на днях все выяснится окончательно.

Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так: чуть растревожится, разбередится — кажется, к самой коже подступают изнутри чувствитель-

ные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем не скоро и нелегко.

Она все еще сторожилась, боялась, как бы он ненароком, забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность.

Он пошевелился, и она замерла.

— Давно уж, с третьегоднишнего лета, помню я про тебя один сон,— неожиданно начал он и помедлил, подождал, пока она поспеет к этому повороту разговора.— Все там осталось на месте — и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали — с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок — там недалеко березки стояли — идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, заморенная, босиком — ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

— Это я и была,— удивленно согласилась Настена.— До тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы как у мальчишки подстриженные?

— И волосы подстриженные.

— Я.

— Но как же? — раз я тебя такой не видывал — как ты мне в точном обличье явилась?

— Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я.

— Да я и толкую, что знал почему-то, что ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало».— «Какие спрашиваю, у тебя ребятишки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

— И ушла?

— Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол, там с ними замучилась... Я ей посуровей отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне — нет у тебя никаких ребятишек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне тоже хочу уснуть. И не успеваю. Глаза закрою и скрозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:

— А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

— Не помню. То же самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

— Мог бы пожалеть, не перечить,— вмиг осевшим, пустым голосом ответила она.

— Зачем?

— Ни за чем. Сколько ведь просила.— Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: — У вас там еще пушки стояли. А в низинке, откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю...

Он приподнялся на локте и уставился на нее:

— Откуда ты знаешь?

— Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Надо же так?! — Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон — такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный — стало быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать: — А меня бабка одна надоумила. Какая бабка? — хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему и скажи о ребятишках. Если признает, согласится — так тому и быть, откажется — останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь: нет и нет. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердишься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая?

— Приходила.

— И что ты мне сказал?

— Не знаю. Не помню.

— Что-то ведь должен был сказать?

— Наверно, должен.

— Ишь как! Самого главного-то и не узнали.— Настена не удержалась, укорила.— Что тебе стоило согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было.

— Не хватало еще верить во всякие сны,— неуверенно возразил он.

— Сон-то, сам видишь, какой. На две стороны. В одну ночь, поди, и приснился обоим. Может, то душа моя к тебе наведывалась. Оттого все так и сходится.— Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться: — И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько.

— Нет, ни разу.

— Забылось, может? Перебило чем похлеще... войной этой. Она все под собой топит.

— Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот, как ты приходила. Два года помню.

— А конец все равно потерял? Как его теперь угадать?

— Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там — хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

— Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал.

— Заговоришь...— Он усмехнулся, закивал себе.— Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает.

— У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось.

Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула.

— А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула,— не то припугнул, не то пожалел Андрей.— Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься.

— Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе.

11

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась — нет, она нагрузла еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась — как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело — достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от него не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно. Да она и не хотела отступать, для Настены это было все равно что отказаться от самой себя, и Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться, для него это теперь все равно что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, она станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом... успеется, споется.

А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из людей — иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую дорожку? Без милости ее, наверно, не оставят и, когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания — даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой она не согласна — тогда уж лучше и не жить.

С малых лет Настена, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него были распахнуты. Так и грезилось: она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касаньем, зовет за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться,

тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротою. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг полной с ним встречи, потому что встреча эта все равно казалась неминуемой. Настена и замуж пошла не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну — ту, которую выбрала сама, но пока еще широкую и просторную, где есть место, чтобы разминуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем — веселой и легкой: так и будни короче, и праздники красивей. Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше; причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать,— на то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настена верила, что и с ней так же будет, и в одном только этом она, пожалуй, не ошиблась. А счастье... счастье, показавшись, помаячив, обнадежив в первое время, отступило затем без ребятишек куда-то вперед — там и предстояло его встретить, но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое у́же прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалась все еще ясно.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь — не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что есть — все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу; поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека — кто ей позволит? Пускай другие как хотят, а она проживет начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дождется своего, а не чужого счастья.

На всех его, говорят, не хватает, кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя — почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего, в таком

случае, ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее же может и не достать? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и близко, рядом, но в сторонке, остальное благодаря ей только и существует, так почему же предназначенное для нее как нарочно должно пройти мимо и попасть к кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное,— да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас — не пригодится.

Война надолго задержала Настенино счастье, но Настена и в войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени, прежде победы и все перепутал, перемешал, сбил со своего порядка — об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье — о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось — ни пути ему, казалось, оттуда, ни надежды.

Дальше — больше.

Неужели впрямь так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше — больше, сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь «больше», то, на чем оно сейчас остановилось,— это ребенок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница? — лишь бы встретиться, не разминуться.

Но что, что ей сейчас от этого счастья?

Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло: зачался ребенок. Ее заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребенок — что еще ей надо?! А он будет, будет, он подвигается, идет.

Теперь она знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся, оттого что порознь, не вместе, ее собственное, законное счастье.

Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше.

Они лежали и говорили о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор: можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься, можно без стеснения помолчать, можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе.

Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры — неживыми, тряпичными, движения — вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то исчужа. И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не настоящими, чужими — настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь, как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог, где хотел, остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил:

— Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

— Как — чего бы хотела? — не поняла она.

— Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и, окромя того, много что от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежонкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крошки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоем иждивении, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых — больше! Ты из-за него теперь людей должна бояться. Я-то боюсь, мне есть за что,— а тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться? Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю — нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь. Не сможешь, Настена, вот попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в сторонке, ты одна обязана колотиться. Правильно ты говорила. А что я могу? Что

я могу, Настена? — подумай сама. Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

— Что надо? Ничего не надо.

— Вот видишь, ничего не надо,— с готовностью подхватил он, словно другого ответа и не ожидал.— Ишь как: мне надо, а тебе — нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной — больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий — я на это и шел, да вдруг, думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь, найдешь хошь маломальское для меня место? — Несмотря на боль, которая била из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно; казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль.— Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости все одно долго не продержишься — тонкая она сильно веревочка, того и гляди лопнет.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испуганно перебила его Настена.— Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Еще, глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть счас тыщу дел для тебя найду.

— Каких, к примеру?

— Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

— Без меня, ясное дело, было бы лучше.

— А что? Конечно, лучше,— согласилась она.— А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать — ой как хорошо, как спокойно! А куда я себя, интересно, дену, если я — вот она? Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? — я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо.— Настена подхватила сорвавшееся дыхание и продолжала: — Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я —

этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была — неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились — зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что считаешь: если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте — вот она я, вот как я отличилася!

— Ты бы уж не поминала такое, не сравнивала...

— А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое — плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что еще. Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда — ты бы одну меня виноватой считал?

— А кого еще?

— Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди сходятся. Я не могла родить — ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя...

— Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

— Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел — значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем.— Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: — Я бы,

может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя.— Настена снова умолкла и снова добавила: — Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь.

Он так ничего и не ответил.

— А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь: мне много не надо. Я с тобой — и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее, по одному только изменившемуся дыханию почувствовал, что она улыбается. До этих пор они лежали неподвижно, с одинаково повернутыми вверх, в потолок, лицами, словно и не обращаясь друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала и до конца говорил с закрытыми глазами — так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настены, он открыл их, встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза.

— Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? — сказал он и в подтверждение себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой.— Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло,— черт его поймет! Но не говорили же — ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть — и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же: руку на тебя поднимал.

— Ты на меня руку не поднимал.

— Не поднимал?

— Нет.

— Не хочешь, значит, зло помнить. Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверно, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а кого другого. Ты не думай: я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться? — не пойму.

— А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж говорила. И ты за меня не решай.

— Ну, еще бы не хорошо...

— Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь,— досадливым и обиженным, простанывающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подостланную в изголовье жакетку.— Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? — Он не ответил, догадавшись, что ей и не нужен ответ.— Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь — там и ладно. Я и тебя-то почти не знала, что это — два или три раза играючи встретились, и так же играючи, чуть ли не в шутку, уговорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? — вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Помнишь? — так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой, ты говоришь: вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло — Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна — это про меня,— заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо.

В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на днях. С рукой — сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке.— Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала: — Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила: откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека,

знаю, а откуда, кто — не найду. А потом: господи, да ведь не дале как вчера познакомились, ты приводил, а у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась — будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел — ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный — тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары — куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно — как под землей, а пахнет деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками — как сейчас помню. Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел проверить — как закричит дурноматом! Я как вскинусь! — Настена засмеялась: негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. Она легко вздохнула.— А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она стороне, да и только. Ты до обеда валялся и про жену свою молодую забыл. Я сходила на Ангару, посмотрела огороды — и тот, и другой. За стол без тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню, пили чай с калачиками — отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили — ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши — все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились — сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился. И Витя опять там был, и Максим Вологжин. Витю убили — знаешь, поди? Знаешь, я писала. А что у Надьки уж без него девчонка родилась — не помню, писала, нет ли. Теперь их у нее трое, мается она, ой, мается. А куда денешься?

Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей,— он был как каменный, не показывая себя даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настена не хотела. Она и не смогла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его, продолжать дальше. То, на чем остановилась

Настена, наплывало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отрадно, сколько там было обещано! И все-таки Настена уняла это воспоминание: достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила:

— А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?

На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы счетоводов. У него было шесть классов, все-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в счетоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте, а свяжись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях да в чужих людях. Это и остановило Андрея, когда пришлось выбирать.

На Новый год он приезжал и прожил дома до рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, бормотали о чем придется, Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово — что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было — Андрея повидать, а на это хоть сколько дней заказывай, все равно мало.

Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в Ангару. Старуха хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате, пожилой уже, угрюмый мужик с корявым оспяным лицом и в очках с разными — одно много темней другого,— похожими на шоры, стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повел Настену ночевать в Дом колхозника.

Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надежку, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что не выдала. Ей возомнилось, что если она не

умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Дома они привыкли, притерпелись друг к другу, а здесь все будет внове, и это вполне может сказаться.

Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети — подзаборные, они только того и ждут, чтоб о них забыли, и тогда-то вот они: привет от папы! А у Настены все было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой: далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой ее выдумки что-нибудь получится, но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверить.

— Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную — тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. И вот она, тетка, что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки — р-раз! Ты заметил. Нет, говоришь, давайте из самовара. Она заспорила: мол, это и так из самовара. Нет, это накапало, ты говоришь, это уж не чай, а ополоски. Никакие не ополоски. Ополоски. Она все ж таки уступила, дала из самовара. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные — съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает.— Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокнула языком и облизнула губы.

— Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе — где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться — сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее: дал денег, чтоб она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. Вот за четушкой, говорит, так и быть, сбегаю, а больше никуда бы с места не стронулась. Бегом-то, ты ей говоришь, не беги, успеешь. Я-то, она говорит, успею, а вот ты, касатик, все-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти.

Настена засмеялась — тепло, притаенно, не вздрагивая телом — будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

— А потом мы с тобой весь день ходили, ходили — где только не побывали,— опустив опять до шепота голос и растягивая слова, продолжала она.— Ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? — на словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было — приехала, и все тут. Нагрянула — куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! — вдруг воскликнула, почти выкрикнула она.— Помнишь? Кино смотрели! Ишь что из памяти чуть было не выскочило. Совсем закоулочная какая-то сделалась память: главное не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать — так даже Василиса Премудрая разговорилась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь: может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься? Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет...

А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то — умора. До того, как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли — она говорит: давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке, а я, говорит, у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе погреемся. Ты дал — отчего не уважить старуху? Она пропала, а вскорости, мы еще подумать не успели, чтоб ложиться, она обратно: магазин, говорит, закрыли, а без магазина к подружке идти незачем. Ты тогда сам побежал, где-то раздобыл — спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришел, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. Ох, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

Но Андрей уже не слышал и не понимал ее. Следя поначалу за воспоминаниями Настены, он испытывал слад-

кую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступавшую к сердцу,— боль оттого, что все это действительно когда-то было, он тоже помнил все это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто отдал ему свою память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она, живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла: с его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга; в одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильней, она, когда хотела, брала верх.

Так случилось и на этот раз. Настена с тихим волнением говорила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях; он хоть и шел вслед за Настеной по проложенной, проторенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился — так и должно было случиться, он словно поджидал его, надеясь скорей отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене.

Оно, воспоминание это, началось ни с чего, с какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперед и которой оказалось достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню — сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне воспоминание всегда являлось неожиданно и властно, держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса четко высвечивая каждую подробность,— множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь: он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда.

...Теплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули, справа батарея уже снялась, слева еще копошились. Особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчете которой воевал Андрей, успели все же снять прицел, свести и замкнуть станины и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, взвыва-

ли один за другим моторы тягачей, две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползли к орудиям.

Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимание. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки и, только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатились вниз,— это было как наваждение. Откуда? — впереди свои! — откуда? На одной и другой батареях послышались крики, заметались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей (он был заряжающий) бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю,— падая, он словно бы и с закрытыми глазами видел, как медленно плывет, прокручиваясь, приподымаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперед и подхватил ящик.

Танков было пять. Но один с левой, первой по номеру батареи успели подбить, он горел. А вторая, где был Андрей, не сделала еще ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал командир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились: две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, причем они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу. Но раздумывать об этом было некогда.

Один только выстрел и успела сделать первая, основная в батарее, гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов.

Потом рядом с ним хрястнуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыркаясь, полетел в сторону.

Откуда-то издалека-издалека звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково и знобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему, в глазах короткими повторяющимися вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса черной, пропоротой незакрепленными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Коротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот,

вскинутый взрывом в воздух чехол ствола — и все это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц.

И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое — в ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал.

— Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?! — испугалась она.

Он чуть было не всхлипнул, но удержался.

— Ничего. Ничего, Настена. Ты здесь, ты со мной.

Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озираться.

— Что ты подумал? — Настена стала руками ласкать его голову, но говорила о своем.— Дурачок ты, больше никто. Выдумал что-то. Это, может, тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда — так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это — без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом все тише, тише — значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя,— делала, как могла, да и все, никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей...

Он обхватил руками голову и, быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаясь сорвать непосильную тяжесть, простонал:

— Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настена?! — И, убрав руки, повернул лицо к Настене.— Не ходи больше ко мне, не ходи — слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу.

Настена растерянно замерла.

— Нет уж,— остановила она.— Ты уйдешь, а я? Что со мной будет — ты подумал? Куда я со своей виной? — на люди ее не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война — посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду — сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А если, правда, ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок — не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить... я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

Не отвечая, он не сразу, но помотал головой.

— И правильно, правильно, не надо.— Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к окну.— Темно-о-темно. Я уж и забыла, что надо идти. Вставай, Андрей, пойдем, ты говорил, что проводишь. Пойдем — все больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал.

В темноте не видно было, как по щекам ее текут слезы.

12

Через три дня после этой встречи, как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Его давно уже подмывало походить возле деревни, но он все удерживался, боясь какой-нибудь случайностью или неосторожностью выдать себя, а теперь, после разговора с Настеной, после того, что он узнал от нее, сдерживаться больше стало невмоготу. Удивительное дело: он теперь и чувствовал себя гораздо уверенней, словно получил вдруг какие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, а чуть промедли, прогоди он, и станет поздно.

На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с нижнего края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы — с присевшими и разномастными (где со ставнями, где без ставен), по-

хожими в эту пору на заплатки, окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами и едва узнавал их. Гуськов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, вглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та — по месту, конечно, та, а по виду не понять. Или это оттого, что еще не рассвело как следует, и воздух был мерклый, мутный, или впрямь так постарела за войну деревня без мужицких рук?

Он долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что он здесь не был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не знать Атамановки, он во многом успел и разняться с ней. Ничего не поделаешь: деревне оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не живать, ему не бывать даже в ней похоронену — значит, нечего понапрасну и томиться, надрывать душу, исходить бесполезной тоской. Порой, натыкаясь взглядом на виднеющийся из-за Ангары край Атамановки, Гуськов как бы лениво и неряшливо, с какой-то даже издевкой к себе принимался вспоминать: что ему там надо было? Что-то когда-то надо было, а что именно — забыл.

Изба, где он родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, приготовившись, напрягшись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: изба в хозяина — хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые просторные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили»! А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго хозяина. А что? — отцу с матерью долго не продержаться, а Настена... Настена едва ли здесь останется, а если и останется, то не одна.

Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, что делается внутри. Правое крайнее окно — в куть, сразу за окном курятник, напротив — русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать. Печь еще не растопили — дыма нет. Но вот-вот поднимутся; мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. Настенино окно— крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне, она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот — эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как, оказывается, задолго, за многие годы наперед готовится человек к тому, что в нем быть: Настена еще до войны без всякой ясной причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот — и вымолила, выласкала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару.

Представив, как Настена лежит сейчас в постели — обмершая, распростертая и теплая, собрав на животе рубашку, с чуть подпухшим и побледневшим за ночь, слегка подрагивающим, словно силящимся что-то вспомнить, лицом и распущенными волосами,— представив себе сейчас Настену в ее последнем утреннем сне, Гуськов замер, и какой-то маленький тоненький пузырек, лопнув, простонал в его горле. Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом,— того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все,— она не сказала, что петух, всполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное»,— повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать: «Слушай ты петухов, верь им побольше, они тут каждую минуту орут».

Утро наконец полностью высвободилось, посветлело, и деревня приподнялась с земли, подступила ближе. Из труб поползли дымы, послышались слабые, еще полусонные, неясные звуки. Поднялась и Настена: окно, что напротив печки, занялось прерывистым алым мерцанием. Мелькнул, открываясь, угол двери, кто-то вышел, но забор мешал видеть — кто: Настена или отец? Настене по-

ра идти к корове, но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм, а может, и это теперь легло на Настену — кто их там знает! А вдруг мать, взбередившись каким-то неспокойным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше? Неужели мать совсем, ну, совсем ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом?

Он стоял, смотрел, припоминал, но все как-то легко, без волнения и боли — или они еще не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда — и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла?

Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища и одногодка, который остался под Москвой. Знакомая изба — тоже вон пустила дымок, в ней теперь Надька с ребятишками. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. А что было особенно перевозить? Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать да деревянный топчан — вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Надьке, она разворчалась — тогда ее вдвоем, как Надька ни верещала, как ни отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились: обещала. Ничего другого Надьке не оставалось — прыгать она боялась, а лестницы не было.

И вспоминалось тоже легко, легко и живо — потому и всплыло поперед всех именно это воспоминание. Но Андрея насторожило, как близко и точно представился ему сейчас Витя: лицо, голос, походка, жесты — все. Словно только что стоял рядом и отошел на одну минутку. «Интересно,— подумал Гуськов,— его нет, а я вижу и слышу его как живого. Кто тут постарался — Витя или моя память? Видит ли кто-нибудь так же хорошо, скажем, меня? Я есть, я должен лучше видеться людям, живой — живым! Нет, тут дело, наверно, в другом,— остановил он себя.— Витя исполнился, дошел до конца, все знают, что

с ним сталось. А что с тобой — никому не известно. Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, у тебя нет пристанища, откуда могут пойти воспоминания, ты и живой для них стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся — тебе и тут ничего не светит».

Он и размышлял спокойно, пропуская мимо сердца то, о чем думал. Нет так нет. Когда он умрет, ему все равно будет, что станут говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в одинаковом положении. Внимание Гуськова по-прежнему было занято своим домом, с которого он старался не спускать глаз. И отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит, затем своей обычной прихрамывающей походкой пошел по улице вправо, пуская не то парок от дыхания, не то дым от курева — издали было не разобрать. «Вот он — мой отец,— с какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей.— Это он». Он глядел в спину отца, в спину, которую тот все еще прямил, отказываясь сгибаться по-стариковски, и чувство растерянности и пустоты все больше и больше охватывало Андрея. На полдороге отец остановился и согнулся, переломился в пояснице, дергаясь головой,— он, видно, кашлял. И опять Андрею почудилось, что он слышит этот кашель, что тяжкие, надсадные звуки достают до него. Направившись, отец захромал дальше и через минуту исчез за углом избы-читальни.

Андрей постоял еще, бессмысленно глядя перед собой в землю, и вдруг сразу, как спохватившись, быстро, чуть не бегом, кинулся в гору, потом, когда деревня скрылась, повернул вправо и все тем же скорым, торопящимся шагом пошел через лес, пока не наткнулся на дорогу. По ней он опять спустился вниз, возле густого молодого ельника, который огибала дорога, оставил ее и двинулся напрямик. И только по выходе из ельника, когда стали открываться постройки, он придержался — перед ним лежал конный двор, верхняя изгородь которого подступала вплотную к лесу. Здесь Андрей должен был увидеть отца ближе.

У них с отцом не существовало каких-то особых отношений — ни плохих, ни хороших, каждый, можно ска-

зать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет — справлен во всем, что требуется от родителя,— и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят; жизнь, считал он, любого обротает и воспитает, сделает из него то, на что он годится. Надо было — одергивал, нет — оставлял в покое. Если Андрей спрашивал что — объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то полезному,— потакал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего доходит сам, крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо; когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ременные вожжи и молча поучил — лишь однажды.

Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто случались неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра — совсем другая. К отцу Андрей в любой момент мог идти смело, а к матери прежде присматривался: какая там нынче погода? Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыноцка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много, жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и работящим народом, особенно женщинами — откуда тут взялась эта порода, никто не знает. Выше и ниже этих деревень говорят нормально, а тут почему-то иначе не могут, словно у них как-то по-своему, по-особому подцеплен язык. Для постороннего уха он, конечно, кажется непонятным, диким, к нему надо привыкнуть. Над матерью в Атамановке до старости подсмеивались, передразнивая, а она злилась и не умела скрыть свою злость, а потому сторонилась людей, старалась оставаться одна. Но матери и кроме того было чем подпалить свое сердце: гражданская война начисто искоренила всю ее родню — отца, мать, трех братьев — всех. Младший брат, когда-то служивший у Колчака, чтобы спастись от партизан, прибежал к сестре в Атамановку, но его достали и здесь. Это было, похоже, самое первое, из-

начальное, смутное и обрывистое воспоминание Андрея, которому тогда исполнилось лет пять,— воспоминание о том, как чужие бородатые люди увели, вытащив из подполья, дядю. Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней отец любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жеребенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром,— отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец-то до колхоза был Несторова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии в финскую войну; потому, может, Нестор и гонял его, как хотел, что считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животин эта — самая чистая, однако сам он ее тоже не ел: не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и забитому, не мог. Он говорил: «Умирать стану, а коня и человека в рот не возьму». Под Сталинградом, спасаясь от голода кониной, Андрей часто вспоминал эти слова и пришел к выводу, что в его положении отцу не доводилось бывать, иначе он поостерегся бы так высказываться. Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня — и тому были рады, да еще лезли за ним под пули.

Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта, рядом с ними с задранной, по-пушечному нацеленной на Ангару бочкой торчала водовозка. Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего

тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело. Двор от сенной трухи и шивяков был грязно-рыжий, мягкий, от него, перебивая придых мороза, уже с раннего утра несло густым, настоявшимся запахом оживающей прели и вони; Андрей втягивал его и, отвыкнув, задыхался, но задыхался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок — сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на развод — уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. Андрей пугнул его — стригунок отскочил, оглянулся на конюшню — здесь ли, и снова перевел глаза на чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе — и посмотрит, покопается и посмотрит.

Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов в памяти состоянии: то не мог понять, почему он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемахнуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти — чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой и законченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире. Откуда? Примерещился, наворожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал?

Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в поводу: отец выводил ее из конюшни. Кобыла была жеребая, на последних днях, бока ее раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея прежде обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы объяснить почему: или давно не видывал жеребых и забыл, как они выглядят, забыл даже, что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече. Отец вывел кобылу и, остановившись, обошел вокруг

нее, решая, наверно, надо ли ее прогуливать, потом снова взял в повод, и они тронулись дальше. Вдоль нижней изгороди они дошли до угла и повернули в гору — туда, где стоял Андрей... Он всполошился, заметался, не зная, оставаться на месте или отступить в глубь ельника, и в конце концов остался, понадеявшись, что ветки прикрывают его хорошо, но на всякий случай присел.

Провожая его на фронт, отец при последнем прощании дрогнул, сорвавшись, спросил кого-то: «А суждено ли нам увидаться-то, суждено ли?» Он представлял себе только два пути: или увидеть им когда-нибудь друг друга, или не увидеть. А то, что один из них может увидеть второго, а второй первого нет, ему и в голову бы не взбрело — слишком простая для этого голова. А так, именно так оно сейчас и происходило. Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичигах. Шел он медленно и устало; усталость замечалась в бессильно опущенных руках, в натужном, пристегивающемся, когда одна нога только подставляется к другой, шаге, в сильно оседающем при хромоте теле — больше всего он сейчас походил на подранка, который, не выдерживая погони, двигается лишь по инерции. Теперь Андрей не сводил с него глаз. Отец приближался, и чем ближе он подходил, тем больше, забывая об осторожности, приподнимался, распрямлялся Андрей и, поднимаясь, словно обмирал, цепенел внутри, плохо видя и соображая. Чуть не дойдя до прясла, отец закашлялся и остановился. Кобыла сзади смотрела на него умными, понимающими глазами. Он кашлял долго, с хриплым надрывом, держась руками за грудь и отворачивая лицо в сторону, потом, успокоившись, поднял голову и посмотрел прямо перед собой на Андрея. Между ними едва было двадцать шагов. Андрей обмер. Задержи отец свой взгляд, он бы, наверное, не выдержал и вышел, но отец опустил глаза и потянул повод. Взгляд, направленный на Андрея, ослепил его, он не запомнил отцова лица, не заметил, как оно изменилось, он видел только, что это оно, отцово лицо с обвисшими седыми усами, и все; уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь, внимание. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соло-

мы. Затем кто-то окликнул отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить.

13

Он выбрался на дорогу и, не прячась и не торопясь, пошел по ней вверх. Куда? — он не представлял, просто двигался подальше от людей, подальше от того, что ему привелось сейчас пережить. Но он и не жалел, что побежал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему навстречу. Кто знает, не потому ли и побежал, не потому ли вообще переходил сегодня Ангару, что надеялся: а вдруг случится, вдруг невзначай сойдется так, как сошлось? Ясное дело, он рисковал, зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась — ей пригодится.

Да что там! — он видел отца, родного отца, когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет дальше жить: один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца, существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним, испрашивая прощения,— обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? — смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не захотел признать и сделал вид, что смотрит в пустоту. Нет, не заметил. Иначе бы спросил. «Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал, куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настена вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь — без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает и, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти».

Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение — пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как взросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило: воздух за ночь не успел

поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже.

Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорей уйти от деревни, но торопиться ему не хотелось, и он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно: Андрея охватило безразличие. Куда, зачем он идет, что здесь ищет? Сидел бы лучше на своей стороне, сидел бы на своей стороне и не рыпался. Там он стал успокаиваться, привыкать к своему положению, а идти сюда с самого начала значило то же, что посыпать раны солью. Но нет, ему это надо, надо — потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой, а она, пуповина эта, как ни скрывал он ее, болталась и мешала. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих полей,— и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать.

Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться и приняться за него с новой силой; он чувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий теперь и идти и думать. Он то и дело возвращался к ней, то замирая опять от удивления, что так близко видел отца, то вздрагивая запоздалым страхом, что отец мог его заметить, но возвращался осторожно, мельком, боясь расшевелить встречу и пережить ее с гораздо большим страданием. Сегодня это ни к чему: он на чужой стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: да, на чужой — здесь надо держать ухо востро, здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее с собой и умо-

тать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова измываться — она все стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные все-таки у немых лица: улыбаются, а глаза холодные, безучастные; губы шевелятся, а все остальное неподвижно и напряженно. Он-то, конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял. Таня и без того обижена, а потому можно обижать ее дальше. «А доведись — зачем бы тебе ее обижать?» — спросил он себя. Затем, что вина требует вины, пропащая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился именно в то, что есть. Так он чувствовал бы себя уверенней.

Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. В эту пору людям там делать нечего: назём туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно. Какие-нибудь неспокойные ноги тоже едва ли забредут: то, что нужно от леса, можно взять рядом с деревней. А если и забредут, ничего страшного — пусть боятся его, а он сегодня бояться не намерен. Близко, чтобы могли узнать, он к себе не подпустит, а издали пусть сколько угодно смотрят и гадают, кто это,— ему наплевать. Он имеет право пройтись тут хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было сеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга — там, в прежние годы. Он здесь не чужой — нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашелся и идет мимо,— поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течением слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он чистый человек.

Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обутки у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас

досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим; их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал. Идти в валенках уже и теперь было трудно, а как он станет передвигаться через три-четыре часа, когда день распалится вовсю, он не представлял. Придется, видно, где-нибудь отсиживаться; на последней елани у ручья стоит зимовье — можно там. Нет, сегодня он, пожалуй, прятаться в зимовье не захочет — надоело, не для того он сюда шел. Тогда уж лучше разуться и шлепать босиком, но шлепать, разнести свой дух везде, куда достанет,— больше, может быть, не доведется.

Подступали воспоминания, которые наносили отовсюду — с полей, с межей, от старой корявой лиственницы, торчащей посреди пашни, от ключика, бьющего из-под ели в узеньком перелеске, даже от неба, своим, как нигде, рисунком возносящегося из-за лесов, но Гуськов, боясь воспоминаний, отказывался, отряхивался от них, и они, начинаясь, обрывались, опадали куда-то вниз. Им только поддайся, потом не отвяжешься. Что ему сейчас от воспоминаний, зачем эта пытка, если ничего изменить нельзя? Жаль, что память этого не понимает. Вот ведь как: на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, и никак ее невозможно поделить. Если б получилось умертвить, начисто забыть то, чем он жил раньше, было бы намного легче,— да не получится: тот, прежний человек все еще существует и будет, подавленный и подневольный, существовать долго — никуда от него не денешься. И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до конца своих дней.

Он поймал себя на мысли, что, соглашаясь с этим, убеждая себя в этом, он наперекор всему продолжает на что-то надеяться: маленькая молчаливая надежда жила в нем в такой тайне, что он и сам не всегда мог распознать ее, но жила, дышала, изредка он слышал ее опасливое, осторожное шевеленье. Но надеяться не на что, не на что совсем — никакое чудо не грянет. Похоже, впервые перед Гуськовым так близко встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок,— казалось, он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от начала и до конца; от холода ее он содрогнулся. Что ее вызвало, он не знал. Не раньше и не позже, именно сейчас, когда он поднялся в родные, прикипевшие к сердцу места,— уж не они ли приговорили? Гуськов покосился во-

круг и, одернув себя, жестко, зло усмехнулся: жди, через минуту прилетит птичка и человечьим языком признается — они. Гуськов бодрился, но что-то в нем подготовлялось, нарастало, что-то непонятное и неприятное, шаг его сделался сбивчивым, хоть он и торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка...— подхватилась неожиданная мысль.— Я сам тут жил как птичка небесная. Что еще надо было? Что?»

После этого его сорвало со всех замков, со всех запоров и запретов и понесло. Остановить, успокоить себя он уже был не в силах.

«Если б не война, если б не она, проклятая,— оправдывался он,— так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы: тридцать лет — полжизни еще не заступило. Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то? — столько народу в мире... Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной,— чем? — Он застонал и стал искать, где присесть, ноги отказывали ему. Впереди валялся возле дороги грязный и мокрый чурбан, на него он и опустился.— Так бы и жил не хуже других,— хватался он за подвернувшуюся мысль,— работал бы, я ж хороший был работник — все знают. Шел бы сейчас тут по какой-нибудь надобности... вот так же и шел, вот так же сел и посидел бы, покурил, а потом управился с делом — и обратно в деревню...— Настолько близкой и вероятной почудилась ему эта возможность, что он, оцепенев и потеряв себя, потянулся искать, не так ли оно и обернулось в действительности, не пора ли ему справить то, зачем он сюда пришел, и возвращаться в деревню. Нет, мир не перевернулся, все осталось на своих местах. Это было не пробуждение от сладкого сна, а одно из многих и многих, происходящих каждый день подтверждений его самого, того, что с ним сталось, но сейчас оно показалось ему особенно горьким и страшным, вся его с трудом налаженная оборона вмиг куда-то пропала, он был беззащитен; противная мягкая слабость охватила его, он не мог даже на себя прикрикнуть и почему-то был доволен этой слабостью, тем, что не в состоянии с ней справиться.— Это все война, все она,— снова принялся он оправдываться и заклинать.— Мало ей убитых, покалеченных, ей еще понадобились такие, как я. Откуда она свалилась? — на всех сразу! — страшная, страшная кара. И меня, меня туда же, в это пекло,— и не на месяц, не на два — на годы. Где было взяться мочи, чтобы выносить ее дальше? Сколько мог,

я дюжил, я ж не сразу, я принес свою пользу. Почему меня надо равнять с другими, с заклятыми, кто с вреда начал и вредом же кончил? Почему нам уготовано одинаковое наказанье? Им даже легче, у них хоть душа не мается, а тут когда она еще свернется, станет бесчувственной... Вот вышел сюда, а она уже готовенькая, уж раскисла — слабая... Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтется? От смерти отступил,— повторил он, обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: — Такая война! — а я утекнул. Это ж уметь надо — черт возьми!»

И, подняв лицо, глядя куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся — вызывающе и громко.

Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же, и так же, поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по-собачьи скулить, он, отмучившись, оправившись от нее, принимался издеваться над собой, взыгрывая каким-то отчаянным, нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глубь.

Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности, оттого, что он ничем не занят, и поднялся, а чурбан, на котором сидел, выкатил на дорогу — кому-то придется убирать. Оглядевшись вокруг, Гуськов двинулся дальше; на душе у него было стыло, муторно, но быстрый шаг и в самом деле не давал подхватиться мысли, она отставала.

Утро полностью разгорелось, потекли ручьи, пока еще безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, лес за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу. Из деревни доносились праздничные, торжествующие крики выпущенных на волю петухов; колюче, занозисто каркала в полете ворона; путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. Гуськову саднило лицо не от ветерка, а от солнца, ветерок же лишь натягивал и опять опускал воздух, принимаясь за него то с одного, то с другого конца. На гумне у зимовья галдели в мякине грязные, лохматые воробьи, два диких голубя, когда Гуськов подходил, снялись с кормежки и со свистом пронеслись мимо.

Гуськов остановился у гумна и стал наблюдать за воробьями — в Андреевском, далеко от людей, их не было. Он спросил себя, сколько лет живет воробей, прикидывая, нет ли в этой голодной суматошной стае птиц, кото-

рые летали здесь еще при нем. Но он не знал воробьиного веку, раньше такие пустяки его не занимали, и от этого к нему опять подступила досада. Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом оторвал приросшую за зиму дверь. В зимовье было холодно и пусто; Гуськов поискал, нельзя ли чем поживиться, и, ничего не найдя, вышел обратно. Его что-то томило, хотелось не то есть, не то спать — он не мог разобрать. Еды он с собой немного взял, но ее следовало приберечь на более поздний час. Почему-то он надеялся, что достанет здесь что-нибудь из съестного, хотя доставать было совершенно негде: не в деревню же идти просить, а помимо деревни в эту пору ничего не растет, не хранится.

Он долго топтался, не зная, за что приняться, затем, как бы пробуя, прикидывая, куда себя пристроить, завернул за зимовье, под солнце с горы, сел там на бревешко и прислонился к стене. Когда-то, после голодного 33-го года, он раздирал эту елань, перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, Гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стерней, но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его: пригревшись, расслабившись под солнцем, Гуськов действительно задремал. Время от времени тяжелые глаза его размыкались; только они одни, не тревожа больше ничего, привычно следили, не появилось ли где постороннее пятно. Все было спокойно.

Гуськов дремал, и ему мерещились короткие и обрывочные, не соединенные в целое, беспорядочные сны. То капитан Лебедев, командир разведроты, отправляя взвод в поиск, почему-то предупреждает его, Гуськова, что, если он перебежит к немцам, его обменяют на генерала и не расстреляют, нет — много чести! — а будут казнить три дня и три ночи — ох, как будут казнить! То на ничейной полосе там же, на Смоленщине, вдруг появляется атамановская мельница, на которую он определен мельником, и в него, не жалея огня, бьют с обеих сторон — лишь из-за него теперь и продолжается война и победит в ней тот, кто его подшибет. Затем он видит себя в новосибирском госпитале, где хирург, усатый медицинский подполковник, зовет его в свой кабинет пить спирт и за спиртом предлагает ему подменить только что скончавшегося важного полковника. И опять он на фронте, уже при гаубице; он теряет ящичек с прицелом, и его отдают под трибунал.

Длинное-длинное узкое поле, залитое ярким светом прожекторов; он идет по этому полю, задыхаясь от жары, а свет все накаляется и накаляется, синеет и пышет огнем.

Он очнулся, но долго еще сидел без движения, угнетенный и уязвленный этими бродячими злыми снами. Ничего от правды в них не было, никто никогда в плохом его не подозревал. Но вот ведь как последний шаг подгнетает под себя всю жизнь: даже сны переменились, даже они, возникающие в нем же, выступают против него. Что спрашивать с остального?

Пригрезившаяся мельница навела Гуськова на мысль сходить к ней. До нее было неблизко, но и день для Гуськова тоже только начинался. На мельнице скорей всего никого сейчас нет, время не помольное. Он снова поднял с мякины воробьев, которых вдруг возненавидел, и стал по краю поля спускаться вниз, затем, когда поле кончилось, круто повернул к речке. Снег в холодном еловом лесу почти и не таял, солнце здесь и на открытых местах было слабей, чем на еланях, на полянах лежали четкие, как вытиснутые, раскрытые тени деревьев. Валенки Гуськова ступали тут уверенней, и он опять приободрился. Он чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет,— когда-то он любил бывать на мельнице. А кто не любил? — это была праздничная, веселая, итожная работа — молоть хлеб. После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подставленные мешки теплая, парная мука.

Гуськова засветили эти воспоминания, он улыбался, душа его, казалось, отогрелась и ублажилась. Но ненадолго: подходя к мельнице, он насторожился, напрягся, выгнул тело вперед и, приостанавливаясь и призывая себя к вниманию, тихонько запрукал губами. Человечьим духом вроде не пахло: и верхняя и нижняя двери были замкнуты, на лестнице, по которой поднимали зерно, лежал снег. Гуськов подождал еще, удерживая себя не торопиться, и от ближних вербных кустов пошагал к двери. Замок на ней, как и раньше, висел для блезиру: Гуськов дернул его — он тут же раскрылся. И правильно сделал — иначе Андрей выдернул бы пробой или выставил раму в окне, но не отступил.

Внутри было холодно и пыльно, на полу оставались от валенок белые следы. Сначала Гуськов заглянул в каморку мельника и нашел там на полке большую эмалированную кружку, две головки чесноку и полпачки соли, на стене висела ножовка. Он затолкал все это в рогожный куль, валявшийся под лавкой, и пошел проводить ревизию всей мельнице. Дважды поднимался он наверх, обшнырил все углы, все закоулки, но ничего полезного больше не отыскал, кроме еще одного мешка да книжки с оборванной коркой. Их он тоже прибрал: пригодятся.

Он вышел на воздух, навесил обратно на дверь замок, осмотрелся, и его вдруг охватило безудержное, лютое желание поджечь мельницу. Долго ли — вон валяется береста, спички есть, постройка давняя, сухая, займется быстро. Он помнил себя, понимал, что нельзя поджигать и что в конце концов он не посмеет поджечь, но дьявольский искус был настолько силен, так хотелось оставить по себе жаркую память, что он, не надеясь больше на свою волю, не доверяя ей, подхватился и заторопился прочь от мельницы, подальше от греха. Лишь возле запруды он на минуту задержался, остановленный сиянием чистого, зеленого стекольного льда, под которым, завораживая и потягивая за собой взгляд, шевелилась вода. Гуськов представил, как на лед, грязня его, стали бы отлетать и с шипением дымить головешки,— что-то в нем с новой силой запросило этого зрелища, и он ушел — опять в гору, в поля.

Весь день он бродил по еланям, то выходя на открытые места, то прячась в лесу; порой ему до страсти, до злого нетерпения хотелось увидеть людей и чтобы его увидели тоже, увидели и встревожились, что он за человек, затем на него без всякой причины накатывали приступы страха, и он подолгу стоял не двигаясь, не смея пошевелиться. Журчали ручьи, на солнцепеке дымилась земля, вязкие, хмельные запахи кружили голову. От них или от чего-то еще Гуськов угорел: у него полностью выпал большой, в два-три часа, кусок дня после обеда; припоминая потом, где он тогда был и что делал, он ничего не мог ответить, из этого беспамятства доносилось только пение петухов из деревни, надсажающее его душу, да звенела вода. Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай, ноги в них чавкали и зудились, а он все шел и шел куда-то, не разбирая дороги, не выбирая, где тверже и суше.

Вечером он не рассчитал время и спустился к деревне

в поздних сумерках. Но предметы, постройки еще выделялись; он отыскал глазами свою баню и не увидел над ней дыма. Гуськов похолодел: весь день он почему-то не сомневался, что увидит его, и даже с уверенностью прикидывал — вот сейчас Настена таскает воду, сейчас она растопила каменку... Неужели сорвалось? Кажется, впервые за свою бродячую жизнь Гуськов взмолился богу: «Господи, не оставь. Сделай, господи, так, чтоб баня уже протопилась,— ты можешь, еще не поздно. Сделай только это одно и поступай со мной как знаешь, я со всем соглашусь». Его неожиданно принялась бить крупная, прохватывающая длинными очередями, нервная дрожь и, потрепав, словно внушив что-то, так же неожиданно оставила; после нее тело пронялось занывающей слабостью. Гуськов присел на подвернувшийся пенек и стал дожидаться ночи.

Взлаивали и умолкали собаки, доносились живые, идущие от людей, звуки, изредка слышались голоса, но все это доплескивалось до Гуськова вялыми, невесть с чего берущимися волнами. Он, как и ранним утром, выстыл опять от чувств, его терзало только одно, самое важное: что с Настеной? Но огни в окнах взволновали все же Гуськова, ему представился самовар на столе, горящий камин, тень от огня на стене, взбитые на кровати подушки, половики под босыми ногами — пахнуло родным духом, от которого сладко и безнадежно заныла душа — заныла, поныла и понимающе свернулась. Гуськов отвернулся от огней и закрыл глаза — в наступающей тьме он походил на корягу.

Потом, когда деревня затихла, он в одно приготовленное, заранее намеченное мгновение решительно поднялся, короткими кивками головы, не тревожа рук, перекрестил себя и зашагал вниз к Ангаре. По льду он дошел до бани, вскарабкался на яр, у прясла задумчиво замер — не столько от осторожности, сколько от важности следующей минуты, и подлез под жердь. Еще у двери он почувствовал, что изнутри тянет теплом.

Он вошел в баню, прикрыл за собой дверь, неторопливо снял с ног тяжелые и мокрые, опостылевшие за день валенки и лишь после этого, приготовившись, зло и победно клохча, засмеялся. Он с трудом удержал себя, чтобы не зашуметь, не закричать, не запеть, всполошив все кругом,— не отпраздновать тем самым вволюшку своей радости.

О Настене он здесь близко как-то и не вспомнил, ему было достаточно того, что баня горячая.

14

Все — началось. И началось, как Настена ни сторожилась, как ни готовилась к этому, неожиданно.

В апреле, едва согнало снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич, потом Настена так же набегами складывала наколотое в поленницу. Но пилилось нынче плохо, Михеич, как никогда, быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей и раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда.

Ружья Михеич с собой не брал, оно тут, в версте от деревни, было ни к чему. Но лесная работа все-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича: он взялся наготавливать патроны, почистил свое ружье и однажды, перед самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил:

— Тебе, дева, не попадалась на глаза Андреева «тулка»? Все перерыл — как скрозь землю провалилась.

Настена, ожидавшая свекра, чтобы идти, застыла с пилой в руках посреди ограды. Она постоянно боялась этого вопроса, давно приготовилась, как на него отвечать, и все же он застиг ее врасплох. Не сейчас бы объясняться со свекром, ох, не сейчас бы — в другой раз: уж больно неподходящее было время.

— Нигде не видала? — переспросил Михеич, готовый отступиться от нее.

— Видала,— с дурацкой, растерянной улыбкой призналась Настена и, чтобы не говорить громко, подступила к Михеичу ближе.— Я ее продала, тятя.— В особенные моменты она называла его, как и Андрей, тятей.

— Продала? Когда продала, кому?

— Давно уж. Все боялась сказать тебе, боялась, что будешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в Карду... Ты тогда обозлился на меня за облигации — и правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь болтанула, а где их столько взять? А он сам: посмотрел, оно ему поглянулось. Пристал: продай да продай. Ну и продала... уговорил.

— Че ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? Ниче не пойму.

— Какой-то мужик в Карде. Я его не знаю, помню, что в военной шинельке был. Катя Хлыстова, невестка Афанасия Хлыстова, однако, знает, она с ним по-свойски разговаривала. А мне неудобно было допытываться, кто такой. Уговорились — и ладно.

— Дак ты его, ружье-то, с собой, че ли, брала?

— С собой. Думаю, ну как обратно в темноте придется ехать... боязно.

— И продала?

— Продала.

Михеич стоял на предамбарнике, где его застала эта новость, со сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом и раскрытым ртом, голова его подалась вперед, к Настене, глаза непонимающе мигали.

— Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь? — все еще не хотел он поверить.

— Правду. Сразу надо было... все откладывала, боялась.

— А ты как думаешь: Андрей придет, он нам спасибо за твою продажу скажет? Или как?

— Придет — наживем, поди. Я ж хотела, как теперь выпутаться, я не для себя.

— Наживем...— повторил Михеич и мелко закивал головой, соглашаясь скорей всего не с Настеной, а с какой-то своей нерадостной мыслью. Он помолчал, доводя до полного, окончательного решения эту мысль, и вспомнил, спросил, чуть поворачивая лицо на сторону, подставляя ухо, чтобы лучше слышать.— Ну и... за сколь продала?

Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории.

— Счас,— пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутые в тряпицу часы, которые отдал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предамбарника и сидел на приступке.— Вот,— протянула ему Настена часы.

Свекор отшатнулся от них и поднялся на ноги.

— Это... че тако? — опешил он, и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось.

— Часы. Это часы,— заторопилась Настена объяснять.— Я его, ружье-то, не на деньги продала, а вот на них. Вроде как поменяла. А часы легче продать, они, тот человек сказывал, особенные, иностранные, их шибко

ценят. Ты погляди, они на трех стрелках.— Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала не в первый раз, и сунула часы в руки Михеичу.— Погляди: большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет. Я таких сроду не видывала. Вот ведь до чего додумались, до какой красоты... и всегда правильно показывают, не врут.— Михеич со страхом, как бомбу, повертел часы в руках, придерживая одну ладонь другой, и тут же вернул обратно.— А в темноте они светятся, вот эти точечки прямо белым огнем горят, все видно,— со слепым отчаянным восторгом добавила Настена и умолкла.

— Ружье — на часы, на игрушку,— приходя в себя, проговорил свекор.— Ну и ну.

— Часы легче продать... Ружья здесь у каждого, а часы... да еще такие часы... Их с руками оторвут — только покажи.

— Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-чего оторвать. Чтоб думала маленько, а не кидалась сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь, кому они нужны?! Солнышко он ходит. «В темноте светятся»,— озлился он, вспомнив, что выставляла Настена козырем для часов, и сплюнул.— А на что он мне, этот свет? — вшей при ем бить?

— Иннокентий Иванович купит,— не сдавалась Настена.— Я знаю, они поглянутся ему, он любит такое — только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за две тыщи рублей выпрашивал,— ввернула она для убедительности.— Да еще как выпрашивал...

— За сколь, за сколь?

— За две тыщи.

— Ну и че не отдала, если такой дурак находился?

— Они, может, побольше стоят.

— Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдешь. Две тыщи рублев... Он, уполномоченный-то твой, в дурачки, поди-ка, с тобой играл, а ты поверила. Ладно,— обрезал он,— пойдем. И так сколь потеряли из-за твоих часов. Порадовала ты меня, хватит. Да убери ты их с глаз моих, убери Христа ради.

Они пошли. Но Настена предчувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и еще вернется к нему — слишком долго им предстояло оставаться вдвоем, а, взбередившись, говорить после этого о чем-то другом далеко не просто. Настена побаивалась, хотя самое

страшное на сегодня, она надеялась, миновало, теперь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недотепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось, одна пропажа — худо ли, хорошо ли, но оправдана, потом, если все продолжится скрытно, станет легче — до того, конечно, интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке — в приплоде. Но до этого пока еще далеко, хотя сомневаться в этом больше не приходилось.

На месте они сразу, не споткнувшись, взялись за сосну, заранее намеченную, чтобы валить. Михеич сделал подруб с той стороны, куда смотрела сосна, напротив него стали пилить. Дерево было не толстое — выбирали полегче, но пила почему-то шла вязко и забирала много силы; Михеич скоро задохнулся и закашлялся. Дожидаясь, пока он успокоится, Настена присела на землю и среди прошлогодней травы вдруг заметила бледный зеленый росточек — он блеснул и погас, но Настена, склонившись, отыскала его снова, а рядом с ним нашла еще и еще. Она сорвала один и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, к какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду, но мысль эта, дразня, так и не далась Настене, ускользнула от нее. Подошел, накашлявшись, Михеич, и Настена показала ему:

— Гляди, новая травка уж полезла. Впервой нынче вижу.

Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настена пожалела, что заговорила: выходило, что она подлизывалась к свекру, пыталась травкой замять свою вину.

День стоял светлый, но неяркий и тихий — какой-то сонный. И это при солнце на небе; солнце, казалось, истончилось, догорая, его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли. Где-то насвистывал бурундук, далеко на горе лаяла собака, скрипело старое дерево, но звуки эти не мешали тишине, снимали с нее тяжесть. Походило на то, что день специально выдался таким незаметным и укромным, чтобы без боязни всходила из темноты трава и набухали на деревьях почки.

Сосна под пилой наконец хрустнула, верхушка ее дернулась, замерла еще в отчаянном усилии удержаться, выстоять и не смогла — пошла, повалилась, раздирая оставшуюся ткань. Михеич с Настеной отскочили в сторону. Комель провернулся на пне, ствол в воздухе крутанулся и ухнул — высоко в воздух подскочила оборванная вет-

ка, сотряслись кусты, за рекой отозвалось эхо. Михеич подобрал у поленницы топор и пошел обрубать сучья, Настена, как всегда, стаскивала их в одну кучу.

Потом, когда, подготовив сосну для распилки, они сели отдыхать, Михеич спросил:

— Ты, Настена, правда, не знаешь, где Андрей?

Вот этого она не ожидала — чего угодно, но только не этого; тут было отчего испугаться.

— Андрей? — вскинулась она, и страх удачно подыграл ее удивлению.— А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?

— Не знаешь, значит?

— Ничего не знаю. То же и знаю, что ты. Откуда мне еще знать? Мы, кажись, в одном доме живем.

Он смотрел на нее пристально и мучительно — не смотрел, а пытал, словно не доверял ее словам и хотел по виду, по тому, как она держится, понять, что ей известно.

— Я подумал, что ты, может, че другое знаешь. Может, че сказать не хочешь. Дак ты это... скажи, Настена. Мне одному скажи. Не скрой.

— А что говорить-то? — опомнившись, она стала отвечать уверенней.— Что я тебе, интересно, скажу? Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты.

— Да я спросил только... А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась.

— Какая не такая? — с осторожным, выведывающим интересом удивилась Настена.

— Вроде как сама не в себе. Может, показалось... Но я ни в жисть не подумал бы, что ты без спросу ружье на какие-то часы станешь менять. В тебе раньше этого не было. Че-то с тобой, дева, деется — окромя ружья видать. Как вроде че-то ты все время боишься... торопишься все время... Может, ты уйти от нас собралась?

— Не-ет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните,— искренне, со своей затаенной искренностью отозвалась она.— Скоро кончится, поди, война — что-то будет.

— Где от он?

— Я не знаю, где он, я сказала.

— Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю.

Они взялись опять за пилу; Настена водила ее вперед и назад, от себя и на себя, и, бросая украдкой взгляды на свекра, пыталась понять, поверил он ей или нет. Уж

одно то, что он заподозрил, будто она знает что-то об Андрее отдельно, не сулило ничего хорошего. Нетрудно было догадаться, что с этого дня он станет следить за ней,— невольно станет следить, если даже сейчас поверил, потому что от подозрения так просто не отделаешься: оно, появившись, существует самостоятельно, и это оно потом забирает власть над человеком, а не человек над ним. Теперь придется вдвое, втрое быть осмотрительней и рассчитывать каждый свой шаг. А что его рассчитывать, что осторожничать, если месяца через два напухнет пузо, от которого не отговоришься, как от ружья,— эти часы затикают громко и безостановочно. Настена не могла представить, что ей готовится, ее воображения на это не хватало; то, что должно было свалиться, не с чем было сравнить, его приходилось покорно ждать, ничего не предпринимая, пока не обнаружится всенародно, что с ней, пока не ткнут в нее пальцем и не спросят,— и тогда уж карабкаться, карабкаться, надеясь только на собственные силы, потому что никто ей не поможет,— только на собственные силы, которыми одной понадобится спасать всех троих. Достанет ли сил, она не знала и не хотела заранее думать об этом, надеясь все же, что она не из слабеньких, и боясь в то же время, что тут, кроме сил и терпения, потребуется что-то еще, чего в ней не окажется. Можно, наверное, вынести любой позор, но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл правды? Не мало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удачными они ни были? Не слишком ли большой принимает он грех? — больше себя самого, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать.

В какой-то подходящий момент ей захотелось открыться свекру, что она беременна, чтобы избавиться заодно и от этого, самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед — один ответ. Смирись он с этим — пусть не сразу, не легко, но смирись в конце концов он с этим, ей было бы намного спокойней, остальное она бы вынесла. Но Настена пожалела Михеича. Она наперед увидела, как он испуганно замер, с какой тяжелой и угрюмой мыслью склонил голову, не решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать,— нет, достаточно с него на сегодня ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора. Не получилось бы так, что, признавшись, она еще больше подтолкнет свекра к его подозрению,

убедив его в том, что сейчас ему, быть может, только мнится. Настена боялась, что Михеич знает ее лучше всех и не поверит ее неуклюжим придумкам. Слишком тогда все сойдется одно к одному и укажет на Андрея — этого она позволить не имела права: любой намек, любая неосторожность были ей запрещены.

Они распилили сосну и собрались уходить: времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз; в одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц; узкий и острый серпик месяца мерцал при бледном солнце со злой напористостью. Настена всякий раз чего-то боялась, когда видела их вместе, и не понимала, почему они, как положено, не могут разойтись. И теперь ей тоже стало не по себе. Она, не жмурясь, в полные глаза смотрела на солнце, и ей казалось, что она чувствует, как до нее достают колючие холодящие лучи месяца.

Перед уходом Михеич присел на чурку, и Настена насторожилась, опасаясь, как бы он снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась; Настена не хотела, чтобы он подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся; Настена вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню.

Убираясь по хозяйству, домашничая, Настена несколько раз за вечер спохватывалась с испуганной оторопью, что тот человек, который пытался сегодня запутать Михеича, но не запутал, а скорей всего только насторожил,— что человек, о котором боязно задуматься, представить, что с ним будет, который, как нарочно, делает глупость за глупостью, чтобы погубить себя, будущее которого обрывалось за ближайшими месяцами, а настоящее разошлось на отдельные, разные, чужие друг другу куски,— что человек этот и есть она сама. Ей становилось страшно, страх был испытующий, тягучий, словно рассчитанный надолго, и игриво послушный: при желании он снимался, будто показывая, что законное его время еще не приспело, затем снова накатывал и снова снимался, оставляя после себя особенно мучительную тревогу. Вот тревога не убывала, с ней Настена справиться не могла. Она видела, что жизнь ее сегодня сделала важный поворот к тому, чему быть; тайна, которой она должна была владеть одна, замерцала, похоже, сегодня перед другими глазами — тут невозможно оставаться спокой-

ной. Настена упрекала в этом себя: значит, не то она выдумала, не так говорила, не сумела как следует спрятать то, что требовало особой заботы, не сумела убедить Михеича, что она все та же открытая, послушная душа...

Не находя себе места, Настена ждала, когда свекор вернется с работы, чтобы посмотреть, как он поведет себя с ней и что скажет, ей необходимо было находиться рядом с ним — даже от худшего, если оно выкажется, ей в таком случае станет легче, понятней, чем от неясных и путаных опасений. Она надеялась, что, будь у Михеича что на уме, он не вытерпит и скажет, а хоть и не скажет, так чем-нибудь выдаст. Он человек не скрытный, не хитрый, любит договаривать до конца.

Но Михеич, она знала, приходил с конного поздно, уж в потемках — поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить себя, чем-то занять, Настена после домашних дел отправилась к Надьке.

У Надьки ужинали, вернее, усаживались за ужин. Перед каждым лежала на столе кучкой поделенная по старшинству картошка: перед младшей, Лидкой, четыре штуки, перед Петькой пять, перед Родькой и матерью — по шесть. И по ломтю хлеба. Настену тоже пригласили за стол, от еды она отказалась, а чаю налила и подсела к Лидке. На Лидку было больно смотреть: она в один миг уплела свой хлеб и, принявшись за картошку, бросала быстрые и жадные взгляды на ломти братьев. Надька прикрикнула на нее, чтобы она не подавилась. Наблюдая за Лидкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли: когда это кончится? Когда выправится нормальная, зависящая от самого человека, а не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то геенны огненной, жизнь? Когда хоть ребятишки станут питаться досыта? Они-то в чем виноваты?

Все с той же бешеной скоростью Лидка умела картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивленно запнулась, держа на весу руки и водя голодными ищущими глазами.

Никто не хотел замечать ее растерянности: для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал только на свою долю.

— Пей чай и ложись,— подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан.

Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра коври-

га, и хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном скаку. Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настена взяла Лидку к себе на колени и прижалась к ее худенькому подрагивающему тельцу, она обиженно, с подначкой, сказала:

— В дети не хочешь взять?

— Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу — ты же не знаешь.

Ответила так и пожалела: что ее вынесло? Потом, когда Надька заметит неладное, она припомнит эти слова, они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное. Да и не заметила ли она уже сейчас, по голосу, по тому, с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, что в ней что-то есть.

— Че ж ты раньше не рожала? — резонно спросила Надька.

— Не хотела.

— Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет,— так, что ли? Хитрые, погляжу я, вы все. Нет чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы.

Настена засмеялась, представив, как Надька, пять лет дожидаясь начала войны и четыре — ее конца, никого к себе не подпускает — ни Витю, ни кого другого. Она сказала об этом Надьке, и та тоже хохотнула.

— Куда мне,— согласилась она.— Это ж какое терпенье надо! Мне волю дай, я бы каждый год их таскала. И еще на второго оставалось бы по три месяца — я удобристая, с первого раза завожусь. У меня всегда все наготове. Не то что у некоторых,— не утерпев, кольнула она Настену.— Мне если б не берегчись, я бы тут цельный ребятник развела — успевай только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? — мне Витя про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо? И вот он ходит, петушится перед имя: захочу — выберу, не захочу — оставлю тосковать. Пускай бы он надо мной покрылил, я бы с него петушиный гонор-то сбила, я бы ему, капиталисту бабьему, показала, где раки зимуют. Что это, правда, за бабы, что их табун надо держать, чтоб ребятишек маленько развести? Я бы им одна нос

утерла.— Надька издевалась над собой, наговаривала на себя, но, издеваясь, и гордилась: она свой бабий долг исполнила, этого у нее не отнимешь. Раньше Настену, наверно, задело бы Надькино хвастовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать.

Лидка, приласкавшись к Настене, уснула; Настене и спящую ее держать доставляло удовольствие, ей чудилось, что плод ее, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда.

Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил Семеновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семеновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки, но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своем. Семеновна мучилась: уперев костыли в подмышки, она почему-то, как стреноженная, выбрасывала их вперед одним махом и, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги,— заступала, хваталась руками за что попало и принималась охать и причитать.

— Ты попеременке, попеременке их двигай,— наставлял Михеич.— Чего такая бестолковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходят, а твои ноги ишо живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, опосля уж торопись.

— Гошподи! — стонала Семеновна.— За што мне такое муценье на штарошти лет? Пожалей хоть ты меня, прешвятая богородица. Втолкуй ты этому штарому дураку, што до могилки я и без его коштылей доеду. Ты хошь в гроб-то их ко мне не клади,— набрасывалась она на Михеича,— не позорь меня там. Ить надо же: дошпел, ш пецки меня шнял: иди. Куды иди? Куды иди?

— Ну, посиди, посиди,— усаживал он ее на топчан.— Отдохни, раз пристала, че ж. Ноги-то болят?

— Как же не болят? Как же не болят? Огнем горячим полыхают. Гошподи... не болят, говорит.

Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход, и хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит и его надо беречь. Он разжег камин. Настена обиделась, ей показалось, что, если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя запалил бы сам свекор, а так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц уж, как прибыл день, не трогали, а он вот вспомнил о нем, сходил за смольем — не в спор ли, молчаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отсветы огня на стены и окна, и в избе стало теплей и живей. Семеновна сидела с недоступным, отстраненным лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги.

— Ну, че, старая, дальше поедем? — окликнул ее Михеич.

— Доконать меня хоцешь? — со слезливым вызовом в голосе спросила она.

— Ага.

— Давай, доканывай. Не жалей.

Со злой, обреченной решимостью она взялась подниматься: сначала снялась с топчана, привстав на согнутые, как сидела, ноги, затем потихоньку стала распрямляться, надавливая на колени руками. Михеич подсунул ей опять под мышки костыли. Настена, готовясь подхватить свекровь, зашла с другой стороны. Но Семеновна на этот раз на удивление скоро разгадала шаг в этой новой для нее ходьбе: опираясь на один костыль, она тычком переносила второй вперед и переваливалась на него. В ее голосе, как у ребенка, впервые овладевшего тем же ремеслом, послышались капризное нетерпение и гордость, когда она потребовала:

— Ну-к отойдите, не держите. Шама.

Она прошла по горнице из угла в угол, долго разворачивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчану и, удовлетворенно приохивая, села. Михеич, наблюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали. Не оборачиваясь к нему, Семеновна устало согласилась:

— Нице, годятша ноги рашхаживать. Их когда рашходишь-то, на их приштупать можно.

— Ну от,— весело сказал Михеич.— А то на двоих одна моя нога — далеко ли мы так с тобой ускачем? То ли дело теперь: три здоровых, две лечить, поди-ка, можно, да одна в запасе.

— Ох, увидал бы меня Андрюшка, как я коштыляю, уж он бы пошмеялша... Ох и правда, кому шмех, кому грех.

— Нам с тобой, старуха, совсем на печку забираться нельзя,— с какой-то особой — теплой, но и требовательной убежденностью, которая показалась Настене не случайной, сказал Михеич.— Хошь и на костылях, а шевелиться надо.

Настена почувствовала в этих словах скрытый, тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. Нет, для свекра он напрасно не прошел, свекор что-то понял, что-то решил,— что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семеновну на костыли. Уж не готовит ли он ее к тому, что скоро придется обходиться без Настены? Но почему? Почему?

— А лето придет, ноги твои, глядишь, ишо отогреются, побегут,— подбадривал он старуху.

А она отзывалась:

— Хорошо бы, ох, хорошо бы напошледок.

— Помнишь, как ты раньше поперед всех взбегала на елань?

— Помню... как не помню... Ты бы уж, Федор, не поминал, не бередил меня.

Настена вздрогнула: давным-давно старики не называли друг друга по именам, и она забыла, что свекра зовут Федором; имя это случайным отзвуком донеслось из далекой и звонкой их молодости. Настена взглянула на стариков — они, занятые воспоминаниями, молчали.

И вдруг невесть с чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно-несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок и захотелось плакать — горько, опустошительно, навзрыд. Но она сдержалась: плакать было нельзя, даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошел в куть, кинулась за ним и торопливым шепотом спросила:

— Тятя, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а?

— За ружье? — Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит.— Да нет, дева, не злюсь. Че уж тут о ружье...

И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.

15

В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному, разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине — коври-

га хлеба, в другой, грубой холстине, предназначенной на портянки,— старые ичиги, внутрь которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки; кроме того, в мешке нашлись темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка самогонки. На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько, но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражнивал мешок, казалось много, богато, но уже через три дня пришлось брать на учет каждую картофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам со мхом, но и эту гадость постановил себе курить до трех, а поздней и до двух закруток в день — утром и вечером.

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью, хотя и нетрудно было понять, что там, под постоянным ветродуем, без изъяна дереву подняться трудно. Да и везде, в любом, даже светлом березовом лесу — самая унылая и неприглядная пора, как известно,— промежуток между снегом и зеленью, когда человеческие чувства обострены до тоски, до голода и не хотят мириться с пустотой, чернотой и затхлостью, каких осенью не бывает.

Сбросив наконец ненавистные валенки и переобувшись в легкие, удобные для ноги ичиги, Гуськов много ходил; это было для него лучшее, самое приятное состояние — идти, двигаться куда ни попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадается по пути. Он таскал с собой ружье, но не стрелял, и стрелять было некого: зверь в апреле — мае бережется как никогда старательно, а глухариных токов поблизости не было, птицы вообще в эти места без полей налетало мало.

Чем ближе подступало лето, чем теплей становилось, тем больше проявлялась в Гуськове страсть искать снег — те остатки зимы, которые еще сохранились в глухих, темных углах. Он находил его, останавливался перед грязными и плоскими, мокрящимися ошметками снега и с неподвижной, тяжелой думью прощался с ним, веря, что

нового снега ему не видывать. Он готовил себя к тому, что идет по последнему кругу и круг этот скоро замкнется: он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето. Глядя на истаивающий снег, Гуськов ощущал в себе непонятную родственную связь с ним: они здесь были в одно время, и снег, лед — это также последнее, что ему суждено проводить, все остальное останется после него. Он наметил для себя и последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования. Этим поворотом станет день, когда вскроется Ангара и когда он переберется в верхнее зимовье. Он уже подготовил его, даже перенес туда кой-какие шмутки, без которых мог обходиться, набросал на нары лапник, чтобы он успел высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен. Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде — именно тогда, в праздник реки и всего, что живет возле нее, он войдет в свое последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, увидит сверху полую воду — то, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. Какой далекой она тогда казалась и как скоро она свершилась! — другой цели он не придумал. Ему чудилось, что до лета целая жизнь впереди — и вот ее утянуло, пронесло, вот оно, лето,— а что дальше? Он достанет Настенин подкладыш — четушку самогонки и, глядя на освободившуюся, бешеную Ангару, свидетельство его исполненного желания, выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду, отчаяние и страх, перемешает, опалит этой мешаниной душу, и доспеет одно-единственное немудреное, светленькое, как окошко, чувство: я есть, что бы там завтра ни случилось, а сегодня я есть. Он наперед знал, что так оно и будет, и, заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придет.

Спал он теперь урывками. Лунные ночи стали беспокоить его, он просыпался в какой-то тягостной беспричинной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь. И чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливей ему было. В своем представлении, что будет на том свете, он видел луну — полную, нескончаемую, без восходов и закатов, неподвижную на низком и плоском, как потолок, небе и почему-то дымящуюся.

Он уходил обычно на берег Ангары, садился в ночную

тень и подолгу смотрел на лед, завидуя и заражаясь его бесполезной настойчивостью. Даже и ночью, когда подмерзало, лед изнурялся: его подтачивала снизу и шевелила вода, опадали и рассыпались на сосульки торосы, с мгновенным, чиркающим свистом пробегали трещины, колыхалась и вздыхала тоненькая короста замерзи на полыньях. Гуськов замирал, как зверь, чутко отзываясь на каждый звук и каждое дыхание. Он научился, подчиняя все остальные одному чувству, проникать туда, куда человеку доступ закрыт: ему чудилось, что он слышит, как поет на льду лунный свет, повторяя медленными кругами длинную и легкую звенящую мелодию. Или, напрягшись, он видел могучую струю Ангары, пронизанную сверху глухим зеленым сиянием льда, видел, наметив какой-нибудь знак в воде, куда он передвинется в следующее мгновение. Он жил в эти ночные часы только чутьем и ни о чем не думал, чутье же вело его перед утром обратно в зимовье и окунало в сон.

Остальной сон он научился добирать днем, устроившись где-нибудь в лесу под солнце. Несколько минут он смотрел в небо, скоро изнемогал от его осиянной беспредельной пустоты и забывался, а потом, очнувшись, продрогший и голодный, недовольно озирался: куда теперь? Этот вопрос стоял перед ним постоянно, чаще всего Гуськов не справлялся с ним и брел куда попало, лишь бы брести.

Он шел и внюхивался, всматривался, озирался, иногда принимаясь скрадывать неизвестно кого, придумывал из какой-то даже и не ребячьей, а просто бессмысленной блажной забавы, будто идет за кем-то по пятам, или, наоборот, уходит от преследования, сторожил свой шаг, огибал открытые места, прятался в ельниках, а потом, наигравшись, сам же над собой и смеялся, и смеялся громко, зло, с придуривающей откровенностью. В такие минуты ему словно бы застило память, он отказывался верить, что был на войне и жил среди людей, а казалось, что всегда так вот один и шатался, не имея ни дела, ни долга, что с самого начала именно такая участь ему и была уготована.

Он постоянно хотел есть, и все кругом представлялось ему, как и он, голодным и жадным; его домогал даже воздух, сосущий и острый,— слишком много приходилось воздуха на одного человека. Гуськов захлебывался, давился им, чувствуя, как чрезмерное, напористое дыхание отнимает у него последние силы.

Накануне мая он собрался в поход вверх по Ангаре, где можно было стрелять. Снарядился как следует: кроме ружья, взял с собой топор и на всякий случай мешок — при ночевке пригодится то и другое. Он прикинул, что одним днем эта вылазка не обойдется, ему захотелось опять побродить где-нибудь возле жилья, поглядеть на людей, а до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдет ли до нее, но пойти подмывало, приспичил какой-то неуемный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся, их собой. А может, и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чем говорят и чем живут, заполнить внутри себя неспокойную требовательную пустоту и повернуть восвояси обратно. Идти к Рыбной, где его могли увидеть и признать, он не решался, лучше всего для этого годилась незнакомая деревня. Мало ли что действительно случится?!

Он вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив Каменного острова, где промышлял зимой коз. Посреди синюшного, источенного солнцем и водой льда, остров торчал сейчас особенно голо и неказисто, но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему, захотелось из-за пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу. Не останься он в той пещере, неизвестно, повезло бы ему или нет. Она манила к себе какой-то особенной, потайной, сродни ему, запретной властью, и манила тоже для тайны, которая могла там открыться или которую там можно укрыть. Гуськов до сих пор верил, что пещера попалась ему на глаза не случайно, что в том, что он наткнулся на нее, была не иначе как воля судьбы. Его вообще в последнее время стали тянуть к себе все укромные места, какие только встречались в лесу, даже самые малые и бесполезные. Так, он вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикидывая, на что они могут пригодиться, спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрывистостью и примеряясь к их глубине; он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую медвежью берлогу; любил ходить по оврагам, неожиданно посреди спокойного шага вдруг вставать за дерево и озираться, забираться в глухой чащобник — он как бы пря-

тал себя по частям, по долям то тут, то там, надеясь сделаться невидимкой. И каменная упрятка на пустынном, заброшенном острове не могла ему не поглянуться, в ней как нельзя более удачно сходилось вместе все то, что он выискивал по крупицам.

Берег напротив острова был широкий, открытый и успел подсохнуть, из земли бледной прозрачненькой зеленью сочилась новая травка. Над Ангарой стоял глухой натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро, совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потартает вниз — во всем вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента: казалось, пройдет Ангара — и сразу, без промедления, грянет лето, как провернувшись, одним махом наберется и засветит, запылает — не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная судьба. Гуськов вдруг тоже ощутил в себе нетерпение: надо было что-то делать, куда-то торопиться, чем-то заняться. Он наспех поел, зачерпнув воды из шевелящейся полыньи, и двинулся дальше.

По дороге он подстрелил кедровку. Заряда на нее было жалко, но Гуськов знал, что к вечеру он промнется не на шутку, а завтра снова шагать, так что следовало подкрепиться получше.

Он не стал подходить близко к деревне, которую еще при солнце увидел на излучине Ангары, а, напротив, повернул от нее в гору и, как ни устал, как ни намаялся, заставил себя уйти подальше. Зверя он давно не боялся, но показывать свой след человеку не хотелось. И утром, придвигаясь к жилью, он сделал прежде большой крюк по горе и обошел деревню с верхней стороны.

И опять он услышал крики петухов и тот невнятный, неразборчивый, звенящий на одном сплошном зыбком голосе гуд, какой висит над каждым поселением. Забавно: даже здесь петухи пели иначе, чем в Атамановке, они здесь действительно пели, а не горланили что есть мочи, как в его родной деревне. Вот что значит другой район. На западе, на фронтовых дорогах, где приходилось слышать петухов, он всякий раз отмечал, что они там слабей, бережливей, сдержанней, а может, хитрей ангарских, но оказывается, что и по Ангаре они голосят по-разному.

Спустившись с горы, Гуськов наткнулся на поскотину, верхняя городьба которой неровно и дыряво виляла

через березник. Городили, похоже, бабы, и городили уже в войну, жерди были протянуты как попало: где с кольями, где просто прибиты или подвязаны к деревьям — и провисли, а поправить руки еще не дошли. Вот посеют хлеба — придется поправлять. Вытянув шею, Гуськов смотрел влево, где в версте или чуть побольше от него маячила крайняя изба, и размышлял, как подобраться к деревне поближе, чтобы видеть, что в ней происходит. Ему и страшно было, и хотелось, не терпелось попытать себя опасностью, хотелось что-нибудь вытворить, напугать и себя и других; в нем начинала разогреваться накопившаяся дурная кровь, взыгрывать неопределенные поперечные желания. Он не понимал, для какой надобности тащился сюда за тридцать верст — не для того же, чтобы постоять вот так возле прясла и повернуть назад. Нет, следовало найти то, ради чего он затеял весь этот поход.

Неподалеку хрустнула ветка, и Гуськов вздрогнул. Только сейчас он увидел на поскотине за черемуховым кустом корову — крупную, пегую, в больших черных пятнах на белом или, наоборот, в белых на черном; он потому и не разглядел ее раньше, что она была под рябь березника, за которым он стоял. Рядом с коровой пасся теленок — маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвертому месяцу. Обрадованно, что отыскалось занятие, Гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле, хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно что пить росу. Теленок, кажется, понимал это лучше матери и знай тыкался в ее вымя, а она не давалась, она переступала и отходила. Он лез снова, тогда она, оборачиваясь, отталкивала его тупым комолым лбом.

Гуськов следил за ними с тем же особенным, пристальным вниманием, с каким месяц назад он следил за стригунком на конном дворе, когда высматривал отца. Теперь это внимание еще больше обострилось и напряглось, и, похоже, не зря: он словно чувствовал, что ему никогда впредь не придется иметь дела с домашним, полезным человеку скотом, и, отлученный от него, он тянулся к нему тем сильней, чем дальше должен был отстоять. По сравнению с другими потерями эта была не самой важной, но почему-то болезненной и непонятной, и что-то в нем не хотело с нею мириться.

Корове, конечно, случайно удалось увести телка со

двора: ни одна хозяйка не отпустит в эту пору сосунка на волю. Как корова ни отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернется без молока. Гуськов, довольный, улыбнулся, ему показалось, что не кто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он, вполне могло выйти, что и теленок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся: долби ее, долби, вытягивай все до последней капли — будет о чем твоей хозяйке вечером поговорить.

Но пора было подвигаться потихоньку к деревне, где Гуськова ждало какое-то пока неизвестное ему дело, ради которого он сюда шел. По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетерпение, оно становилось все неспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не полезет и последних дуростей делать не станет, и надеялся, что, как бы ни повернулось дело, успеет скрыться. Голыми руками его не возьмешь.

Он тронулся осторожно вдоль изгороди, часто останавливаясь и озираясь. Скоро перед ним открылся край деревни, и только он открылся, донеслись звуки гармошки. Гуськов оторопело вспомнил, что сегодня не простой день, что сегодня праздник — Первое мая. Ишь как: справляют, значит. Война не война, а справляют, гуляют, вывесили вон красный флаг, достали сбереженную гармошку, к вечеру пойдут компаниями от избы к избе, запоют, запляшут, распахнутся во всю душеньку — нет, видать, ничем не пришибить народ. И в Атамановке сейчас тоже гуляют. Гуськова охватили не отчаяние и не обида — что теперь обижаться! — а взяло какое-то недоверчивое удивление: празднуют. Как до войны, будто ее и не было. И наплевать им на то, что он бродит поблизости, он тут для них не существует.

Теперь понятно, как удалось теленку вырваться из загородки на свободу. Гуляют. Все мелкие заботы сегодня ничего не значат: у людей праздник. Гуськов оглянулся: корова медленно подвигалась к березнику и была уже недалеко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше и снова оглянулся, всматриваясь в теленка с неожиданно павшей жестокой мыслью. Теленок взбрыкнул задними ногами, будто кто его ужалил или ткнул, отскочил в сторону и скоро успокоился, принявшись лениво помахивать хвостом. Гуськов оглянулся

теперь уже на деревню — дорога к поскотине была пуста — и решительно повернул назад.

Солнце поднялось высоко, в чистом знойном воздухе настоялась звонь, легкая и праздничная, возникающая от солнца и полнящая тишину. Едва деревня скрылась из виду, угасла и гармошка, все звуки слились в одно широкое и просторное, бесконечное русло. Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил перелезать, еще раз прислушался и осмотрелся кругом и торопливо, боясь в то же время опомниться, перемахнул через низкую городьбу. Подобрав по дороге хворостину, он зашел снизу в тыл корове, она, почуяв его, повернула голову и уставилась на человека большими водянистыми глазами, настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору,— она послушно пошла. Теленок — это был бычок с короткими тупыми рожками — жался к матери. Но, выйдя за поскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне — хорошо еще, что в березнике она не могла разбежаться и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился еще больше.

Он направлял их к речке, вдоль которой утром спускался, зная, что там, в глуши, никого сегодня не встретит. Но туда-то как раз корова и не хотела идти и бросалась то вправо, то влево, чтобы оторваться от человека и поворотить назад; бычок, почуяв неладное, не отставал от нее. Корова дышала тяжело, бока ее раздувались, с губ свисала слюна. Гуськов тоже запыхался, ружье за спиной мешало, он снял его и взял в руки. Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до речки все еще было далеко.

Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью; корова затравленно мычала, на ее белых пятнах обозначались потные потеки.

Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову в покое, стал скрадывать бычка. Лучше бы, конечно, делать это подальше от деревни, но другого выхода не было. Бычок, однако, тоже не давался, в последний момент он взбрыкивал и отскакивал. Гуськов прыгал за ним, метя накинуть ременную петлю на телка, и не успевал. Злость у

человека перешла в ярость, он готов был взвести курок, чтобы одним разом покончить с этой затянувшейся дурацкой охотой, и только боязнь выдать себя удерживала его.

Все же ему повезло: бычка удалось наконец загнать в чащобу, и, пока он тыкался между кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею. Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной: он схватил его другой рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. Бычок от обиды и страха заревел. Не давая ему опомниться, человек бегом потянул его к речке. Корова, мыча, побежала следом. Бычок теперь уже жалобно взмыкивал, из перехваченного горла вылетали хриплые, сдавленные звуки, похожие на мяуканье.

Перед речкой Гуськов остановился отдохнуть, он уже не справлялся с дыханием. Он привязал телка к осинке и попробовал отогнать корову, но она не шла, она отбегала и останавливалась, а потом, едва Гуськов отходил, снова лезла к телку, обнюхивала, лизала его и подталкивала головой, будто уговаривая, пока не поздно, отрываться и бежать. Бычок под настойчивой и испуганной лаской матери, пошатываясь, постанывал; он обессилел и надорвался, надорвался памятью, понятьем, чутьем — всем, что в нем было.

Отдышавшись, Гуськов опять подхватил его и потащил дальше. Он решил перебраться через речку, надеясь, что лед задержит корову. Нет, не задержал: не задумываясь ни капли, она кинулась вслед за ними на лед, ноги ее разъехались — неловко, с растянутыми на стороны передними ногами, она упала, долго возилась, поднимаясь, и не смогла — так, на коленях, поползла,— не поползла, а покатилась к другому берегу. Гуськов, не пуская, замахнулся на нее прикладом — отчаянным прыжком она бросилась вперед и вымахнула на берег.

Они были теперь от деревни верстах в трех — не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место посуше, но и поупрятней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала, но только остановился он, остановилась и она. Не было никакой возможности избавиться от нее. Возвращаясь обратно, человек

увидел, что теленок лежит,— он так обиссилел, что не мог стоять на ногах. Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову — быстро и точно, с мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. Совсем озверев, Гуськов пошел на нее, готовый зашибить и корову, но, видя, что она не двигается от него, остановился. Хватит с него на сегодня одного убийства — иначе можно и подавиться.

И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека глаз, заставляя и его, в свою очередь, боязливо следить за ней, и изредка, слабо, со стоном взмыкивала. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса Гуськова стошнило. От отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок, остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьем. Перед тем как уходить, Гуськов в последний раз оглянулся на корову. Пригнув голову, она смотрела на него с прежней пристальной неподвижностью, и в ее глазах он увидел угрозу — какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти.

На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью; вечером, чтобы дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. Среди ночи он проснулся от прерывистого гула, идущего от Ангары: ломало лед. Гуськов не удивился и не обрадовался: то, что лежало в мешке, казалось, надсадило и выпростало все его чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся в нем с этих пор прочно и властно.

А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны Атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался: кончилась война.

16

Кончилась война.

Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом. И деревня взыграла.

Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали — поднялась пальба, какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, за-

голосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись, простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково тыкались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уж месяц, как он сдал свое председательское место Максиму Вологжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашел, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не вылинявшую; Нестор, наскочив, закричал, чтоб сняла, но Агафья и не подумала послушаться, а чтоб без нее не сняли, встала у ворот на страже.

И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился: растаяли в небе облака и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом.

Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елани под горох, двигаясь одним гоном друг за другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив в чем дело, кинулась выпрягать коней. Настена — за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходуном. Отпустив у ворот лошадей, разгоряченная, запыхавшаяся Настена с ходу влетела в избу, всполошив стариков: испуганно приподнялась навстречу ей с лавки Семеновна, круто обернулся от окна Михеич — растревоженные одной радостной вестью, они ждали другую. И Настена тотчас остыла у порога: куда она так бежит, что хочет сказать им?

— Слышим: палят,— стала объяснять она и без того понятное. И натянуто, слепо, словно перебившись чем-то, закончила: — Догадались.

— Гошподи! — взмолилась Семеновна и перекрестилась на образ.— Ужели вправду дождалишь? Теперь, поди-ка, должны шказать, где Андрюшка-то наш?

— Должны, старая, должны,— отозвался Михеич, осторожно глянув на Настену.

— Теперь вшех по домам рашпуштят... по матерям, по женам...

— Сразу всех распускать нельзя.

— Пошто нельзя?

— Пошто... Мало ли что может произойти. Без войска не положено.

— А в той войне вот так вот шпокой не объявляли,— вспомнила, помолчав, Семеновна.— Никто не знал, концилашь, не концилашь... Германца брошили, промежду шобой шхватилишь, да ишо тошней того. Так боле миру, поцитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы. Ни дня, однако што, не было шпокою.

Настена прошла в свою боковушку и переоделась. Душа ее, взлетев и возликовав еще на пашне, продолжала играть, просилась на люди, но что-то удерживало, наговаривало, что это не ее день, не ее победа, что она к победе никакого отношения не имеет. Самый последний человек имеет, а она нет. Не зная, куда приткнуться, Настена прилегла с краю на кровать и привычно ощупала живот, но не приникая к нему чувством, а забывчиво, потерянно — просто руки нашли свое место и затихли. С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым мужским голосом отрывисто запел:

Мы с железным конем
Все поля обойдем —
Соберем, и посеем, и вспашем.

Настена, вскочив, выглянула в окошко: неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой, неизвестный Настене, высокий сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой. Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

— Из Карды... который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет... В кои-то веки...

— Лю-у-ди! — вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки.— Выходи все на де-мон-стра-рацию! Гитлер капут! — Он люто выругался в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел дальше:

Наша поступь твер-р-да,
И вр-рагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

И крик этот, песня, случайная, запоздалая для нынешнего дня, еще больше занозили и натянули Настенино сердце; горячась и болея, страдая, оно обрывисто спохватывалось, кидалось куда-то, что-то искало. Настена вышла в ограду и, высунувшись через заплот, заметила на верхнем краю улицы движение, но, чтобы не узнать, кто ходит, не стала вглядываться и воротилась обратно в избу. Она мельком вспомнила об Андрее, но вспомнила с неожиданной злостью: из-за него, из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настена подумала, что ему, когда он услышит о конце войны, станет потошней,— за себя потошней, и, тотчас опомнясь и отмякнув, но все же с досадливым, злым чувством, пожалела его и вдруг всхотела к нему, чтобы быть им вместе. Им бы сегодня и надо быть вместе: два сапога — пара, от всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь они двое оказались в сторонке. «Ничего не в сторонке,— обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям.— Что я — не работала всю войну, не старалась? Меньше других силушки отдала, чтоб наступил этот день? Счас возьму и пойду. Возьму и пойду»,— подгоняла она себя, оставаясь сама на месте, словно дожидаясь какого-то постороннего решительного толчка, который бы поднял ее и двинул к людям.

И она действительно дождалась его. Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неуемный, гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал:

— Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! На собрание-заседание-отмечание! Михеич! Где ты? Настена!

— Но-но,— оторвался Михеич, неторопливо подходя к окну.— Че так орешь?

— На собрание-заседание-отмечание. По случаю Победы. Срочный приказ. Что есть, чего нету — тащите с собой в избу-читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи. Не жалей. Тарасун, говорю, тащи — понятно?

— Понятно, понятно,— заворчал Михеич.— Тарасун тебе. Боле ниче не надо? Все бы тарасунил.

Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше.

— Ой, дикошарый,— испуганно прицокивая языком, закачала головой Семеновна.— У их, у агаповшких, вше любят трезвонить, но этот шовшем дурной.

— Иди, Настена,— сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы.— И тарасун есть. Иди,— вскидываясь, решительней повторил он.— Я опосля тоже загляну. Седни грешно дома сидеть. А тарасун в подполье, по правую руку за доской — доставай. Пускай празднуют. И ты попразднуй. Иди.

— Ты тарашун отдашь, а Андрюшка придет, це подавать штанешь? — вмешалась Семеновна.

— Андрюшка придет — найдем. Когда ишшо это будет? А сегодняшнего дня боле не будет. Лезь, Настена, доставай.

Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун». Настена знала, где он стоит: по ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль, затычку и под ней нащупала бутыль, которую прятали не от нее, не от Настены, и не от кого-то еще, а просто прятали, чтобы до поры не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настена отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею: все, может, на час, на другой утешит, пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от тоски и беды? Один и один. Недели и месяцы один. А она вот сейчас пойдет на люди. Не заслужила разве? Не может того быть, чтоб не заслужила!

Семеновна все же настояла на своем: из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настена процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, постарушечьи осмотрелась в ту и другую стороны улицы.

Давно улица так не гомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового шума и гама парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдельный особый звук — сладкий, стеклянно-чистый и ликующий, хорошо знакомый Настене, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется,— на крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели.

Подгадали: не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, сорвали,— надсаженная, покалеченная, растрепанная, но, может, действительно мирная. Не верится: отвыкли, обросли страданиями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и благодарствуя, звонят свой хрустальный и нежный благовест, а той вести, поди, и не знают, что кончилась война. А может, и знают, может, нарочно летели-торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались: все, сегодня край страданий.

И с этого момента Настена словно тронулась душой. Ее охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление чем ни попало, теми же ласточками, а пуще всего — желание показать, что она не хуже других и что она ничего не боится.

Перед избой-читальней стоял дом Иннокентия Ивановича, высокий и веселый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики — Иннокентий Иванович с Домной, а вторая, отведенная для приемыша Васьки (своих ребят у них не было), уже две весны, с тех пор как подросшего Ваську забрали на фронт, пустовала. Пустовала, но не теряла жилого вида, протапливалась и знала уход: на подоконнике стояли горшки с цветами, по бокам окон виднелись занавески. Да и нельзя было понять как следует, какую половину избрали теперь старики: люди у них бывали редко, Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть-попить, в чем выйти на люди. Он всегда жил крепко, для такой именно жизни он и был рожден, и другая ему не подошла бы, как высокому, большому человеку не подходит одежонка подростка.

Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах, ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович — помолодевший и нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косоворотки, и в таких же темно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яловые сапоги. Настена обрадовалась Иннокентию Ивановичу как родному и сделала несколько шагов навстречу, улыбаясь и любуясь его бравым видом.

— Иннокентий Иванович, дождались! — крикнула она.

— Дождались,— степенно ответил он и спросил: — Нету известий от твоего?

— Нету,— хохотнув и смело заглядывая ему в глаза, ответила она.— Нету, Иннокентий Иванович. Ни слова, ни полсловечка.

И, подумав, добавила:

— Может, ты знаешь, где он,— скажи?

Иннокентий Иванович отшатнулся.

— Я-то откуда буду знать? — изумился он.— Чудишь ты, бабонька, чего-то.

— Если что — говори, Иннокентий Иванович, не скрой,— подбавила еще она все с тем же подозрительным хохотком.— А я — тебе скажу. Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу.

Во дворе избы-читальни горели огни и в двух больших котлах кипело варево. Оказалось, что Максим Вологжин, новый председатель артели, позволил по случаю Победы заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно: собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много: капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шаньги, яйца, полпирога с черемухой — не жалели ничего, несли последнее. Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком, чтобы было что наливать, если не хватит приношений; второй отряд, постарше, сидел на Ангаре за рыбой. Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того — хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал во всю ивановскую патефон, возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла Надькина Лидка. Надька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Надькины руки.

— Дождались, Надька? — со слезливым, блажным смехом спросила она. Надька, не отвечая, отвела глаза.

Настена нашла Лизу Вологжину и обняла ее.

— Ты че, Настена, ты че,— забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настене красное от огня и спокойное лицо.— Радая?

— Радая.

— Ждешь своего Андрея?

— Жду.

Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею, и он, сконфуженный и довольный, закричал:

— Кто еще? Подходи, пока Лиза добрая.

— Я те дам добрая! — отозвалась Лиза полушутливо-полусердито.— Я только Настене позволила, да и то взаймы, до Андрея, а боле никому.

Настена тыкалась в людей и дрожащим, услужливым шепотом, смутно и виновато улыбаясь или хихикая, как ненормальная, говорила, не то спрашивая, не то напоминая: «Дождались?» — ничего больше она сказать не могла. Но в этот день все было кстати. Она обнимала, и обнимали ее, она показывала слезы, и ей отвечали слезами; она принималась смеяться — ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью, чувства ее, привыкшие к жизни простой, понятной и надорванные, задерганные лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха, а сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные,— чувства ее отказали ей, и она, обычно сдержанная и осторожная в последнее время, знающая отвечать, а не спрашивать, послушно пошла туда, куда ее повело. Впоследствии ей было неловко, что она не догадалась даже помочь бабам и села на готовенькое. Она помнила: почему-то казалось, что этот день — последний, когда она может быть вместе с людьми, завтра она останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной глухой пустоте.

Сели за столы. Максим Вологжин по праву — и как фронтовик, и как председатель — занял первое место. По одну руку от него устроился, конечно, Нестор, по другую — нарочный из Карды, время от времени закрывающий глаза и роняющий голову, но вздергивающий ее снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся.

— Люди! — тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло.— Люди! Я не мастер говорить, сейчас бы нам кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда победили! Не придумали еще таких слов, чтоб сказать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что там творилось. Сердце кипит...— Максим набрал полную грудь воздуха и, вздрагивая, выдохнул его.— Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, все, как один, бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше,

а рук меньше. Что говорить?! Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось то сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали, и не было бы счас этого дня. Великая наша страна, огромадная страна, а без нашей Атамановки не обойтись. И мы там воевали, и вы здесь подмогали. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его. Не было еще такой войны, а стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.

Застолье поднялось и, звякнув стаканами, охнув единым вздохом, в молчании село обратно. Настена потянулась чокаться с Надькой, рядом с которой сидела, но Надька успела выпить раньше всех. Была она в этот раз на удивление молчаливой, в разговоры не ввязывалась и смотрела вокруг себя пристально и как бы непонимающе, что происходит, почему нарушился порядок мучительных, но уже привычных дней. Для ее жизни, как и для любой жизни, нужен был мир, но теперь, когда он наступил, Надька с тревогой думала о том, что теперь и ясней, резче, безжалостней обозначится счастье одних и несчастье других.

Кардинский нарочный, выпив, опять затянул:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

Кто-то ласково осудил его:

— Ой, хороши-ый! Как он домой-то поедет?

— А он это... не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что на ум взбредет...

— Я придумал?! — расслышал нарочный и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слезы.— Я придумал? — спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущенным взглядом.— Вы че это? Вы че это?! — сильней выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал голос.— Кто посмеет, чтоб придумать! Вы думаете, об чем говорите?! Я к вам скакал... чтоб знали. От своего народа ускакал. Ну, спасибо... Да у кого зла хватит, чтоб придумать? Вы че это?!

Его кинулись успокаивать:

— Да нет, нет, не придумал... Не видно, что ли?

— Кто же, правда, на такое решится?

— Да он приехал-то тверезый. Ему, поди-ка, здесь уж на радостях подали.

— Че зря наговаривать на человека... Шутка ли — двадцать верст отмахал.

— Налейте ему, пускай выпьет, пускай простит нас, бессовестных. И верно, бессовестные какие...

И нарочный, выпив, простил, стал рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку.

— А у нас-то все знают, нет? — громко спросил Максим, потому что шум нарастал.

— Все-е — как не все!

— Такую пальбу открыли — тут мертвые и те узнали.

— А дедушка-то? — вдруг вспомнив, вскинулась Лиза.— Дедушка Степан-то? Он со вчерашнего дня на мельнице че-то ладит. Дедушка-то не знает!

— Дак он выстрелы-то, поди-ка, слыхал?

— Че он слыхал! Он совсем глухой.

— Ой, дедушка-то и правда все еще воюет.

— Надо послать за ним — нехорошо.

Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы «исполнить свой долг до последнего человека — до дедушки», но его усадили, уговорили остаться. Выскочил Нестор, конь его, на котором он прыгал весь день, так нерасседланным и стоял на дворе, за ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку:

— Вы только там ему ниче не говорите. Сюда везите.

— Вяжите и везите.

— Не вздумайте вязать. Ишо помрет.

Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз сусла, за которым бегали домой к Иннокентию Ивановичу. Сам он, как все, не понес, выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый знал: Иннокентия Ивановича сусло. Но оно и верно было хорошо — тягучее, обманчиво-сладкое, хмельное. Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка.

— Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся,— крикнул веселый, с красным лицом Максим, поддергивая раненую руку.— Где наша не пропадала! Все будет. Скоро придут мужики...

— Кому приходить-то? — негромко, но внятно, слышно для всех спросила Вера Орлова, вдовая молодайка, оставшаяся с мальчишкой.

— Ну...— замялся Максим,— кто-нибудь придет...

— По моим сведениям,— поднимаясь, доложил Иннокентий Иванович,— должно прийти шесть человек.— Он отыскал за столом Настену.— Это с Андреем Гуськовым, который без вести пропавший.

— Кто да кто еще?

— Да что мы, не знаем кто? Чего спрашивать!

Но Иннокентий Иванович взялся перечислять.

— А моего почему не считаешь? — заговорила вдруг Надька, когда он кончил, заговорила сразу, как сорвавшись, требовательно и зло.— Или считать дальше не умеешь, счетный работник?

— Потому что ты извещение получила,— непросто было сбить с толку Иннокентия Ивановича, он знал, что отвечать.

— Ну и что, что получила? А ты считай. Он придет. Я говорю: он придет,— с вызовом обращаясь ко всем, накалялась Надька.— Вот увидите. Не надейтесь, что не придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай сразу. Не шесть, а семь — так и говори.

— Тогда и мой придет,— глухо, не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова.

— Про твоего не знаю, а мой придет.

Бабы неловко заговорили:

— А что — все бывает... Он в Карде у сватьи Настасьи...

— А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог... Вот и верь.

И в этот момент привезли мельника, дедушку Степана. Нестор ввел его в дверь под ружьем, с завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил. Дедушка споткнулся у порога и без всякого выражения окинул застолье маленькими, в густых дремучих бровях, глазами, не выказав ни удивления и ни страха — ничего, будто то, что увидел, и собирался здесь застать.

Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул:

— Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался на мельнице.

— Дурак ты, Нестор,— опомнилась первой Надька.— И как мы с таким дураком не пропали?

— Дедушка! — в десять голосов ахнули люди.

К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая друг друга:

— Дедушка, война кончилась!

— Дедушка, миленький, где ж ты был?

— А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.

— Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи!

Он вертел большой лохматой головой и бессловесно, спокойно, показывая, что понимает и прощает, неторопливо и мудро кивал. И, глядя на него, близкие к слезам бабы разом заплакали. Только сейчас, когда последний живой человек в Атамановке узнал от них, что случилось, они наконец поверили и сами: кончилась война

17

Все уже спустили лодки на воду, плавали помаленьку, а Михеич, как нарочно, не торопился. Его шитик, даже и не заваренный еще, перевернутый вверх днищем, одиноко валялся на берегу. Настена извелась вся, но подгонять свекра не решалась: нельзя было показывать, что ей зачем-то нужна лодка. Но и терпеть, находиться в бездействии, не зная, как там Андрей, отсиживаться, когда открылась дорожка к мужику, она больше не могла. Ей казалось, что теперь, раз кончилась война, вот-вот должно что-то решиться в его судьбе, а значит, и в ее судьбе тоже,— поэтому надо, не медля, повидать мужика, понять, что настроен он делать, куда кинуться. За эти долгие, как годы, недели, пока они не встречались, Настена не один раз готова была на крылах лететь к нему, чтобы успокоить его и успокоиться самой; ей мерещилось, что сейчас, когда во всю свою красоту раскрывается лето, когда вышла из земли трава и оплывают зеленью леса, а Ангара, выпроставшись ото льда, завораживает, затягивает своим движением и синью, что сейчас, когда человеческая душа, как в никакое другое время, отзывчива и ответна, Андрей может не выдержать и что-нибудь с собой сотворить. И сны ей снились тревожные, неразборчивые, не под разгад: то будто кто-то щекочет ее, кто-то неизвестный, невидимый, и она, заливаясь от смеха и ерзая на бегу, мчится со всех ног в постель, чтобы спрятаться под одеяло; то она разговаривает с коровой Майкой, и корова умно и дельно ей отвечает; то самое себя, маленькую еще, жившую под Иркутском, она, взрослая и замужняя, учит плавать в Ангаре; то что-нибудь еще. Настена просыпалась от этих снов и с бьющимся, прыгающим сердцем подолгу лежала недвижно, боясь пошевелиться и все думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела

любя — эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настена поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да еще надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват — кто говорит, что не виноват! — но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?

Нет, надо скорей повидать Андрея, узнать, что у него на уме.

Живот у Настены раздался, и когда она перед ночью оголяла его, горка была хорошо заметна. Тихонько и нежно поглаживая ее, Настена замирала, потом, чуть отдохнув на этой первой ступени, замирала еще больше, неслышно отнимаясь и возносясь куда-то, в какое-то чудесное самовидное одиночество, где в тишине и пустоте, забыв обо всем на свете, она видела и ощущала каждую свою каплю. И плод, то, что превращалось постепенно в ребенка, она тоже видела; ее чувство, прикасаясь к нему, рисовало ей все — и как он лежит, и с какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из нее материнские соки. Это был, как хотел Андрей, мальчонка, и он немного пугал Настену: если б девочка, была бы надежда, что пойдут еще дети, родные по отцу и матери братья и сестры, а мальчонка мог остаться единственным. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного проникновения в себя, когда она внимала себе словно бы со стороны и, возвращаясь, со слабой понятливостью осознавала, где она есть и что с ней происходит. Она боялась того дня, когда откроется беременность, но, боясь, и хотела, чтоб он скорей наступил — тогда не придется затягиваться, прятать живот, не придется оглядываться, следить, не видит ли кто, что она не одна, что она носит в себе ребенка. Да и ожидание этого дня измучило Настену. При ее полноте не заметят еще, может, с месяц, а потом сразу ахнут. Все чаще

Настене представлялось, что ее с силой затягивает в какую-то узкую горловину и будет затягивать до тех пор, пока можно дышать, а затем, придавленную, задыхающуюся, полуживую, в последний момент куда-то вынесет. Вот заглянуть в эту новую жизнь ей не удавалось, для нее она была так же темна, так же сокрыта, как замогильный покой.

Надо было что-то придумывать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщику деду Матвею. Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком краснoярье. Дед Матвей был родной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знались между собой. Иннокентия Ивановича вот величали, он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выезжал из деревни, и выезжал далеко, посмотрел, что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, по отчеству, язык ни у кого не прикладывался — до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, который дальше Карды из Атамановки не выглядывал. Жил он от колхоза самостоятельно, но в страдные дни всегда приходил колхозникам на помощь, а в особенности любил крючить горох — то, что мужики обычно не любят, и стоять на зароде, когда мечут сено.

Настена пошла к деду Матвею, вспомнив, как он вчера просил у Максима Вологжина напарника на день, чтобы отвезти и поставить на воду, на летнюю службу, бакены.

— Силенки нонче совсем не стало-ка,— объяснял он.— Не справлюся один. А без спросу сманивать кого вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, отробил бы. За мной не пропадет.

Настена пропустила мимо ушей этот разговор, а теперь спохватилась: вот и надо было вызваться к деду Матвею, там, глядишь, что-нибудь придумалось бы. И как она сразу не дотумкала? Не умея плавать, Настена, правда, боялась работы на воде, но как-нибудь один день, наверно, перемогла, перетерпела бы свой страх. Того ли ей сейчас следует бояться?

Она подходила к будке повечеру, когда солнце уже спускалось за Ангару, точно в тот западающий на горизонте прогал, где лежало Андреевское. Полреки было покрыто тенью, светлой еще и легкой, но течение там казалось много сильней и туже, чем на освещенной половине. А на солнце вода ярко, слепя глаза, играла блестками, словно отвлекаясь, кружась и задерживаясь в движении. Часто

и весело, с каким-то своим восторгом плавилась рыба — от самой маленькой, отчаянно выскакивающей в воздух, разогнавшись, подряд по нескольку раз и смыкающей за собой круги в кружевную лестницу, до большой, взрывающей где-то вдали воду изнутри с солидным и довольным чмокающим звуком. Под яром лежал еще лед — колючий, дырявый и грязный, от него, пробив в песке и камнях дорожки, струились ручейки. По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые, с длинными острыми хвостами птички, которых там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь — плишками. Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там — мальки, а здесь — омулявки, как бы в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Омулявки эти, заслышав Настенины шаги, шумно взбурливая воду, бросались вглубь, делали полукруг и снова, пропустив человека и чуть сплавившись по течению, подтягивались к берегу. Со свистом проносились над головой Настены стрижи, остро пахло, забивая дыхание, сыростью; лениво чавкала слабая, изнутри себя берущаяся волна, потому что в воздухе было тихо, сморенно; издали, с верхнего мыса Покосного острова, доносился шум воды. Тень наступала, ее движение видно стало глазом, и, едва зашло солнце, протянул, словно закрывая день, и опять затих ветерок. Теперь уж вся Ангара от берега и до берега побежала быстрей; Настена с детства верила, что в темноте течение сильней, торопливей, чем на свету.

Дед Матвей возился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. На каменишнике стояли приготовленные для сплава, сияющие свежей краской бакены — три красных и два белых. Настена опустилась по вырубленным в земле и обшитым деревом, как лестница, ступенькам вниз и поздоровалась с дедом Матвеем, с особым интересом посматривая на бакены.

— Ну что, дедушка,— сразу спросила она,— кого тебе Максим на помощь дал?

— Дак кого дал...— Дед неторопливо всполоснул в воде руки, отер их о штанины и выбрался из лодки.— Максим, паря, хитрый. Кого, мол, уговоришь, того бери, а я, мол, на эту работу назначать не имею-ка права.— Дед закряхтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами.— Фитиль, паря, где-то-ка посеял,— объяснил он.— Погляди, у тебя глаза острые. А их, широких-то фитилей, боле нету-ка, их нигде не взять. Ить только в руках держал — куды от он запрыгнул?

Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман.

— Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. Один он под островом, тамака вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка белый, напроть релки за деревней, где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. Идти от надо-ка, поманить кого, а то катер не седни-завтра с проверкой придет. Неохота-ка, чтоб хужей всех было.

— А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу,— сказала Настена, оглядываясь опять на бакены и уже со страхом отличая белые, самые трудные.

— Но,— осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене.— Почему-ка не взять, коль не шуткуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?

— Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. А наша по сю пору на суху.

— Дак талины я тебе подсоблю нарезать — эко дело!

— Нет, нет, дедушка,— испугалась Настена.— Я сама. Не торопясь.— И, чтоб он не заметил ее страха, добавила: — Ну, там видно будет...

— Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? — Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях и ресницах, глаза и удовлетворенно засопел.— А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи маленько. Придешь, не омманешь?

— Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше. Только ты не говори Максиму, что я сама напросилась. Скажи, уговорил. А мне неохота завтра опять на эту пахоту, уж надоело — все отдохну немножко.

— А, ну-ну. Это конешное дело. Скажу, как велишь.

И весь день Настена провела на реке. Снарядились чуть свет, по холодной еще свежести и глухой, сонной тишине, в которой слышался только все тот же дальний шум воды на перекате да едва различимый шелест течения. Ангара казалась темной и густой, у берегов стояла мелкая рябь, между нею широкой серединой, маслянисто отсвечивая, протаскивало воду. Поплыли в большой, как карбас, устойчивой лодке, которая требовала, однако, силы и силы, чтобы двигать ее и тащить сзади тяжелый, неуклюжий бакен.

Сначала затянулись на бечеве вверх, потом Настена села за лопашны, а дед Матвей в корме за одноручное весло. Отвернули от берега, и с этих пор Настена старалась на воду не смотреть, уставившись глазами себе под ноги и боясь думать о том, что скоро придется подниматься в лодке в рост и что-то делать, как-то помогать деду Матвею.

С этим, первым, бакеном помаялись порядочно. Перегребая, промахнулись и оказались ниже, чем надо, а все попытки хоть немного подняться против течеиия посреди реки ни к чему не привели. Да и смешно было на это надеяться. Вода тут неслась мощным, туго натянутым гудящим потоком, перехлестывая брызги через борт. Выругав себя за дурость, дед Матвей сдался. Погребли к берегу, теперь уже левому, который был ближе и на который Настена больше всего и стремилась попасть — да не так, не с бакеном, не с дедом. И все же, когда подплыли, до того захотелось придумать что-нибудь и остаться, уговорить деда Матвея приехать за ней под вечер — тогда бы и установили они этот проклятый бакен. Но она знала: нельзя. Отдохнув, потянулись опять вверх, на этот раз зашли с запасом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-держак, так что пришлось поддергивать его, чтобы снесло. Вся работа Настены состояла в том, чтобы грести, держать по команде деда лодку. Установив, как надо, бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.

— Этот-ка самый чижолый,— признался он.— Я и зажигать, и гасить его поперед всех плыву. Ишь какая нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу.

И действительно, второй бакен поставили легче. Настена соглашалась и на третий, время еще было, но дед, отказав, отпустил ее.

— Хватит. Уговор был на два,— весело, и без того довольный сделанным, говорил он.— А об тех у меня заботыка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куды надо, покуль день не ушел. Пособить тебе, нет?

— Я сама, дедушка.

— Ну, как хошь.

Он давал ей легкий, быстрый шитик, но Настена осталась в той же лодке: она к ней за день привыкла и боялась уже меньше. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике было страшновато: вдруг поднимется низовка или еще какая беда — все, пропала. Тише едешь — дальше будешь. Человек в постели, на ходу ли, случайной, поспевшей ли смертью, но должен умирать непременно на

земле, когда под ногами привычная твердь, а в легкие просится воздух. Настене только однажды, еще задолго до войны, пришлось видеть утопленника, и до сих пор при одном воспоминании о нем ее пробирала жуть.

Она высадила деда у будки и, отказавшись чаевничать, сразу взяла через Ангару. Теперь, когда она осталась одна и когда встреча с Андреем, которой она всякими правдами и неправдами добивалась (а какими правдами? — только неправдами!), когда встреча эта после двух почти месяцев розной жизни была наконец близка, Настену охватило раздумчивое, осторожное желание оттянуть ее, оставить все, как есть. Что она сейчас скажет Андрею? Кончилась война, пришел в деревню еще один фронтовик, прежний партизан Лука Смолин, пожилой уже, молчаливый мужик, взятый поначалу в конницу и прослуживший всю войну при конях же — возницей. Михеич три дня назад заставил ее, Настену, написать в розыск, спрашивая о судьбе Андрея, и сам отдал письмо почтальону. Семеновна ходит лучше, уже и без костылей,— тепло, что ли, помогло? — хорошо, конечно, что ходит, но Настена готова была заподозрить в этом какой-то особый, недобрый для себя знак. Что еще? Живот... Это он увидит сам. Да, и недавно осмелилась-таки, продала Иннокентию Ивановичу часы, и, ясное дело, продешевила, а что дал Иннокентий Иванович, внесла за облигации: наступил срок платежа, и деваться было некуда.

А что скажет ей он? Что ему сказать? Посмотрит она на него и поймет все без слов: и каково ему пришлось, пока не виделись, и что держит он на уме. Долго так теперь продолжаться не может, надо что-то решать, куда-то приклоняться. А что, куда?.. Близок, близок суд — людской ли, господень, свой ли? — но близок. Ничего в этом свете даром не дается.

Солнце стояло еще высоко, но на воде было свежо, с севера потягивал ветерок. Настену всегда удивляло, как ветер летом может идти встречь течению,— казалось, что река своим широким и могучим движением должна двигать за собой и воздух.

Она гребла неторопливо, тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: руки гудели, спина в одних и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах приятно звучало шуршание разрываемой глади — мягкое, мелодичное, со звоном крошечных гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой лопашнами воды,

исходил от работы. На средине реки, как на воздусях, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало — избы, лес, небо, пашня на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем — размытость и хлябь. Высоко в небе над Ангарой маленькой точкой парил, что-то высматривая и надумывая, ястреб, и Настена впервые в жизни невесть с чего пожалела эту вредную птицу: тоже не сладко дается ей хлеб. Настене вообще в последнее время казалось, что никого осуждать она не имеет права — ни человека, ни зверя, ни птицу, что всякий живет своей, но не зависящей от него, подневольной жизнью, изменить которую он не в силах.

Она ухватилась за нижний край острова, по другой, закрытой для деревни стороне затолкалась опять вверх и приткнула там лодку к берегу. Теперь осталось переправиться только через протоку — втрое меньше того, что выгребла. Но остановилась она не от усталости. На нее навалилась другая, душевная слабость. Настена чувствовала в себе путаницу, неразбериху, в которой сошлись вместе и радость, оттого что она увидит сейчас Андрея, и страх перед этой встречей, страх заглянуть туда, что покуда сокрыто темью. Надо было привести душу в порядок, настроить на один лад и уж тогда двигаться дальше. Настена сидела, смотрела бессмысленно в воду и улыбалась нарочитой, сделанной и направленной внутрь себя улыбкой, по которой могло бы густо, как масло, потечь успокоение. Но оно не натекало, не наступало, и беспокойство не проходило. Настена сидела уже не с улыбкой, а с гримасой на лице и вспоминала, как она продавала Иннокентию Ивановичу часы. Уж что-что, а это воспоминание утешить ее не могло.

Иннокентий Иванович долго вертел часы в руках, прикладывал их к уху, подносил к глазам, остро, пытливо взглядывая на Настену. Видно было, что часы ему нравятся, но больше желания заполучить их Иннокентия Ивановича терзало желание узнать подноготную часов, выяснить, как, через чьи руки они сюда залетели. Он и к глазам подносил их, чтобы рассмотреть, не осталось ли на них какихнибудь следов — надписи или знака, которые бы что-то указали и прояснили. Но нет, ничего не осталось. Подождав, спрятав свое нетерпение, поманежив еще себя и Настену, он наконец как бы между прочим спросил:

— Откуль они у тебя? Андрей, что ли, послал?

Ответ у Настены был приготовлен, и она, так же играя в прятки с Иннокентием Ивановичем, сказала:

— Какой Андрей... Для него же, для Андрея, покупала

в прошлом годе в Карде. А теперь вот приходится продавать. За облигации нечем рассчитываться. Придет — сам наживет. Уж десять раз покаялась, что взяла.

— За сколь купила-то?

— За две тыщи.

Говорить ему, как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружье, Настена боялась: этому только покажи кончик, он вытащит всю нитку.

— Ну, у меня таких денег нету,— покачал головой Иннокентий Иванович.— Ишь, а все прикидываетесь бедненькими. Две тыщи р-раз! — и достала, отдала, как два рубля. Это кто же в Карде продал их тебе?

— Я толком и сама не знаю. Какой-то военный вроде, в шинелке был. Поглянулись они мне сильно, я и схватилась, кофту, шаль продала̀, насбирала,— врала напропалую Настена и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию Ивановичу.— Счас-то разве стала бы покупать?

— Двух тыщ у меня нету. Я не такой богач, как ты,— примеривался и прикидывался Иннокентий Иванович, все так же пристально наблюдая за Настеной.— Тыщу с грехом пополам, может, наскреб бы, а больше нету.

Она, подумав, вздохнула:

— Ну, тогда хошь за тыщу. Кому я их еще тут продам? А в Карду ехать — день, а то все два терять надо. Счас не до того.

Тысячу Иннокентий Иванович отсчитал, но не поверил он Настене, видела она, что не поверил. Не надо бы к нему ходить, но больше действительно идти было не к кому: в Атамановке только у него водились деньги. А кроме того, что-то тянуло Настену, помимо ее воли тянуло пойти именно к нему. Уж больно он любит нюхать чужие следы, знать о чем ни попало больше и раньше всех — так на, нюхай, сама подаю кусок, который пахнет жареным-пареным. Верти своим длинным носом сколько влезет, скоро еще один кусок поднесу — не боюсь.

А бояться-то следовало: не ангел. Нет, что ни сделаешь, все не так.

18

Настена помнила, что Андрей должен теперь находиться в верхнем зимовье, но не знала, что делать с лодкой: или спускаться и прятать ее в речке, или оставить напротив острова под берегом — с той стороны не увидать, а на этой, если кто появится, все равно не скрыть. Так что лучше и не

прятать. Мало ли для чего потребовалось ей за Ангару! Нарезать вот талины свекру на плетенье, а тальники здесь самые богатые. Михеич же как-то обмолвился, что неплохо бы сплавать на остров за прутьями — правда, на остров, не дальше, но это почти одно и то же. Михеичу она скажет, что нарезала на острове, он удивится, а возразить нечем: и верно, сам подсказал, а она услужила. Да и что ему возражать, если сделала доброе дело — везде ей чудятся недоверие, подгляд, даже там, где их нет.

Но на этот раз подгляд, оказывается, был. Едва Настена, переплыв, вытащила нос лодки на сухое и, вскользь осмотревшись вокруг, стала подниматься на невысокий берег, из кустов, густо нависших над водой справа, вышел человек. Настена не заметила, как он вышел, она услышала лишь шуршание гальки сзади и, испуганно обернувшись, увидела его, склонившегося над лодкой и сильными рывками подвигавшего ее на каменишник. Настена вскрикнула.

— Что ж ты ее так оставляешь? Унесет,— сказал он и, пригибаясь, пошел к ней.

Это был Андрей. Настена кинулась к нему с оборвавшимся от испуга и радости сердцем, вздрагивая крупной дрожью и приохивая, но он не дал себя обнять, а повел скорей за кусты, где их не видно было с Ангары, и там обнял сам, крепко сжав в руках, тяжело дыша и заглядывая в лицо.

— А я знал, что ты сегодня будешь, с утра знал,— щурясь оттого, что так близко видит ее, бормотал он быстрыми выдыхами.— Услышал утром голоса на протоке и узнал тебя. Догадался, что приплывешь. И весь день караулил. Потом вижу: гребешь.

Он прижал ее к себе еще крепче.

— Тише ты, медведь,— оттолкнулась она и выпятила живот.— Раздавишь. Не видишь, что ли?

— Есть? — пьянея уже этой радостью, коротко спросил он.

— Каши, думаешь, наелась?

Он неумело, отвыкнув, с отрывистым гудом засмеялся и осторожно, проверяя упругость живота, ощупал его широкой, разлапистой ладонью. Настене было приятно это прикосновение, она глубоко и ласково вздохнула.

— Ниче еще непонятно,— сказал он.

— Ну уж, непонятно...

Она взяла его ладонь и приставила туда, где начинал бугриться, уже чем-то упираясь, ребенок.

— Понятно?

— Вроде че-то есть.

— Вроде... Сам ты вроде. Еще как есть. Я уж знаю: это парнишка.

— Знаю,— хмыкнул он.— Откуда ты знаешь?

— Спорим на девчонку, что парнишка?

— Роди сперва этого.

— Рожу. Че ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался.— Настену самое же и распотешили эти слова, она рассмеялась.

Но, вглядевшись как следует в Андрея, она остыла, и все ее счастливое возбуждение от неожиданно скорой, раньше назначенного времени встречи с ним стало меркнуть. Лицо его сильно заострилось и высохло, даже сквозь бороду видно было, как обвисли на нем щеки. Глаза застыли и смотрели из глубины с пристальной мукой. Борода казалась уже и не черной, а грязно-пегой, завитки на ней делали ее и того более неряшливой. Голову он держал, подав вперед, словно постоянно всматриваясь или вслушиваясь во что-то перед собой,— так оно скорей всего и было. Волосы на голове он недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неровными лохмами. Глаза, больше всего Настену напугали глаза: так они изменились с последней встречи, настолько зашлись тоской и потеряли всякое выражение, кроме внимания... Андрей заметил, с каким страданием она смотрит на него, и дернулся:

— Не нравлюсь, что ли?

— Андрей...— Настена ткнулась ему лицом в грудь, чтобы не отвечать, и оттуда, от груди, зашептала удушливо то, что считала самым важным: — Андрей, ты не знаешь еще: кончилась война.

— Знаю,— спокойно сказал он.

Настена отшатнулась от него:

— Как знаешь? Кто сказал?

— Слышал ваш салют.

— А-а, стреляли... ага.

— У меня теперь глаза и уши такие стали... дале-о-ко вижу и слышу.— То ли он отводил разговор, то ли действительно решил похвалиться.— Самому себе завидно. Утром вы еще по большой Ангаре греблись, а я уж знал: плывут. И вон откуда, с горы, от зимовья, услыхал. А как на протоку вышли, и тебя определил.

— А я тебе ничего почти и не смогла привезти,— медленно и отчужденно, думая о другом, сказала Настена.—

Так, хлеба маленько да яичек. Боялась, чтоб не заметили.

— Мне и не надо. Теперь проживу, тайга накормит. Мне только сетку надо, Настена. Мошка вот-вот загудит. Заест она меня без сетки.

— Сетку... И правда, как я забыла про сетку?

— Привезешь в другой раз.

— Привезу...

Она стала думать о том, где взять сетку. Его, Андрея, старую из конского волоса, давно истрепали, а лишней в доме не было. Надо где-то найти: мошка хуже лютого зверя, а здесь он, мужик, один, вся мошка кинется на него.

Они все еще стояли, топчась друг возле друга, рядом с молоденькими, одного с ними роста, распускающимися березками. Листочки на них уже распрямились из трубочек, но были маленькие, бледные под солнцем, с глубокими бороздками.

В просветах между березками виднелась Ангара. Деревню скрывал остров; солнце, склоняясь, било туда косым упором. Берег здесь был широкий и красивый — в черемухе, в березе, раскиданными там и сям по луговине, чуть заметно покатый к воде и молчаливый, словно затаившийся или необжитый. В траве хлопотали какие-то маленькие, но безголосые птички с полосатыми, как у бурундуков, спинками и высокими головками. Лишь издали, но с этого же берега, давно и нудно напрашивалась на гадание кукушка. Настену еще на реке подмывало погадать, да побоялась, а теперь бы уж насчитала лет с двести — живи не хочу.

— Ну, в зимовье пойдем, нет? — спросил, оглядываясь почему-то, Андрей.

— Далеко, поди,— замялась Настена.— Лодку брошу... не угнал бы кто.

— Кому здесь...

Настена спустилась к лодке и взяла в носу узелок с едой. Но в зимовье они все же не пошли; подыскивая место, где устроиться, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, как кость, колодиной, на которой и уселись. Настена подала Андрею узелок; Андрей, глядя куда-то вдаль, неторопливо развязал его, но, увидав хлеб, не смог сдержать нетерпения и впился в него зубами. Настена старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, и не голоду его, а тому, что

этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась изо всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настена остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев ее после фронта: к кому бежал? ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть — почище. И тоскливо, безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится.

А кукушка, не меняя голоса, все куковала и куковала, наговаривая — кому столько? — деревьям, реке, камням. Шумела пред островом вода; под низким боковым солнцем блестела в деревьях ранняя паутина. От наливающейся зелени плыл и туманился зеленой же поволокой взгляд, дыхание холодило влажными тягучими запахами. Сверху на полянку оборвалась бабочка и долго не могла вылететь, тычась в плотный кустарник. Но вид на Ангару сквозь ветки оставался, в нем торчала даже корма лодки под берегом, и Настена часто взглядывала туда, боясь не столько за лодку — вообще чего-то боясь, чего-то с неотвратимостью ожидая.

Андрей поел, и, чтобы разговор не ушел в сторону, Настена сразу спросила:

— Кончилась война — что теперь-то с нами будет, а, Андрей?

— Не знаю,— пожал он плечами, и Настене стало не по себе, ей показалось, что он чересчур спокойно сказал «не знаю», что он и не хочет ничего знать.

— А кто за нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей.

— Что ты хочешь, чтоб я делал?

— Почему же я хочу... Не я... Но... ничего не делать, или как? Ты скажи.

Он обернулся к ней и, помолчав еще, подобрав первые слова, твердо ответил:

— Что делать? Тебе — рожать, вот что делать. Умри, но роди, в этом вся наша жизнь. Делай, что хошь, но знай, что тебе надо родить. К этому и готовься.— Он начал твердо, даже жестко, но голос его сорвался; голос его вообще, Настена заметила, часто ломался, то становясь некстати суровым, то тут же рядом жалобным, чуть не пла-

чущим — или от постоянного молчания, от одиночества, или от чего-то еще. Андрей откашлялся и продолжал: — А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришел.— Он наклонился к Настене, вплотную приблизив лицо и пуще обычного прищурив, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шепотом: — А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно.— Он выпрямился и качнул рукой вниз.— Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уж по воде. Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.

— А я и счас не знаю, для кого прибежала,— призналась она.

— На все плюнь, обо всем забудь — рожай. Ребенок — все наше спасенье. Ты тоже в этом деле моем немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь — будет легче. Ребенок спасет тебя ото зла. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребенком? Нету такой вины, Настена. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час ждал, чтоб сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придется ходить по раскаленным углям... вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь — прибегай. Прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя — всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею...

Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.

— Андрей! Андрей! — испугалась Настена.

Он невидяще глянул на нее и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости, надолго умолк. Настена тоже не знала, что говорить. Какой-то словно чужой,

издевательской мыслью она вдруг вспомнила, что ей нечем резать прутья, за которыми приплыла: не взяла с собой ни ножа, ни топора. Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит все же не один человек — несколько: вот и тянут его в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, еще говорит, что чужая душа — потемки, будто хоть немножко знает свою.

Земля под Настеной стала холодить, и Настена приподнялась, села на колодину. Андрей подвинулся к ней ближе, но не обнял, как она насторожилась, а закачался маятно вперед-назад. Солнце уже ушло с полянки, отодвинулось к реке. В корме лодки прыгала, дергая хвостиком, плишка — взлетела, скрылась и тут же появилась опять, быстрыми поклонами заглядывая в воду. На востоке, где всходить солнцу, появились белые легкие полосы туч, и Настена затревожилась, не сменилась бы погода.

— Может, схожу на Лену,— неожиданно сказал Андрей.

— На Лену? — удивилась Настена.— Зачем?

— У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов.— Он поперхнулся, словно в горле сдавило что, и повторил: — Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит — все вместе. Он холостой еще был... хороший бы мужик вышел. Добрый, простой. И умелый — все мог. Последнюю рубаху с себя скинет, а там — последнюю пайку отдаст. На щеке шрам, да так к месту — вроде ямочка. В драке вилами в малолетстве проткнули. И вот мы с ним уговорились: кого убьет, другой чтоб приехал и рассказал. Он с Лены, а я с Ангары — земляки, далеко ехать не надо. Он чудной маленько был. А как, говорю, обоих убьет? Обоих, говорит, не убьет, для этого надо, чтоб Ангара и Лена в одну воду сошлись.— Андрей коротко хмыкнул и длинно, протяжно вздохнул.— Я ему свою грамоту показал: мол, они и так сходятся в одну воду — там, в море. А море, отвечает,— это смерть. Они живут, пока по своему руслу текут, а море — смерть. После смерти и мы сойдемся. Приходим мы под утро с «поиска», а мне говорят: Колю убитого принесли. Может, схожу, расскажу,— не прерываясь, продолжал он.— Я знаю, помню, где похоронен, сам хоронил. Уговор надо бы выполнить...

— Как же ты пойдешь? — осторожно спросила Настена.

— Прикинусь, что издалека. Деревушка у него махонькая. Посижу, поговорю и обратно. Как хоронили, не плакал, там это не заведено. А недавно вспомнил, и слезы потекли. Я ж не бесчувственный, Настена. А лучше бы бесчувственный — легче. Думаешь, думаешь до одури, а мысли все колючие... Жалят, жалят... Думаю: если пойти, сдаться — получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил — прими. Чем на себя руки поднимать — пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже.— Настена замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой.— Нет, не пойду. Не за себя боюсь — мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зароют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня,— съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты — на ребенка слава упадет, век ему маяться с ней. Нет, не пойду. Ты говоришь: что делать? Я, что ли, не пытаю себя: что делать? Погодим — должно разъяснеть. Может, правда, на Лену схожу. А может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от тебя отрываться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю: что счас Настена — поднялась или нет? Днем брожу и думаю: где счас Настена? Какими словами она меня поминает? И говорю: терпи, Настена, терпи. И молчи. Не дай бог тебе кому сказать. Ты уж и не жена мне — с женой дома живут, ты для меня весь белый свет, все на тебе сошлось-съехалось. Не разомкнуть.

— Не говори так, Андрей, зачем ты? — она прижалась к нему, и неловкой, тревожной радостью, как у человека, который, заблудившись, не знает, какая на небе заря — вечерняя или утренняя,— занялось сердце.

— Я намолчался, мне охота поговорить. Помнишь, на ильин день косили мы с тобой за речкой, в кочках? Показалось, на своем покосе мало, пошли туда. Жарко, пауты донимают, размахнуться литовкой нельзя, ровного места нету. А хужей всего — не знаем, надо косить, не надо. Вроде праздник. Люди гулять не гуляют, но и не работают. И гром, как водится в ильин день, вот-вот рявкнет. Помнишь?

— Помню, как не помню? Это в последнее лето перед войной было. Ты в то лето со счетоводов ушел, Иннокентий Иванович на твое место заступил.

— Ага. Ходим и злимся друг на дружку. А из-за чего,

из-за какой холеры злимся, и сами не знаем. Погляжу на тебя и думаю: что бы такое сказать, чтоб заплакала, а я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. А что бы, кажется, догадаться: давай бросим, ну ее к лешему, работу эту, и пойдем в деревню. Нет, затаились, пыхтим и молчим. И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не из чего, тучки-то на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того чисто, как стеклышко. Мы с тобой остановились и друг на дружку посмотрели. Помнишь? И так хорошо, так радостно стало, что дождик, что мы с тобой одни и что не успели поругаться. И будто другие люди тут до нас были, а мы только что встретились. И не у одного, у обоих сразу такая перемена. Что вот, что было? Неужто из-за дождика все, из-за того, что работать не надо?

— Потом пошли на горох...

— На горох пошли поздней. Бросили литовки и друг к дружке. И дождик-то какой-то не мокрый был, летит и на лету тает. Вроде как дымный или святой какой. Может, правда, это он нас заворожил. А на горох ты позвала, я тогда куда хошь бы пошел за тобой. Вот ведь что вспомнилось...

— А это мы сидим счас, Андрей? Или те, другие, которые косили?

Он, склонив голову набок, задумался дальней, тяжелой мыслью.

— Не знаю. Не те и не другие, наверно, а третьи. Была война... все было. Нет,— встрепенулся вдруг он.— Это мы, мы, Настена. Счас это мы. Иначе я бы не вспомнил. Это мы. Это не пропало совсем. Не одно плохое у нас было, было и хорошее — правда же, было?

— Зачем же помнить плохое?

— Все надо помнить, Настена. Все надо помнить, но плохое, как срамное место, без нужды показывать не надо.

— А помнишь?..

И она, завороженная и вознесенная воспоминаниями, близко и чудесно коснувшимися сердца, не замечала уже ничего: и что он оборван, запущен, не чист — это был ее Андрей, родной человек, с которым она знала жизнь единственную и радостную. Столько, оказывается, в ней было счастья! И очнулась Настена, когда солнце перед заходом полосой поднималось на той стороне в леса, воздух погустел, потемнела и остыла зелень. Перед глазами Настены подрагивала непонятно откуда взявшаяся лиственничная

ветка, на которой из корявых и некрасивых, как бородавки, почек выбивались аккуратные хвойные метелки. Рядом, устало посапывая, сидел Андрей. Очнулась она и испугалась:

— Господи, да ведь мне нельзя без прутьев домой показываться! У тебя хоть ножик с собой?

— С собой.

— Пойдем скорей.

Она пропустила мимо ушей и только после догадалась, почему он спросил, провожая ее:

— Скажи, Настена, как я появился здесь, никого из деревни не убило? Не было похоронок?

— Как ты появился?

— Ага.

— Кажется, нет. Нет, не было. Последний был Володя Сомов. Осенью еще.

— Ну-ну.

Он искал себе вину поменьше. И она задумалась: зачем, для чего? Для себя только или он прикидывал что-то другое?

19

Через несколько дней Настена приплыла снова, на этот раз в своем шитике, который Михеич наконец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле сорвалась. Хотела покопаться в своем огороде, где только и сделали, что натаскали гряду под огурцы, но дождь и того не дал, напрасно лишь вымокла и расстроилась. И чтоб день не пропал совсем впустую, решила: поплыву, отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала, отвезу еще бутылочку дегтя от той же мошки, свалю с души одну печаль. Она обрадовалась, что Михеича нет и не надо с ним объясняться, а Семеновне сказала, будто сходит порыбачить,— Семеновна все хныкала, что «вот люди ловят, а они с нонешней Ангары хвоштика омулявошного не видели». Настена так и сказала «сходит», чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет в лодке — то и другое означало «сходить». Семеновна не успела ответить, не успела ни задержать, ни дать позволенья, а Настена уже выскочила и быстрым шагом направилась к Ангаре. Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревянные колышки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того чтобы за-

ходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз по течению. Через пять минут, когда деревню не видно стало за зыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперек реки.

Дождь глухо, с сытым ворчанием шумел, входя в воду; река казалась серо-стальной и тусклой. Остров казался размытым и приподнятым, будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо, а лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Настена вспомнила, что в марте, в лютую и мокрую метель, она бежала по льду где-то здесь же: время идет, а у нее ничего не меняется, и зимой и летом приходится искать непогоду, чтобы попасть все туда же, все для того же. Настена была в прорезиненном плаще, наброшенном поверх кофты, но он давно вытерся и не спасал от дождя, по спине неприятно, теплыми струйками, набираясь и нагреваясь, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно; Настена то и дело поводила спиной, отдирая ее и морщась, и сбивалась с греби.

Она переплыла Ангару и, отыскав речку, загнала шитик в нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под нависшую низко над речкой раскидистую березу, чтобы и не видно было постороннему глазу и поменьше нападало сверху дождя. Один перемет она взяла с собой, второй оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натруженно: убежала, добралась, и добралась будто в одно мгновенье. Но она потому и прихватила перемет, что помнила: придется возвращаться. Все у них теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперед, а у них — нет. Попробуй Андрей возвернуться туда, откуда он скосил свою жизнь! Попробуй она воротиться к той Настене, какой была полгода назад! А как тяжело будет ей плыть сегодня обратно: та же Ангара покажется впятеро шире, те же весла тяжелей, та же вода — страшней и глубже. Взять бы и не возвращаться, остаться здесь, на положенном ей месте, с положенным человеком, чтоб не прикидываться, не лукавить, не врать, а жить свободно тем, что она есть.

Она спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размотала перемет. Этой снастью только теперь и рыбачить, через неделю-две, когда высветлится и войдет в свою норму вода, она не годится. В прошлом году после льда Настена несколько раз ставила

под своим берегом — и добывала: приносила и ельцов и хариусов. Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой рыбалки он отошел. А ей, Настене, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного самого заморенного ельчика. Главное, было б что сказать, чем прикрыться, а поверят, не поверят — наплевать. Так или иначе все идет к концу. В черном земляном яру с торчащими прутьями корней Настена, обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязанный камень перемет в воду. Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись. Уходя, Настена подумала, что, если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла, действительно рыбачила, а не занималась чем другим. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может закрасться.

Дождь все нудил и нудил; Настене чудилось, что она слышит протяжное, надсадное поскрипыванье, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья, над Ангарой висела глухая, как осенью, туманная морось. В небе появилось чуть заметное движение — или оно тоже чудилось, наплывало перед глазами, которые не любят пустоты? Настена не бывала в верхнем зимовье и шла наугад — шла сначала по-над берегом по старой запущенной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она должна сразу найти прежние работные места, но полян по склону светлело много, и не понять было, вечные ли это поляны или одичавшие поля; она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь все выше и выше, а постройка все не находилась. Взгляд по дождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнулась на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени драньевую крышу зимовья. И опять Настена, как когда-то, постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал ее голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завел ее внутрь и помог скинуть мокрую одежду. Но разговор на этот раз пошел у них иначе, чем накануне, когда Настена приплыла впервые и они встретились на берегу.

Виновата в этом была Настена. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно все и есть, как он го-

ворит, что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там,— молчать, стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние и мучительной жутью пронзалось сердце: да что же они делают? Что они делают, на что надеются? Правда — она сквозь камни прорастет, посреди Ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой силой ее не скрыть. Не лучше ли Андрею все же выйти и повиниться? Веруют же: об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных. Люди тоже должны понимать, что тот, кто упал до такого греха, впредь для греха не годится. И, увидев опять перед собой провисшее и некрасиво заросшее, как замшелое, лицо Андрея, его провалившиеся глаза, острые и измученные страданием, его полусогнутую настороженную фигуру в грязной одежде; попав после дождя в сырое темное зимовье с горьким запахом спертого, задушенного воздуха,— увидев и ощутив все это, Настена с новой болью содрогнулась.

— Не топишь ты здесь, что ли? — спросила она, не сумев сдержать раздражения.

— Печки нетути,— осторожно, почувствовав ее настроение, ответил он.

В нахлынувшей горькой тоске, от которой стало пусто, ветрено во всем теле и застучало в голове, Настена простонала:

— Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так, выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу — куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась... и без того задохнулись в смертях...

Она, торопясь, говорила и видела, как отодвигается от нее лицо Андрея, как, удивленно замерев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал:

— Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.

— Андрей! — испугалась она.

— Избавишься, Настена, избавишься,— клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он.— И то: устала — сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать. Избавишься, Настена, да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь? — Он еще тошней того усмехнулся и набрал голос: — Да ты же знаешь, что

тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют. А меня поставят. Тебя он хошь из-за пуза пожалеют. И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь как ладно.

— Перестань, Андрей, счас же перестань. Как тебе не совестно говорить такое?

— Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро, не долго ждать. Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да хошь завтра, если на то пошло, хошь счас — Ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. По льду еще на мельницу заходил, прибрал там веревочку. Надежная — пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну, а ты доглядишь, чтоб не всплыл. Тебе же все равно через Ангару надо — ну и меня по пути подбросишь, я тебе полдороги погребу.

Прижав к груди руки, словно защищаясь, и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настена взмолилась:

— За что ты так меня, за что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше... я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло. А ты что говоришь? Зачем ты так?

— Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу, в первый же день сказал: нет. И ты меня не повернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет! — кричал он, уже не сдерживаясь и набрасываясь на нее с такой злобой, что она оцепенела.— Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить, всю ночь, поди, не спала, все думала. Додумалась — лучше некуда! И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо, а то ты надсадилась таскать. Хватит. Хватит с тебя, отдохни. Больше сюда не показывайся, все равно ты меня не увидишь. И правда: на шею сел бабе — тяжело! Но запомни еще раз: скажешь кому, что я тут был,— достану. Мертвый приду и стребую. Запомни, Настена.

В надежде остановить, унять его, она шагнула к нему — он искривился в быстрой брезгливой гримасе и втянул голову в плечи.

— Погляди на меня, Андрей,— попросила она со слабой настойчивостью.— Погляди. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?

— Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть: мол, напраслину возвел? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?

— Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперек тебя пойти? Что ты, Андрей, что ты! Не надо так, ну, не надо... Ты посмотри хорошенько, посмотри на меня, такая я или нет? Неужто ты не видишь?

И, не отнимая глаз от него, прикусив губу, чтоб не расплакаться, она затряслась от рвущихся, через силу сдерживаемых рыданий.

— Себе, значит, не верь, а ей верь... Славно,— буркнул он, растерянно отворачиваясь и злясь на все, на все кругом слепой, безысходной злостью.

Они надолго замолчали, Настена поднялась уходить, а он не сдвинулся с места, как стоял, так и остался стоять — не проводил.

Она вытерпела не много: только три дня. И при первой же возможности, никому ничего не объясняя, столкнула лодку и поплыла — больше находиться в неизвестности, здесь ли он, живой ли, она не могла. И когда ночью уж, в темноте, Настена постучала в окошко и он вышел, она кинулась ему на шею сама не своя от радости, не помня ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой. Лаская ее и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что нагородил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья, — от всего этого Настена еще сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:

— Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь — так и знай.

20

А дальше все покатилось как под горку, и под горку крутую.

В субботу Настена истопила баню, закрыла ее и, зная, что Семеновна не любит первого жара, пошла поперед всех. Но едва она намылила голову (Лиза Вологжина где-то разжилась и дала полкуска черного мыла), кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настена различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху На-

стена кинулась всполаскивать голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха — сроду вместе не мылись! Как нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут. А может, действительно нарочно, может, действительно знала: присмотрелась заранее, скараулила и решила проверить. Если так, сейчас будет потеха. Настена забралась подальше в угол и, загородившись шайкой, попробовала втянуть живот внутрь — а куда его втянешь, если он выкатился, куда его денешь, если он здесь? Как ни старайся, видно же, видно.

Но на этот раз, на удивление, обошлось. Семеновна или не заметила ничего, или, заметив, не поверила, перевела то, что баба раздобрела, на другую причину. И все же дважды или трижды, пока мылись, Настена ловила на себе ее упрямый, зыркающий взгляд и тогда подбиралась вся, поджималась так, что от натуги сводило скулы. После, когда оделась и вышла, пожалела: чего скрывалась? Самый удобный и верный был момент, чтобы, наоборот, показаться во всю свою красоту, а спросит — сказать, что есть. Даже лучше, если бы свекровь услышала это от нее, от Настены, а не от чужих людей. Наверно, не хватила бы кипятком, а что раскричалась, распалилась бы — пусть, зато Настена наконец освободилась бы от этого беспрестанного ожидания, от этого страха, который чем дальше, тем страшней и невыносимей.

Но баня для Настены все-таки даром не прошла. Семеновна с тех пор стала приглядываться к ней со своим особым, на один глаз, целящим прищуром, который, Настена знала, ничего хорошего ей не сулил. Значит, старуха что-то почуяла, не иначе. Началась самая настоящая охота: свекровь на дню по двадцать раз вставала в стойку, уже и не пряча, куда, в какое место она наводит глаза, а Настена, скрываясь, или прошмыгивала бочком, или ходила, загораживаясь руками, запахиваясь в просторный Андреев пиджак, или сгибалась, выносила вперед грудь. А живот, тот в последнее время поднимался как на опаре, и никакими хитростями утаить его было уже невозможно.

И как-то под вечер, когда Настена и Семеновна были одни, суетясь и домашничая каждая за своим делом,— Настена больше по двору, Семеновна по избе,— свек-

ровь, будто впервые наткнувшись на Настенин живот, спросила прямо:

— Ты, девка, не брюхата ли? Што так расперло-то?

Сердце у Настены оборвалось: вот оно, вот. Вот он, порог пред ее крестным путем. Перешагивай, Настена. Отказываться, скрываться дальше некуда. И тем же словом, повернув его другой, твердой стороной, Настена ответила:

— Брюхатая.

— Эва-а-а! — удивленно и даже как бы обрадованно, что подозрения ее оказались не пустыми, протянула Семеновна и вдруг подскочила на своих больных ногах, сдавленно, зайдясь от бешенства, вскрикнула, и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только трясла головой.

— Шуцка! — выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла, что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась.— Шуцка! Ой-е-е-е-ей! — заголосила она, хватаясь за голову.— Штыд, штыд како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, покарай на меште. Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла, шуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж готовая... Штыд-то твой где был? Где он у тебя был, куды ты его дела? Да штоб у тебя там червяки завелишь! Штоб тебе вовек не опроштатьша! От бы хорошо было, от бы хорошо! — Семеновна и сама испугалась своих проклятий и, остановившись, поперхнувшись, с последней надеждой спросила: — Ты, может, врешь? Может, нету нице?

— Есть,— с каменным бессилием, зная только, что иначе отвечать нельзя, сказала Настена и невольно качнула вперед животом.

— Ешть,— простонала Семеновна.— Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом — нет. Не кошка ли ты? Не кошка ли ты, пакоштливая, блудливая? — нашла она новое слово и как на кошку же крикнула, указывая рукой на дверь: — Брышь! Брышь из дому, блудня! Штоб духу твоего тут поганого не было. Уметайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка придет — це мы ему шкажем? Кого держали? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают — гошподи! Я тебя, девка, ш первого дни разглядела, я шразу поцуяла, какая ты ешть. Побежала, принешла! Уметайша, не жди, покель я ухватом тебя не помела. Штоб тобой тут боле не пахло.

Настена в чем была, в том и вышла. На крыльце она подобрала ведро, в котором выносила теленку пойло и впопыхах забыла на ступеньке, и поставила его на лавку. Из

избы продолжали греметь и шипеть проклятия; Настена постояла еще, как бы не понимая, не веря, что они относятся к ней и что ее действительно изгнали из дому, потом нерешительно, все еще медля чего-то и ожидая, открыла калитку. Неподалеку на полянке ребятишки играли в бабки, среди них был и Родька. Настена спросила у него, дома ли мать, и он ответил, что, наверно, дома. Больше идти было некуда — Настена пошла к Надьке.

Она не обижалась на Семеновну — что тут, в самом деле, обижаться? Этого и следовало ждать. Но до самого последнего момента Настена надеялась, что, раз она ни в чем не виновата, правда каким-то образом должна сказаться и уберечь ее от такой расправы. И не справедливости она искала — сейчас невозможно понять, что справедливо и что нет, она и сама давно заплутала в этих двух соснах, но хоть маломальского сочувствия от свекрови, ее молчаливой и вещей догадки, что ребенок, против которого она ополчилась, ей не чужой. Неужели своя кровь ничего ей не шепнула, не плеснула в сердце пытливым толчком? На что тогда рассчитывать от людей? Вот он, нарыв, который долго нарывал, тянул из нее терпение и силы, наконец лопнул, а приложить к ране нечего. Много ли помогут одни свои наговоры, бедное утешение в том, что надо все перетерпеть ради чего-то, что наступит после? А что там хорошего наступит? Нет, нечего ждать, нечего.

Сердце у Настены как упало, так и не поднялось, слабо стучало откуда-то снизу. Или она уже обходилась сердцем, которым жил внутри ее ребенок? До себя ей не было никакого дела, лишь бы спасти его, ребенка, не дать ему тронуться страданием, которое выпало ей, в целости-сохранности донести до того дня, когда придет пора выходить ему в мир. Может, люди, увидев его, когда будет на что смотреть, проймутся жалостью и не изгонят от себя, как изгнали сейчас из родного дома ее. Родной уж стал, восемь лет оттрубила. Не обидно, что так вышло,— нет, не обидно, а стыдно; и не за себя стыдно, она свою дорожку знает, смирилась с ней, а потому, что это произошло, что дошло оно до того, что надобно проситься ей в люди, чтобы было где переночевать. И уехать нельзя, двойной путой связана по рукам, по ногам, и ехать некуда. Одна, совсем одна.

Она пришла к Надьке и тяжело привалилась к дверному косяку, не смея, пока не договорится, пройти вперед. Кто знает, может, Надька откажет; каждого человека теперь надо узнавать заново: стоит только сдвинуться с того

места, где стоял и к которому привыкли, как меняется все к тебе, люди готовы называть тебя другим именем. Надька, возясь у растопленной печки, спросила:

— Че, ухайдакалась?

— Пустишь меня пожить маленько? — сразу, не в силах тянуть и готовиться к разговору, начала Настена.

— Кого — тебя?

— Меня.

Надька, собиравшаяся отмахнуться, вгляделась в нее внимательней:

— Че такое стряслось?

— Выгнали.

— Тебя выгнали?

Настена показала на живот:

— Видишь?

— Пи-пи-пи-и,— не своим голосом запела Надька и ахнула: — Заправду, че ли? Ты откуль его взяла? Погоди-ка, погоди-ка,— Надька подскочила к Настене и усадила ее на топчан, а сама, склонившись, встала напротив.— Это че на белом свете деется? И верно, видать. А никто ниче... Ты откуль его взяла? Ну, утворила-а! Вот это пикулька-свистулька! Засвистит, засвистит! Нич-че себе! Кто это тебя?

— Святой дух,— чего только Настена не отдала бы, чтобы ее ни о чем не спрашивали, не тормошили, не тыркали, чтобы ее оставили в покое. Тошно.

— Святой-то святой,— подступала Надька.— Интересно же знать. Конечно, если секрет, то не надо. Ни одного мужика вроде не было. Нет, ты давай сразу рассказывай. Чтоб без околичностей. Я, может, сама этого святого захочу проверить?

— Не догонишь, Надька,— понимая, что больше объяснять никому ничего не понадобится, достаточно одной Надьки, Настена решилась. Противно, но делать нечего, что-то говорить надо. Не первый и теперь уж, наверно, не последний грех на душу.— Помнишь, уполномоченный приезжал? — спросила она.— Который на облигации подписывал?

— Ну?

— Вот и ну! — озлилась Настена.— Запрягли, поехали и... привезла. Долго ли умеючи?

— Недолго, недолго, я знаю,— торопливо согласилась Надька.— Долго потом расхлебывать. Ну, Настена! А все тихоней прикидывалась, краснела. Вот тебе и тихоня. А дальше-то как хочешь? Если Андрей придет? Он же убьет тебя.

— Пускай. Что ты спрашиваешь: как, как? Откуда я знаю?! Скажи лучше, могу я у тебя первое время перебиться? Пустишь, нет?

— Да можешь, можешь. Куда тебя деть. Вместе будем, если че, обороняться. Старуха тебя, конечно, не пожалеет, у ей счас все косточки против тебя бренчат. Внучонка сподобила,— не утерпела, хихикнула Надька.— То-то она все зырила за тобой. А бабу где же укараулишь? Баба сама себя перехитрит, не то что других. Кто бы вот про тебя подумал? Ну, Настена-а! Рисковая ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать. Я дак уж привычная. Ты так, с пустыми руками и пришла? Ничего не взяла? Может, мне сходить, собрать там?

— Не надо. Я потом сама.

— Сама. Ты уж досамакалась. Да не вянь ты, не вянь, не пропадешь. Не то бывало. Встарь бывало: и собака с волком живала. Проживем. А то че ж:113званье одно, что баба. Нет, ты роди, роди, потом поглядим. Как его хоть звали?

— Кого?

— Кого... Кого еще? — этого твоего, который тебя на заем подписывал? Ловкий какой! Имя-то хоть спросила?

— Нет.

— Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навеличишь. От что значит: не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль суд да дело, найдем ему отца, самого хорошего.

Надька поохала еще, поахала и шмыгнула за порог. Все равно деревня узнает — как же было упустить возможность рассказать первой! А Настена, оставшись одна, упала на топчан, закрыла глаза, и дыхание ее перехватило крутой, обжигающей болью. Она бы и заплакала — так хотелось вволюшку пореветь, чтобы вынести из себя эту непомерную, охватившую уже все тело, несусветную боль, но боялась, не повредили бы слезы ребенку. И долго с одним тянущимся стоном каталась она на топчану, то вскакивая, то падая снова, и малой каплей не было ей ни в чем облегчения, не было ни затишья, ни усталости измученной душе.

Поздно вечером пришел Михеич и через Родьку вызвал Настену в ограду. Он сел на суковатый, истыканный топором чурбан, Настена осталась стоять. Она едва держалась на ногах, но сидеть не смогла бы совсем — так хоть оставалась возможность переминаться, шевелиться, а неподвижность ее давила. Корявыми, трясущимися пальцами

Михеич набил трубку и закурил, не сразу добыв из кресала огонь. Хватил дыму и захлебнулся, закашлялся; отвернувшись, склонился к земле, зашелся, натягивая и надрывая внутренности, и отдышался не скоро. Настена ждала. Отдышавшись, сделав еще несколько успокаивающих затяжек, Михеич поднял на Настену слезящиеся глаза и устало, вымогающе сказал:

— Он здесь, Настена. Не отказывайся, я знаю. Никому не говори, откройся мне одному. Откройся, Настена, пожалей меня. Я ить отец ему.

Настена покачала головой.

— Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не простится тебе, если ты от меня скроешь. ...Хочу я спросить его, на что он такое надеется. А? Не говорил он тебе? У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти... От стервец дак стервец. Доигрался... Сведи нас, Настена,— почти с угрозой потребовал он.— Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играться. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. И тебе легче будет.

И, уже задумываясь, поддаваясь его мольбе, она покачала опять головой:

— О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? — сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету.

— Не ври, Настена.— Михеич поднялся и пристукнул трубкой по ноге.— Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел. Это ж от него пузо-то твое! От кого еще?! Будто я тебя не знаю. Будто не знаю, какая ты есть. Это ты старухе, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего стаскала. От оно, доказательство-то,— он чуть не достал трубкой до Настениного живота и отдернул ее.— Куды ты его денешь? Куды? — я тебя спрашиваю!

Понимая, что не надо бы этого говорить, но и не найдя, не зная, что больше сказать, стараясь закончить, оборвать скорей разговор и уйти, упасть опять на топчан, она достала черного, нечистого, подложного козыря:

— Я с вашим Андреем четыре года прожила и — ниче. А ты говоришь: доказательство.

Он замер, испуганно заморгал, глядя на нее, и повернулся, тяжело зашагал к воротцам. Кто-то, видно, проходил в это время по улице; Михеич, открыв воротца, дернулся обратно, но подтолкнул себя и вышел.

21

Настена долго лежала, притворяясь спящей, дожидаясь, пока Надька и ребятишки угомонятся, накинула и вытерпела добавочное время на тот случай, если кто сморился не сразу, и лишь тогда тихонько поднялась, прихватила платье, фуфайку и чирки в руки и босиком на цыпочках вышла. На крыльце под глухой стеной она оделась и обулась и так, в полном облачении, но простоволосая, пристыла на верхней ступеньке, набираясь решимости и проверяя себя, надо ли делать то, что вознамерилась, не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец, хоть ненадолго, потерянным, желанным покоем.

Ночь была жутковатая — морошная, глухая, темная до крайней темноты. В прошлую ночь прошел дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь больше не направился, и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, накрепла еще сильней. Постройки в кромешной темени почти и не выделялись, приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближние избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на привычных местах; тяжелое небо нависло так низко, что чувствовалась его инакая, чем на земле, холодная сырость и чужое, кружное шевеление воздуха. Ночь, чтобы спрятаться, самая подходящая, если бы Настена не боялась такой крутой, зловещей темноты, которая там, на Ангаре, мерещилась и того страшней.

На Ангару она и наметилась, поднявшись с крылечка; по ночам да непогоде, скрываясь от людей, она давно уже знала только один путь. Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны и шест. Одноручное весло Настена не тронула, управляться как следует им она не научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользоваться без спросу лодкой Михеича походило на воровство, но ничего другого Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих? — еще науськают собак или придумают что похлеще; достаточно с нее и того, что есть. Как бы отзываясь на ее страхи, где-то посреди деревни вдруг забрехала непонятно с чего собака, к ней пристегнулась вторая — Настена испуганно остановилась и присела у прясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда

собаки затихнут. Сегодня она боялась всего: и темноты, которая на самом деле была ей на руку, тишины, как никогда густой и чуткой, выдающей любой маломальский звук, и вот этого лая, который скорей всего был пустячным, с сонной собачьей дури, потому что скоро умолк,— во всем ей чудились намеренность, подстроенность, дурное предзнаменование. Осторожно, чуть не ползком, припадая при каждом шаге и прислушиваясь, спустилась она под яр, но скрип гальки под ногами на каменишнике показался ей оглушительным, так же громко, оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка. Отпихнувшись, Настена перевалилась в нее и пригнулась, примолкла, давая течению стянуть шитик за деревню.

Здесь, на Ангаре, было светлей; от реки поднималось серое, исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его за merклой прокладкой виделось полосами другое, более мутное и слабое свечение, неизвестно откуда берущееся; сразу за ним начиналась дремучая тьма. Настена отыскала глазами огонек бакена — белого, который она помогала деду Матвею ставить и который сплавляли вторым, и оттого, что он здесь, не исчез, не погас, не сгинул, ей стало немножко легче. Шум воды на перекате ночью представлялся глуше, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с легким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо. Слепо кружал, нарождаясь, подхватываясь и немощно опускаясь, предутренний ветерок...

Пора было браться за весла; как ни морошно, а летняя ночь все равно коротка. Настена рассчитывала поначалу еще до свету пригнать лодку обратно, но теперь понимала: не получится. Слишком долго пролежала в постели, просидела на крылечке, долго скрадывала весла и таилась, пока снесет, на воде — время не ждало. Добро бы воротиться хоть и по свету, но до того, как поднимутся и вылезут на реку люди, чтобы не причаливать на виду и не подавать на пересуды-разговоры лишнего намека. Быть может, в последний разок и плывет, впредь не понадобится. Нельзя дальше испытывать судьбу — достаточно. Похоже, что она, Настена, и без того где-то когда-то промахнулась, показала больше, чем следовало,— где, когда, что? К чему теперь доискиваться? Ничего это не даст. Успеть бы предупредить Андрея, уговориться с ним, а там будь что будет. Такую страшную, непосильную чувствовала она усталость, что хотелось отгрестись подальше, опустить весла и лечь, закрыть

глаза — пускай бы тащило, уносило куда попало, хуже б не стало.

Три дня прошло, как Семеновна помела ее из дому, а Настена все не хотела поверить, что живет она где-то в людях, что нельзя ей, как раньше, пройти в свою комнатенку, переодеться и, опустившись на деревянную кровать, стыдливо приласкать перед сном живот. Теперь, когда прятать его было ни к чему, когда каждый, кому не лень, тыкался в него глазами и опивался, как сластью, его открывшейся тайной, начала подтачиваться и глохнуть и нежность к ребенку, чуткое, дрожливое ощущение его наполняющейся жизни. Остался один страх: что с ним будет? Непросто было без конца выдерживать на себе хваткие и судные взгляды людей — любопытные, подозрительные, злые; как сама Настена не в состоянии была понять, что все, происшедшее с ней,— правда, так и другие не могли поверить, что она и есть та Настена, которую они знали, и всякий раз искали подтверждения молве: тут ли он, живот-то, не опал ли, не исчез? Никто, ни один человек, даже Лиза Вологжина, своя в доску, не подбодрил: мол, держись, плюнь на разговоры, ребенок, которого ты родишь, твой, не чей-нибудь ребенок, тебе и беречь его, а люди, дай время, уймутся. Если б чуть сходилось по срокам, наверно, и Лиза покатила бы на нее, подозревая, не Максим ли там был. А может, и теперь задумывалась, подсчитывала — кто ее знает? Катерина вон, жена Нестора, не на шутку косилась, дурила про себя, а не подходить же к ней, не объяснять — мол, успокойся, твой Нестор тут ни при чем.

Не всякий поверил Настениной сказке про уполномоченного — так, пожалуй, и должно быть, но Настене от этой отговорки легче не становилось. Бабы — ладно, с бабами обойдется, она знала, что не виновата пред ними — той хотя бы виной, которую они примеряли к ней, поэтому смотрела на них без стыда; куда хуже было, когда намекали на что-то близкое к правде. Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронырливые глаза и понимающе качая головой, в первую же встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:

— Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?

И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее, ожидая, не дрогнет ли где жилка, не выкажет, не откроет ли что ненароком.

— Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович,— как всегда в последнее время настырничая с ним, не давая

ему спуску, ответила Настена.— А я покуда шепну, что ребенок-то, однако, на тебя будет походить.

— Тьфу, язва! — сплюнул он и пригрозил, отходя: — Нич-че, выясним, на кого он будет походить.

Вот это уже выходило пострашней, и что тут делать, Настена не представляла. Она вообще нисколько не представляла, что ей делать, не в силах была задуматься и что-то решить: как оцепенела в первый день, когда на нее накричала Семеновна, так и не отошла. Все кругом стало немило, все казалось чужим, направленным против нее, высматривающим каждый ее шаг, подслушивающим каждую мысль. Она шевелилась, чтобы не застыть, не обмереть окончательно, выходила на работу, говорила какие-то слова, когда спрашивали, но о чем говорила, какую работу исполняла, где была, сразу же забывала. Ночами она почти не спала, изнываясь тяжистой, горькой болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера — заблудилась, закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, то в поле,— Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова коченела, уставившись перед собой невидяще и замаянно. И все ждала сенокоса, который должен был начаться со дня на день; почему-то верилось Настене, что в эту веселую, любимую ею прежде страду должна переломиться, прийти к какому-то одному концу вся ее мучительная, омутная заверть. Хватит — сколько можно?! Она не собиралась сегодня к Андрею, но вечером пришла с посиделок Надька и доложила:

— Слушай-ка, Настена, че про тебя говорят... Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого, пузо-то нарóстила.

Настена почувствовала, как ее с головой захлестнуло жаром.

— Где бы я его взяла, своего-то? — заставила она себя хмыкнуть.— Четыре-то года, однако, много будет для пуза?

— Это Иннокентий Иванович догадки все строит. От него, мне кажется, пошло,— объяснила Надька.— Неймется ему, старому хрычу. Сам-то для бабы бесполезный человек — вот и мутит народ, придумывает, что поинтересней.

— От своего так от своего,— согласилась Настена, чтобы показать: говорите, что хотите, не жалко.

Уже после разговора ее пробрал страх: а ведь дотянется, ушлятина, дотянется. Другого такого Иннокентия Ивановича во всем свете нет. Будет рыскать до тех пор, пока

не выйдет на прямую дорожку: раз уж запало ему — не отступится. Поедет в район, разыщет уполномоченного и с подмигом ему, мол, скоро в Атамановке ждут от него приплод. А тот, ясное дело, открестится, возмутится, и пойдет разговор у них всерьез. Нет, надо уходить Андрею — хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько веревочке ни виться, а конец будет. Какую заварил кашу... какую кашу... к чему! Если и уйдет он, укроется на веки вечные, будто его и не было вовсе,— она уж и не знала, чего хотела! — все равно на ребенка после этого падет слава, от которой больше всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему — бегляк с войны. И ничем эту славу не вытравить; так устроен человек, что скажи ему, будто кто-то рожден от самого дьявола, он поверить не поверит, но про дьявола не забудет и даже найдет сотню доказательств: от него, от нечистого. Стало быть, и ребенок родится на стыд, с которым не разлучаться ему всю жизнь. И тут не выйдет, как хотели,— ничего не выйдет. И грех родительский достанется ему, суровый, истошный грех,— куда с ним деваться?! И не простит, проклянет он их — поделом.

Темно; до чего темно, беспросветно кругом! И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов — только вода, которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит ли еще, не умерк ли робкий огонек бакена — то сверкнет, то потеряется. Ночью на воде неживой дух — дух размытого старого кладбища, когда свербит и свербит в горле поврежденной кислой затхлостью, а душа боязливо замирает в уголке, прячась от неясных подзывов; и чудится, что вот-вот мелькнет в глубине голос, скажет что-то зловеще-верное, с чем не захочется дальше и плыть.

Настена мягко, без всплесков, опускала лопашны и осторожно протягивала их в воде, подавая лодку вперед. Она двигалась, казалось ей, бесшумно, чутко внимая каждому звуку — речному, чужому ли, потустороннему,— ко всему настороженная, ко всему готовая. И когда на берегу что-то коротко и сухо стукнуло, будто опустили дерево на дерево, она тотчас поймала этот стук и замерла. И сразу же услышала тот внятный, скребущий шум, с каким сталкивают с галечника лодку. Булькнула потревоженная вода, затем все стихло, но скоро до Настены донеслись мерные, чуть чмокающие чесы одноручного весла.

Сомневаться не приходилось: кто-то плыл за ней. Кто-то скараулил, подождал, пока она отгребла, и тронулся следом. Кто — Михеич или чужой? Неподалеку под одним яром стояли еще две лодки — Иннокентия Ивановича и Агафьи Сомовой, можно было взять любую, та и другая не замыкались. Настена не шевелилась; шитик ее развернуло и понесло, лопашны растопыренно бороздили по воде. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше: если слышит она, услышат и ее. Сплавала, предупредила! Надо возвращаться. Добро бы Михеич — не так страшно, а вдруг не он? Кто б это ни был, воду ему она уже показала.

Та лодка, потеряв Настену, тоже примолкла, потом опять тихонько заработало кормовое весло. Настена догадалась, подлаживаясь под его звуки, грести к берегу. До него было неблизко, но ниже далеко в Ангару выдавалась релка, там на камнях билась вода. Дотянуть бы до релки — и греби без боязни, только не стучи. Аккуратные, едва различимые всплески весла поравнялись с Настеной и прошли мимо; снова там затаились, ожидая, чтобы Настена выдала себя, и снова, не дождавшись, тронулись дальше.

Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Перед утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась к берегу. Сейчас бы не сторожиться, а, наоборот, застучать, загреметь, чтобы знал он, тот, кто гоняется за ней, что она и не собиралась переплывать Ангару, а всего-навсего с бессонья вздумала прокатиться под своим берегом, развеять грусть-тоску. Устала она, от всего устала. Измоталась. Скорей бы конец: любой конец лучше этакой жизни. Хотелось спать, но она понимала, что от неудачи, от того, что попасть в Андреевское не удалось, она не заснет. Только навредила: выдала Ангару.

Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. И правда, светлело: в темном небе со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась; похоже, шевельнулась и погода — может, к белому дню все-таки стянет с неба эту угрюмую железную навесь. Тяжелая, недобрая ночь; в такую ночь маются и с чистой душой, а у нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась и только ноет, ноет, жалуясь и плача без капли надежды.

Настена вдруг оступилась и вскрикнула, ухватившись рукой за покосившийся деревянный крест. Господи, куда

попала?! Куда попала?! — к утопленникам. От ужаса ее продрал мороз, ноги обмякли и не слушались. Ползком Настена выбралась из обвалившейся могилы и покатилась вниз к лодке. Господи, пожалей! Что же это такое?! К чему это, зачем? Неужто мало ей еще своих страхов? Не раздумывая, что ее могут услышать, она схватилась за шест и изо всей мочи погнала шитик вверх, прочь от поганого, жуткого места. Кладбище это развел за лето Мишка-батрак, еще в начале войны прибившийся к Атамановке из детдома мальчишка, вымахавший с тех пор почти во взрослого парня.

Нынче, как никогда, много несло утопленников — отчего? — война кончилась, надежды стало больше — или жизнь сделала слишком крутой крен, и не все удержались на повороте, слабые попадали в Ангару? Кто знает... Мишка-батрак, которому дали прозвище за то, что пробавлялся он попервости в работниках, не брезговал вылавливать их и хоронить, получая от сельсовета за каждую могилу по десять рублей. Заработок этот ему понравился, целыми днями Мишка-батрак пропадал на реке, высматривая цепкими ястребиными глазами добычу, и зарыл на нижней поскотине уже четверых — зарыл как попало, без усердия, лишь бы колхоз заверил справку, что зарыт, по которой сельсовет выплачивал деньги.

И всю дорогу, пока Настена заталкивалась, ее трясло. Ведь помнила же, помнила, днем за версту обходила, боялась взглянуть в ту сторону, а ночью полезла. Прямо в могилу завалилась — что ж это такое?! И, ахая, содрогаясь от страха и омерзения, уже боялась за себя: заляпалась. И мыла, мыла потом руки, которыми хваталась за глинистую, липкую могильную землю, и все казалось ей, что пахнут они чем-то похожим на дрожжи.

Но она не забыла проверить: тот, кто плыл за ней, взял лодку Агафьи Сомовой.

22

Утром Настена не вышла на работу. Не вышла и Надька — ничего плохого в этом не было: завтра выезжали на покос, а последний день, кому надо, как обычно отдавался на сборы. Наконец-то Настена дождалась сенокоса, на который возлагала нынче какие-то особенные спасительные помыслы, хотя и близко не ведала, чем он ей сможет помочь. Но ведь сенокос же... всегда в эту пору чувствовала она себя просветленно и празднично, податливо к любому

покосному делу. Любила еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудливой страстью загорается душа — и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов — любила все от начала и до конца, от первого и до последнего дня.

Но то была другая Настена. То была другая Настена, но эта еще нетерпеливей той, с непонятным порывистым чаянием и слепой верой ждала сенокоса, будто от него решалась вся ее судьба. И верно, мерещилось ей: в сенокосные дни все и выяснится — где ей быть, с кем жить, на кого злобиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой — и упрямо, задиристо махать, не отдыхая, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть свободно. Не зря говорят: работа гробит человека, но она же, работа, до гроба кормит его и хранит. Главное, что хранит.

Но и это было вчера, а сегодня, после ночи, когда Настене не дали увидаться с Андреем, она совсем потерялась; усталость перешла в желанное, мстительное отчаяние. Ничего ей больше не хотелось, ни на что не надеялось, в душе засела пустая, противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилось стеной. За ночь она не сомкнула глаз, голова болела — и не болела уже, а истягивалась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри — там, где ребенок, и она не знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. «Ишь что вознамерилась,— угрюмо кляла она себя и теряла мысль.— Так тебе и надо».

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенными руками из угла в угол,

из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала — и не находила, не могла дождаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. Лидка стала прятаться от нее.

— Тронулась ты, че ли? — прикрикнула на нее Надька.— Где ночью блудила-то?

Настена не удивилась и не испугалась: и верно, блудила — почему не спросить?

— К мужику своему хотела пробраться, да раздумала,— ответила она. Когда говоришь правду, легче не верят. А ей легче говорить ее. Надоело обманывать. Все надоело.

— Тронулась,— решила Надька.— Ну и черт с тобой, если ты человечьих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь — не щенка.

Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше Настене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? — сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос, и не поблагодарит. Заплуталась, некуда идти.

Перед обедом, пробравшись заулком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настену в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

— Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, че-то задумали. Тут у их Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это...

Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом:

— Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с им свидеться, да на твою голову и так достанет хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться,— и выбилась все-таки горькая горечь, признал Михеич: — И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить. А-а, ну вас...

И, махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно, уродливо задирая хромую ногу.

А Настена замерла и долго еще оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение и не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью впустую. Все — выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно.

Она уже ничему не верила — ни тому, что был Михеич,

ни тому, что ночью кто-то выслеживал ее на Ангаре. Ей чудилось, что она выдумала все это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории, и заигрывалась порой до того, что с трудом отличала правду от неправды. Так, наверное, и тут. Голова действительно разламывалась. Настена готова была содрать с себя кожу. Она старалась поменьше думать и шевелиться — не о чем ей думать, некуда шевелиться. Хватит.

Вечером Надька принесла новое известие: приехал Бурдак, милиционер. Настена молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они наговорят. А хоть и приехал — что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атамановку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налогопоставки. Атамановка — его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал и приехал — что такого?

Она легла рано и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Точно в загаданное мгновение будто кто подтолкнул ее — она очнулась. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой, в голове установился покой. Настена не знала, сколько прошло ночи — ходики на заборке, обвиснув гирькой, молчали,— но почему-то верила, что не опоздала, что ее не успели опередить. Оделась не таясь и так же не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней, а удача на этот раз была ей необходима позарез.

Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробиваясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хорошо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашны. Надо успеть, надо предупредить мужика. Надо попрощаться. Навсегда, до других ли времен — неизвестно.

Стыдно... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где

ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а лётом убегать от беды?

Настена гребла и с покорным, смирившимся чувством соглашалась с тем, что происходило: так, видно, надо, это она и заслужила... Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. До чего тихо, спокойно в небе. А вчерашней ночью было жутко; боязно, когда глаза совсем ничего не различают в темноте, мерещится, что вот-вот что-то случится. Правду ли говорят, что звезды со своей вышины видят под собой задолго вперед? Где они ее, Настену, разглядели за этой ночью, что они чуют? Слабенькие сегодня звездочки — куда им задолго?

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными, праздными мыслями, удивляясь, что душа тщится отвечать им.

На душе от чего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса — тех, кто живет сейчас, или кто жил сто, двести лет назад. Смолкает хор, вступает второй... И подтягивает третий...

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить.

И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.

— Вон она, вон! — кричал Нестор. По воде хорошо слышно было, и что говорили, и кто говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким словом, и Настена догадалась, что слово это послано ей.— Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. Догоним.

— Вторую лодку сталкивай,— это уже голос Иннокентия Ивановича.— Скорей. Скорей — чего телишься!

— Доста-а-нем!

С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того отплыла достаточно, дальше грести ни к чему.

Устала она. Знал бы кто, как она устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня ни капли из того, что пришлось испытать. Вот оно, наконец, желанное, зарабо-

танное мучениями счастье — почему она не верила в него раньше? Чего она искала, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.

Стыдно... всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте сумел бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза... Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее...

Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задалено было темью...

Лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет поздно.

Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки,— в нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким еще решаться!

Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск — чистый, ласковый и подталкивающий, в нем звенели десятки, сотни; тысячи колокольчиков... И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Оперщись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь в глубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.

— Настена, не смей! Насте-е-о-на! — услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина, последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.

Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильней и смяла, закрыла их — и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение.

Только на четвертый день прибило Настену к берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди.

После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК

1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе; но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко — в Киеве. Старший сын с Севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколь раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы тепери где-е была, если

бы не ваша фельшерица.— И учила Нинку: — Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфету дам — сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: ее стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее — откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. А трогали ее часто — чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела — покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы — чтобы приезжали. После этого растолкал старуху, предупредил:

— Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины. Варвара открыла ворота, никого не увидала во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

— Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал мать по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

— Мать,— тормошил Михаил.— Варвара приехала, погляди.

— Матушка,— старалась Варвара.— Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи еще покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу — где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в сле-

зах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером на счастливо подгадавшем пароходе, который ходит только два раза в неделю, приехали городские — Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильей, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших таращились старухи и ребятишки, старухи крестились.

Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

— Матушка-то наша... Матушка-а-а!

— Погоди ты, — опять остановил ее Михаил. — Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати — и Надя, Михаилова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло — то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:

— Не жива.

На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

— Зеркало,— вспомнила она.— Дайте зеркало.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

— Жива,— с облегчением выдохнула она.— Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала все не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывая, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце ко старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлепал Нинку и вытолкал из комнаты. Нинкин рев заглушил плач Варвары, и Варваре пришлось умолкнуть. Она вздохнула:

— Ах, матушка ты наша, матушка.

Надя спросила, куда подавать на стол — сюда, в ком-

нату, или на кухню. Решили, что лучше в кухню — чтобы не тревожить мать. Михаил принес бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

— Татьяна наша сегодня уж не приедет,— сказал он.— Ждать не будем.

— Сегодня не на чем больше, ага,— согласился Илья.— Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолет, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут — ага.

— Или в городе.

— Завтра будет.

— Завтра обязательно.

— Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

— Давайте. За встречу надо.

— А чокаться-то можно ли? — испугалась Варвара.

— Можно, можно, мы не на поминках.

— Не говорите так.

— А теперь говори не говори...

— Давно мы вот так все вместе не сидели,— с взволнованной грустью сказала вдруг Люся.— Татьяны только нет. Приедет Татьяна, и будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своем месте сижу. А Варвара не на своем. И ты, Илья, тоже.

— Где уж там — не уезжали! — стал обижаться Михаил.— Уехали, и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или еще чего надо. А вас будто и на свете нету.

— Варваре тут рядом.

— А вам прямо из Москвы ехать,— поддела Варвара.— День на пароходе — и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам с деревенскими знаться!

— Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить,— разволновалась Люся.— При чем здесь городские, деревенские? Ты думай, о чем говоришь.

— Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Че с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сестрам, братовьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по скольку раз проведывала, хоть у Варва-

ры не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

— Давно не была — чего там! — поддержал Варвару Михаил.— У нас еще Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был — когда с Севера переехал. Еще Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся?

Илья помнил, кивнул.

— Не могла, вот и не приезжала,— обиженно сказала Люся.

— Захотела, смогла бы,— не поверила Варвара.

— Что значит — смогла бы, если я говорю, не могла? С моим здоровьем, если в отпуск не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

— У Егорки всегда отговорки.

— При чем здесь какие-то Егорки и отговорки?

— А так, ни при чем. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

— Ладно вам,— сказал Михаил.— Поехали еще по одной. Чего она будет киснуть?

— Поди, хватит,— предупредила Варвара.— Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте еще песни петь.

— Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя — не маленькие.

— Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошел шестой десяток, выглядела она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да еще, как никто в родове, была толстой и небыстрой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны для них еще не было — поэтому все они находились в целости и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела мало: она мучилась и скандалила с ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шел Илья, потом Люся,

Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильей-коротким, и, хоть длинного Ильи в деревне не было, прозвище это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на Севере, волосы у него сильно повылезли, голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на Севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки: брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожили, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела — даже до деревни доходили слухи, что Илья от нее терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у нее еще заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе бог не дал.

У Михаила — не то что у Ильи — волосы по-цыгански густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже черный, но чернота эта больше от солнца да от мороза — летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке — круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только Татьяны. У Михаила с Ильей еще было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали — сидели, размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

— Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить,— говорил Михаил.— Теперь бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

— Он где? — спросил Илья.

— В армии. Второй год уж доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился — не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его как командира наказали. Может, и сам что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

— Должны отпустить.

— Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял.

Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все же, не сын.

— Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай,— посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

— Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

— Подождите уж немножко,— сказала Люся.

— Лучше подождать, ага. А то можно только все испортить. Потом уж сразу: так и так. На похороны должны отпустить.

— Ой-ёй-ёшеньки,— вздохнула Варвара.— Не думали не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

— Сколько тебе их надо? — хмыкнул Илья.

Варвара обиделась:

— Ты прямо как неродной! Все с подковырочкой. Все хочешь из меня дуру сделать. А я не дурней тебя, можешь не подковыривать.

— Я и не думаю, что дурней. Чего это ты взъелась?

— Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

— У вас швейная машинка есть?

— Есть, только я не знаю, шьет ли она. Давно уже не открывала.

— Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного черного платья,— объяснила Люся.— Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было, только скроила. Придется здесь.

— Не успеете сегодня.

— Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

— Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его — чуть живой. Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услыхали, как откуда-то изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

— Хоть бы до белого дня дожила,— всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-дере-

венски перегорожена всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михаилова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане; баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа, и стояла в ограде. Илье дали доху и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушел, сказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила ее на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала ее ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

— Ложись,— сказала Люся Наде.— Усни, пока можно. Неизвестно еще, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Ее о чем-то спросил Михаил, она что-то ответила — все шепотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Че это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

— На похороны, че ли, черное-то приготовляешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А че я такого сказала?

— Ничего.

— Шей, я тебе ниче не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом еще и еще.

Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась:

— Че это он кричит?

— Не знаю. Сигналы кому-то подает.

— Другого места не нашел, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она еще посидела и нехотя поднялась:

— Пойду. Ты долго здесь будешь?

— Пока не сошью.

— Не надо было нам сегодня ложиться, ох, не надо было,— покачала головой Варвара.— Сидели бы, разговаривали — все веселей. Чует мое сердце: не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стенке.

— Что? — спросила Люся.

— Или уж мне кажется, или правда. Иди посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала ее руку, но слышала за своей спиной только тяжелое, со свистом, дыхание Варвары: и-а, и-а, и-а. Пришлось отогнать ее, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за много-много километров, совсем тихие, теряющиеся толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали еще слабей и шли не подряд, а через один.

— Ты ложись,— жалея сестру, сказала Люся.— Я, пока шью, буду смотреть, потом разбужу тебя.

— Да разве я усну? — по-ребячьи захныкала Варвара.— Илья хитрый какой, ушел из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Все буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

— Сиди, если хочешь.

— Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

— Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет? — спросила она.

— А что?

— Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.

— Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

— Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.

— А что, твоей девке носить нечего?

— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, пофорсить охота.

— В черном-то какой же форс?

— Она у меня неприведредливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь.

Люся пообещала:

— Уезжать буду, отдам.

— Я так и скажу: от тетки,— обрадовалась Варвара.

— Говори как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михаиловой половине. Варвара насторожилась:

— Кто бы это? — Потом, когда храп окреп, рассердилась: — Бессовестный какой. Нашел время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется.— Она умолкла и вдруг жалостно попросила: — Пойдем еще раз посмотрим. Я одна боюсь.

Старуха была все так же: жива и не жива. Все умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но видно было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось уступить ей свою кровать, а самой ложиться на раскладушку — иначе Варвара все равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но еще до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что все в нем утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушенно, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки — все в белой, моросящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры ее постоянно будила, услыхав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, все равно начинала утро только после того, как ее позовет из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухиного голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсажаясь, кричала недоеная корова, и Наде пришлось подняться. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все осталь-

ные спят, и кряду раз пять громко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей в избе, кроме входной, не было, а был только дверной проем — в нем Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухиного лица она не увидала, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то — живое или уже мертвое — находилось под одеялом, а пройти вперед, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же, заходила то с одного боку, то с другого. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шепотом спросила:

— Сшила она вчера, нет?

— Сшила,— так же шепотом ответила Варвара.— По мелочи только кой-чего не успела.— И не выдержала больше, взмолилась:— Пойдем разбудим ее. Прямо не могу.

— Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теребить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от ее толчков отъехала в сторону.

— Что? — спрашивала Люся.— Что?

Варвара приготовилась плакать:

— Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся пригладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подня-

ла старухину руку и тут же уронила ее, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

— Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял:

— Отмаялась? Ох, мать, мать... Надо телеграмму Володьке отбить.

— Ты что?! — остановила его Надя.— Ты почему такой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:

— Жива.

— Живая?! — Михаил повернулся к Варваре, вскипел:— Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу — Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь.

— Тише! — потребовала Люся.— Идите отсюда все.

Сама она еще до еды, пока Надя жарила картошку, села заметывать на новом платье петли и пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города.

Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

— Живая наша матушка, живая.

Он заворчал:

— Живая — так зачем будишь?

— Сказать тебе хотела, обрадовать.

— Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

— Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только кое-где виднелись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье — попробуй ее потом из грязи

выколупывать. И хочется и колется, никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил ее всю под дождем, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжившая из ума старуха, забывать, что за чем идет. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Наутро Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила соленые рыжики, при виде которых Люся ахнула:

— Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уже забыла, что они еще на свете есть — сто лет не ела. Даже не верится.

— Рыжики — это ага,— причмокнул Илья.— Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще бы что-нибудь — это ага!

— Чего ж ты их вчера-то не поставила,— упрекнул Михаил Надю.— К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать — вроде ниче. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

— Там еще-то у тебя остались?

— Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала, и то где поближе.

— У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать,— вспомнила Люся.— Все места знала. Я с ней как-то пошла, она еще совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у нее уже полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» — «Здесь».— «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» — «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы мне доказать». Она обиделась, ушла от меня. Так, поодиночке, и домой вернулись, она с полным ведром, а у меня только-только дно прикрыло.

— А она до конца никогда не выбирала,— объяснил Михаил.— Если маленький — оставит, а на другой день придет, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать, что попадет, да домой. А она увидит, если я маленький сорвал,— ну на меня!

Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать — быстрей, они все больше гнездами растут.

— Лучше всех у нас Илья грибы собирал,— засмеялась Люся.— Набьет в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полное.

— Было, ага,— с удовольствием признался Илья.

— А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем,— даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки...

— На Еловик,— подсказал Михаил.

— На Еловик, да. Там еще косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду...

— Пауты, поди, а не пауки,— буркнула Варвара.— Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

— Может, и пауты. Все равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове... сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

— Лиственничник.

— Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нем! — кусты лежат на земле от ягоды. Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьешь. Крупная такая смородина, вкусная. Час — и полное ведро. Там и теперь ее, наверное, много.

— Не-е-ет, что вы! — махнула рукой Надя.— Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли. Так только, поесть когда, и то ходишь, ходишь...

— Ой, как жалко!

— А сколько было синей ягоды на вышке! — тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

— Что ж вы это так?

— Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попалось — с кустами, с листьями — с листьями унесут.

— Ну, рыжики-то, говорите, есть?

— Рыжики в этом году есть. Люди таскают.

— Надо хоть за рыжиками сходить.

— По рыжики-то сходить — можно было, поди, без телеграммы сюда приехать,— кольнула Варвара.

Люсю это разозлило:

— С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, все не так, все не так, все не по тебе. Нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Не забывай, пожалуйста, мы тоже достаточно взрослые и, наверное, понимаем, что делаем. Что это такое, в конце концов?!

— Да никто ниче и не говорит, я не знаю, че ты на меня взбеленилась.

— Я же еще и взбеленилась!

— Я, ли че ли?

— Да вы кушайте,— стала просить Надя.— А то картошка совсем остынет. Холодная она невкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте все, а то теперь до обеда.

— Татьяна должна подъехать. Соберемся.

— К обеду должна, ага.

— Если из района, может, и раньше.

— Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, — заранее пожаловалась Варвара.

— Нет, Татьяна обязательно зайдет,— сказал Михаил.— Татьяна у нас простая.

— Была простая, а теперь еще надо поглядеть какая,— стояла на своем Варвара.— Столько дома не была.

— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела.

Люся бессильно покачала головой.

— С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

— Не любите, когда правду-то говорят.

— Вот видите.— Люся поднялась из-за стола, поблагодарила:— Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

— Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

— Нет, для меня немало. Мой желудок уже отвык

от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

— От рыжиков поносу не будет,— примирительно сказала Варвара.— Они для брюха невредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали.— Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев:— Че это она?

— Кто ее знает.

— Прямо ниче и сказать нельзя.

— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так,— посмеиваясь, посоветовал Илья.

— Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

— Она, может, разучилась.

— Она разучилась, я не научилась — че ж нам теперь — и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся в даль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире — на три стороны от деревни, оставив четвертую для реки. Во дворе перед глазами мужиков без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, норовя зайти сзади. Нинка закышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из-за поленницы. Михаил крикнул:

— Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорилась:

— Курицы склюют.

— Я тебе покажу — курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу — ушел, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребятишки еще не успели высыпать на улицу — было спокойно, ровно, с редкими, привычными зву-

ками: животина ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос — все не для слыху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот выдавшийся от часу между утром и обедом покой смирял и шумы и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая ее после ночи.

— Видать, невредная у нас все же мать была,— сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной.— И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают.

— Погода установилась, ага,— отозвался Илья.

— Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, ее всю порастащат. Потом бегай.

— Водку, что ли?

— Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С нее, с холеры, утром голова не дай бог болит.— При воспоминании о похмелье Михаила передернуло.— Как чумной весь день ходишь.

— Все равно для женщин взять придется.

— Немножко возьмем, и хватит. Куда ее много? Теперь женщины тоже не сильно-то ее пьют. Все больше нашу.

— Кругом равноправия требуют?

— Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить веселый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

— Сколько водки будем брать?

— Так не знаю,— пожал плечами Михаил.— Ящик, однако, надо. Меньше и делать нечего. Полдеревни придет. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

— Ящик возьмем, ага.

— У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

— Пятьдесят рублей есть.

— Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

— У сестер брать будем?

— У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у нее, наверно, денег много. Пускай дает. Тоже родная дочь, не приемная — как ее будешь отделять? Еще обидится.

— Сейчас сразу пойдем?

— А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдем. Нет, взять надо, а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул — и все, переходи на воду. В другое время, оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, позору не оберешься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя.— Михаил первый поднялся, не прерываясь раскинул: — Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножко остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину, неловко у нее спрашивать. И туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбужденные тем, что идут за выпивкой и возьмут ее много, столько, что одному и не унести. Магазин находился недалеко, народу в нем перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

— Ну вот,— сказал Михаил.— Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейную, в любой момент можно взять, на нее сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидал, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

— Она сама-а,— тянула Нинка.

— Что сама? Что? — тормошила девчонку Люся.

— Это не я-а. Она сама-а...

— Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

— Она сама глаза открыла и сама меня увидала...

— Ну и что?

— Сама ее увидала,— передразнила Нинку Надя.— А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

— Она сама мне показала! — выкрикнула Нинка.— Ты не видала и не говори.

— Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась.

— Подожди, Надя,— остановила ее Люся и опять наклонилась к Нинке.— Куда она тебе показала?

— Куда... куда... Под кровать.

Надя объяснила:

— Она там в своем чемодане конфеты для нее держит.

— А как она тебе показала? — продолжала допыты-

ваться Люся.— Расскажи нам подробнее. Как это было? Ну?

— Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глазы открыла и тоже начала смотреть. И показала.

— Она тебе ничего не говорила?

— Не говорила.

— Ой-ешеньки,— тяжело вздохнула Варвара.— Че ж это будет-то?

— Она у нас вообще-то не пакостливая,— вступился за Нинку Михаил.— Никогда не замечали. Может, на мать, правда, озаренье какое перед смертью нашло. А Нинка тут подвернулась.

Упоминание о смерти заставило их насторожиться, присмиреть, даже задышали с опаской, словно воздух уже был отравлен въедливой потусторонней затхлостью, пускать которую живым в себя нельзя. Потом тихонько придвинулись к старухиной кровати, стараясь найти в матери перемены, и не нашли: теперь, когда свет стал богаче, чем утром, лицо старухи казалось еще мертвее, но сердце по-прежнему продолжало колотиться, не пуская ее оторваться от людей.

Михаил вышел на улицу к Илье, который все это время забавлялся тем, что крошил курицам хлеб, и рассказал:

— Нинка говорит, мать-то наша глаза открывала.

— Смотри-ка ты! — удивился Илья, отпугивая ногой петуха.— Чего это она?

— Не знаю.

— А жива?

— Живая. Смотрели.

День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи — день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте — только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное по сравнению с этим казалось

им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то все нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать, Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился — слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время. Напоминание об умирающей матери не отпускало, но сильно и не мучило их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них — не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

— Скажи все же, а,— начал опять разговор Михаил.— Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе,— подтвердил Илья.— Мать.

— Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

— А зачем об этом думать? Думай не думай...

— Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя видать.— Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал.— Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот, умри она, ребяты сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить — выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

— Мужики, идите скорей. Скорее.

— Что там такое?

— Мать...

Пока они подоспели, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то

слово, какое — не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало — видно было, что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти — казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить — казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула веки, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула — нет, они не пропали, она увидала их ближе и признала — этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было силь-

ным, и она от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери, в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха все дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как бы отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла, плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

— Лю-ся, — с усилием выговорила она.— Илька. Вар-ва-ра.

— Мы здесь, мама, здесь,— удержала ее Люся.— Лежи. Мы здесь.

— Матушка-а! — зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже. И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

— Таньчора,— с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

— Еще не приехала.

— Вот-вот будет.

— Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло

спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли — надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных — она узнавала их и, успокаиваясь, старалась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услыхала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

— Ты бы сварила мне кашу... ту, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

— Манную, что ли?

— Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захлопотали. Слава богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку, Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугун, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

— Мать-то наша, а? Видал?

— Родова,— соглашался Михаил.— Нашу родову так просто в гроб не загонишь.

— Кашу, говорит, хочу — ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот заприметь. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.

Илья удивленно настаивал:

— Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите,— говорит,— добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась».— Он смеялся и повторял: — «Каши,— говорит,— еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

— Ослабела,— более сдержанно отвечал Михаил.— Оно конечно: столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашку в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бегала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

— Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться:

— Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

— Ничего, мама, ничего,— сказала Люся.— Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

— Животишко-то уж в узелок завязался,— с горькой радостью повторила старуха.— Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-ехали с орехами.— Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит.— А я-то, бесстыжая, омманула его, назадь повернула, а тепери над им же

и изгаляюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

— Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.

— Молчать, ли че ли, буду? — куражливо ответила старуха.— В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком?— Они все были тут, возле нее, она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее, сохраняя силы, продолжала: — Меня будто в бок кто толкнул: ребяты приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру — боле мине ниче-о не надо.

Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слез ли или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда — сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни — потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидала солнце и, узнав его, обрадовалась; после долгих, беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон; во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой,— тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.

— Господи,— прошептала старуха.— Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.

С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.

К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после Севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним, нарисованным, будто свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, побойчел, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться — видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.

Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой, его зовут или не его, и кто зовет, откуда. Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы да жил в деревне... Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом все равно свое нашла. Илья — нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя. У него было веселое лицо, но старуха, глядя на Илью, жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.

У Ильи и в самом деле было веселое лицо. Он все еще не мог прийти в себя от удивления, что старуха жива, и с удовольствием смеялся над собой, над Михаилом, над сестрами: «Как она нас, как?! Ай да мать, ай да молодчина!» Еще перед обедом они все были уверены, что старуха мучится умирая, а она мучилась, чтобы выжить. Больше всего Илья смеялся над собой: вчера, отпрашиваясь с работы, он так и объявил в гараже: еду хоронить мать, нисколько не сомневаясь, что для того и едет. Что же он скажет им теперь? Фокус, да и только. Илья готов был поверить, что мать схитрила, нарочно прикинулась

умирающей, чтобы собрать их всех возле себя, и хотя он знал, что это чепуха, которую придумал он сам, все же не торопился ее отбросить, покатывал ее в себе, потрагивал, заигрывал с ней, как кошка с мышкой. То, что старуха сама попросила кашу и совсем как ребенок, только что не из соски, заново училась ее есть, и забавляло и трогало Илью до гордости, и он с любопытством поглядывал на мать: интересно, что она выкинет еще?

Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у нее в ногах. Та нетерпеливо подалась вперед, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь»,— потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидала старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидала, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула — словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей еще могло достаться, а вздохнула — потому что знала: нет, не достанется, нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей-то самой больше ничего не надо, все осталось позади — что вышло и не вышло, а Варвара еще поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.

Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку стариков: первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать — только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то еще. Она не считала Михаила лучше других своих ребят — нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать...

Если не брать трех лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней все ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нем, оставались для нее незаметными.

Вчера был Михаил, и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на Север с волосами, приехал без волос — тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая наведывалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: еще больше потолстела, стала к месту и не к месту постарушечьи вздыхать, плакаться, в голове на черном появились блестки. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придет ее час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожидания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них своя семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят — скребут. Старуха понимала.

На Люсю она только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на нее осторожно, украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее — вон какая она красивая, грамотная, даже говорит не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает: поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому, может, даже умирают по-другому — старуха не знала. Ей уже поздно отказываться от своих привычек — и умрет она как придется, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и все же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее — что может рассердить дочь.

Она все смотрела и смотрела на них — жадно, торопливо, неловко — и никак не могла насмотреться, все ей было мало.

— Ты успокойся, мама,— сказала Люся.— Успокойся и отдохни.

— Приехали,— старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.

— Приехали, мать, приехали,— бодро ответил за всех Илья.— Все в порядке.

Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его:

— Не кричи ты громко. Не видишь, че ли?

— Приехали,— успокаиваясь, повторила старуха в себя.— Дождалася.— Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немолодые, много лет знакомые люди, со вниманием помолчала и, все так же не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: — А я пробудилася и ниче понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те, господи, отмучилась. Только подумала так, вижу: светло как днем. А это глаза у меня сами открылись, а я ниче и не знала.— Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу.— Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету... Лежу и думаю: «Не иначе как человеку уж после, как он помрет, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, че он от себя оставил, об чем его сердце болело».

— Ну, мать, молодец ты у нас,— с веселым удивлением покачал головой Илья.— Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, вовсю разговорилась. Прямо как по писаному чешешь.

— И правда, мама, не говори много, тебе нельзя,— опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.

— Да нет, пускай говорит, если может. Я только к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке — ага.

— Это все вы,— просто объяснила старуха.— Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали — я назадь. Мертвая не мертвая, а назадь, сюды к вам воротилась.— Голос ее тянулся тонкой, западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова.— Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека

походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

— Интересно ты, мать, рассуждаешь.

— У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Че тут говореть! Да ишо если столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берет. От и сичас. Погодите.

Отдыхая, она долго смотрела на стену, где держалось солнце; после дневной белой кипени оно стало мягче и отчетливей. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, который старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Казалось, она забыла и про себя, и про своих ребят, ничего не чувствовала, даже собственного дыхания, и все равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в ее открытые глаза и не отпускало их своей властью — все равно жила, и жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под ее осторожной охраной.

Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо — они ждали мать, как она им велела, стараясь не смотреть друг на друга.

— Меня и тепери ишо на руках будто кто держит,— сказала она, не обращаясь к ним.— Будто ниче под мной твердого нету. А не страшно — будто так и надо.

Она еще помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у нее при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую, теплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:

— Вы-то когда приехали?

— Мы с Ильей вчера вечером.

Старуха сказала не сразу, подождала:

— Гостинцы мне никакие не привезли?

— Мы ведь торопились, мама, некогда было,— неловко замешкавшись, ответила Люся.— Кое-как успели. На пристань бегом пришлось бежать.

— Я ить не себе,— сказала старуха.— Мне ниче-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моёй.— Она потяну-

ла руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась — Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась.— В чемодан для ее спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, че там лежит». Я ей говорю: «Ниче там не лежит»,— а она опеть. Я вроде ниче не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, всё с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.

— Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь,— пообещала Люся.

— Да не надо ей ничего,— застеснялась Надя.— Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.

— Сходи, сходи,— сказала старуха.— Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее.

Люся вспомнила:

— Я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?

— Эти ягодки-то зеленые?

— Да. Виноград называется.

— Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала — только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз ндравится. А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ниче-о не надо. Мне бог вишь какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?

Она опять заплакала — бесслезно, спокойным и недолгим облегчающим плачем — и умолкла, вытерла сухие глаза.

— Ничего, мама, ничего,— сказала Люся.— Теперь поправляйся, и все будет хорошо.

Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. Хорошо еще, что на этот раз она молчала недолго и высветленным, затаенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия — она и глаза не отняла от стены,— сказала:

— А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо

мной ревела. Голос твой был, твой — я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж ревешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу — не иначе.

Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери — не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

— Чудная у нас мать. Тебе не кажется?

— А кто скажет, моить, оне потом ишо сколько данить слышат,— добавила старуха.— Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.

— Ты о чем это там, мать? — громко спросил Илья.— О чем говоришь-то?

— Об чем? — Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась.— Я ить от радости, что вижу вас, не знаю, че и сказать. Болтаю че-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.

— Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя все в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберемся и пойдем в гости. А не пойдешь — на руках унесем. Тебя есть кому на руках таскать.

— Попей еще.— Люся подала матери кружку с кашей.— Теперь можно, желудок уже работает, справится.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

— Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.

— Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем.

— Ой, да в меня боле не полезет.

— Ничего, ничего, полезет.

— Мне только бы Таньчору дождаться,— жалобно сказала старуха.— Че от она так долго не едет? А ну как че стряслось?

— Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.

Старуха попросила:

— Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.

— Никто пока и не собирается уезжать.

— Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась, долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.

— Что это еще за «надоедать» да «молчком»? — выговорила старухе Люся.— Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами — пойми, пожалуйста, это.

— Не говори так, матушка,— подхватила Варвара.— Не говори так, а то я заплачу.

Илья тоже не вытерпел:

— Ну, мать, ну, мать...

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

— Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нить, как птица какая, и всем рассказала бы... Господи...

День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Все здесь было знакомо, все было родное старухиным ребятам, и все, казалось, чутко повторяло мать: заговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось в них с ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее — похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах — везде.

И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Странно и непривычно было видеть неоштукатуренные стены, которые выпучивались белеными бревнами. Под матицей по-прежнему болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала: вырастал из нее один, ложился другой.

По обе стороны от окна над столом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии — с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулем машины на Севере; Варвара со своим мужиком — он и она с одинаково вылупленными глазами и с каменной прямотой стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; еще деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.

На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так ее не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Еще правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезенный в леспромхоз в позапрошлом году. На нем мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зеленым, но мухи быстро сделали его желтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали.

Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она еще уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть — отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.

Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе — везде, выстывало, смежалось.

Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:

— Михаил, иди-ка сюда.

— Что там такое?

Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.

— Посмотри-ка, Михаил,— показала Люся, пружиня голос.

— Куда?

— Вот сюда, сюда.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Он же еще и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же черные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери,

спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?

— Что ты меня стыдишь? Я что тебе — простынями заведую?

— Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж, наверное, ты мог? Это-то нетрудно. Или тебе все равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.

Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.

— Люся! Люся! — останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: — Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чем говореть — о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину,— без рук останешься.

— Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.

— Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этим простыням: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру — одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.

— Зачем ты заводишь опять об этом разговор?

— Ишо не лучше! Зачем, говорит.— Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела:— Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, че там она подо мной увидала, неужели я че наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребенка. Сама себя не помню.

— Зато твой сын должен помнить и о себе и о тебе,— упрямо стояла на своем Люся.— На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!

Надя оторвалась от стенки, возле которой она молча простояла все это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:

— Дались тебе эти простыни.

— Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала,— покачала головой старуха.— Она тут невиноватая. Она сколь

раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.

— Но ведь я ей ничего и не говорила.

— Дак оно и не ей, а все равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.

Варвара вздохнула:

— Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, че и сказать.

— Не знаешь — молчи,— хмыкнул Илья.— Гляди, беда какая!

— А я тебе ниче и не говорю.

— Я тебе тоже.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

— Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?

— Нет как будто,— ответил Михаил.

— Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне че-нить. Не знаю, как бы я без ее век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит,— кивала старуха.— Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.

Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

— Нет, вроде на заложке.

— Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегат, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды... отбегалась.

— Мать,— перебил старуху Илья, подмигивая Михаилу.— Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?

— Ну, мужики, ну, мужики,— встрепенулась Варвара.— Вы без этого прямо жить не можете.

— Не можем — ага,— согласился Илья, широко улыбаясь.

— Да пейте, когда уж вам так охота,— позволила старуха.— Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.

— Это — пожалуйста, мы можем и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала — ага.

— Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.

— Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу...

— За ее и есть. И че оне в ём находят, какую сласть?

Да меня озолоти, я в рот не возьму. А они ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, вы бы и послушались... Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.

Повеселевший Михаил без обиды отговорился:

— Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.

— А я никогда здря не говорю.

— Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.

— На Надю я пожалиться не могу,— продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной.— От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне че плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. Если не было, че я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет. Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась — что есть она, что нету, званье одно.

— Укрываться надо лучше,— со знанием дела посоветовала Варвара.

— Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придет, нагреет воды — будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала — че тут говореть. Он трезвый-то — человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.

— Как это вяжется? — насторожилась Люся.

— Как... А так. От зачнет он с ее вино это требовать, а сам уж на ногах койни-как стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмет, на какие шиши? Гонит ее в магазин, и все: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак она, подимте, там только убирается, она к вину этому близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теши, он свое. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.

— Вот оно что,— сдержанно отозвалась Люся.

— Прямо ни стыда, ни совести у человека,— возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь.— К родной матушке так относиться — это совсем обнаглеть надо!

— А то придет, он так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чём я с им, с пьяным, буду говореть, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так. Ну. Пристанет — ой-ёй-ёй!

— Я поговорю с ним,— пообещала Люся.— Я с ним поговорю — не обрадуется. Что это, в самом деле, такое?! «Пою, кормлю...» Этого еще не хватало.

— Ты только с им, с пьяным, не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится, опеть ниче. Когда бы не это вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит.

— Пить не надо,— сказала Варвара.

Старуха покивала на ее слова, вздохнула:

— Дак а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьет, да ума не теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, все мало.

— Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился,— не переставала удивляться Люся.

— Докатился, докатился,— поддакнула Варвара.— Матушка наша врать не будет.

— Я пошто врать-то буду? — обиделась старуха.— Какая мине нужда на сына на родного напраслину вам наговаривать?

— Я и говорю: матушка врать не будет.

— А вот терпеть матушка почему-то терпит,— в тон ей сказала Люся.— Он над ней издевается, как может, а она его же еще и защищает. «Проспится — опеть ниче»,— передразнила она.— Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождешься. Дождешься, что из дому выгонит.

— Он меня не выгонял — че здря говореть.

— Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать. До этого немного уж осталось.

— У нас никто в родове мать из дому не гнал.

— У вас никто в родове к матери, наверное, так и не относился, как твой сын.

— Никто, никто,— согласилась Варвара.— Сколько я на свете живу — никто. Он один.

— Вы от сердитесь,— помолчав, тихонько начала старуха.— Сердитесь, а пожили бы со мной. Это ить чистое наказание — рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, а то кашель возьмет — белого свету не взвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. Куды ишо чишше? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться и людей мучить, да от задержалась. Вперед смерти не помрешь. Он трезвый-то терпит, ниче не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: че уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел.— Отдохнув, старуха заговорила легче, упоминание о боге успокоило ее. Она свободно вздохнула и попросила: — Не надо ему ниче говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть легкая будет. Ну. А как вы думали? И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь наш род. И я тут буду, никуда отсюда не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать.

Тихонько вошла в комнату Надя и, боясь помешать, остановилась у дверей, за старухиной кроватью. Надю увидали, обернулись к ней, тогда она прошла к столу и села, опустив на колени тяжелые после работы руки. Она менялась сразу: на работе горит, а как сядет — и не слыхать, будто уснет с открытыми глазами, которые караулят, когда надо снова подниматься и бежать.

— Убралась, ли че ли? — спросила старуха, принимая Надю для разговора.

— Убралась. Корову потом выгоню, и все.

— Мужиков не видала?

— В бане они.

— Только бы не напились.

— При гостях, может, утерпит.

— Дак он не один. Гость-то там при ем.

Надя наконец сказала, зачем пришла:

— Ужинать здесь будем или на кухне? У меня уже все готово.

— Садитесь здесь,— отозвалась старуха.— Че я одна останусь. Ишо належусь одна, успею.

— Тогда я свет включу.

— Дак включай, кто тебе не велит. В потемках какая еда?

— Мужиков звать надо, нет ли?

— Они у тебя рази нечистым духом сытые? — не насмешничая, ответила старуха.— Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут не будут, пускай сами скажут.

— Я думала, может, потом им.

— А че ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день.

— Давай, Надя, я помогу тебе,— вызвалась Люся, видно, ей все-таки было неловко перед Надей за историю с простынями, и она хотела хоть чем-нибудь угодить ей.

— Сидите, сидите, я сама. Я еще подогреть хочу, уж, наверно, остыло. Сидите, я скоро.

Люся осталась.

Мужики пришли красные, как распаренные, и от этого больше похожие друг на друга. Сейчас даже посторонний человек сказал бы, что они братья: куда денешь одинаково выпирающие скулы и нахально лезущие на лоб густые, разлохмаченные брови? У того и у другого краснели шеи. У Ильи кровь прилила к голой голове, и от этого голова казалась раскаленной.

Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

— Ну как, мать, у тебя тут дела?

— А что дела? — ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать вдвоем.— Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

— Смерть не омманешь.— Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

— Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому умирать, что ли? Найдутся — ага. Свет не без добрых людей.

— Вот именно,— хохотнул Михаил.

— А ты, бессовестный, лучше бы помалкивал,— вдруг остановила, как подкараулила, Михаила Варвара.

— Что такое?

— «Ты сидера бы, морчара, будто деро не твое»,— вспомнил Илья детскую скороговорку, еще ничего не пони-

мая и все же стараясь обратить в шутку Варварины слова.

— Бесстыжий! — снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе пришлось взять разговор на себя:

— Я бы на твоем месте, Михаил, в самом деле лучше молчала.— Она говорила, отделяя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза.— То, что ты позволяешь себе с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе над ней издеваться.

— Да вы что — белены объелись?! Кто над ней издевается?

— Ты-ы.

— Я?! Что я с ней, интересно, делаю? Говори, говори, раз начала.

— Люся, Люся,— взмолилась старуха.— Ты пошто такая-то? Я ить тебя христом-богом просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня.

— Нет, пускай она скажет.

— Хорошо, мама, сейчас не будем,— неохотно уступила Люся.— Но запомни,' Михаил, разговор у нас с тобой не закончен.

— Ты посмотри на них,— обращаясь к Илье, пожаловался Михаил.— Набросились. Родные сестры называется. Ничего себе.

— Мы с тобой попозже об этом поговорим,— пообещала Люся.

— Не пугай, никто тебя не боится.

— Ты, Михаил, мать не обижай,— сказал Илья.— Мать обижать нельзя.

С Ильей Михаил не стал спорить:

— Это ты правильно говоришь. Мать обижать нельзя. Грех. Я мать никогда не обижаю.

— Мать нам жизнь дала.

— Это ты очень даже правильно говоришь.— Михаил смахнул пьяные слезы.— Я ведь все понимаю. Я больше ихнего понимаю.— Он кивнул на сестер.— Ты думаешь, почему они на меня накинулись? Потому что злятся: я их с места снял, телеграмму отправил, а мать возьми да и не помри. Вроде зря я их вызвал, вроде обманул. Я понима-а-ю.

— Ты хоть думаешь, о чем ты говоришь? Или ты совсем уж ничего не соображаешь? — вскинулась Люся.— Как тебе только не стыдно?!

— Так, Михаил, тоже нельзя,— опять поправил Илья.

— Если нельзя, не буду,— согласился Михаил.— Ты старше меня, я тебя уважать должон.

— Дело не в этом.

— Я понимаю: дело не в этом.

Пришла Надя, стала разливать суп. Все равно вышло два застолья: сначала поели мужики, и только после них сели Варвара и Люся. Старухе налили в ту же кружку немного бульона. Ели молча.

Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:

— Неужли у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Че делают?! Че делают?!

4

И опять старуха увидала утро.

Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть — очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастился, как под рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не вскрикнет. Наконец окошко, которое было ближе к утру, стало очищаться от темноты, и сквозь него глаза увидали дальше, потом проступило на своем месте и второе окошко, и с двух сторон в комнату потекли ранние и холодные, прежде солнца, сумерки.

Старуха подождала, пока света наберется больше, и, не выпуская из виду Люсю — спит ли, подтянулась ближе к изголовью, чуть отдохнула и, осторожно подталкивая руками, сняла ноги на пол. Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай бог, не кувыркнуться вперед, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы мог подумать — вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натянула одеяло, чтобы не видно было, какие они худые.

То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам так легче было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх: за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались — до того она их надергала туда-сюда. Скоро она почувствовала, что босым ногам на полу стало холодно, и

опустила под них край одеяла — вот и ноги совсем не омертвели, кровь до них еще достает.

Солнце по утрам не попадало в избу, но, когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг нее заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидала, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, еще не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала:

— Господи...

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкает подниматься сама, а она все равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, недолго разбудить; Люся в своем городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей подниматься некуда. Она сидела и слушала, как одевается Надя, потом туда и обратно взвизгнула дверь, и опять все стихло, но старуха знала, что теперь изба — как поставленная на печку посудина с варевом, которое вот-вот заходит, заговорит.

И верно, кто-то зашлепал — Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдет, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать — так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее. Нинка все же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:

— Вот ты умрешь, я всегда буду здесь спать.

— И спи, и спи,— счастливо шептала старуха, подтыкая под нее одеяло.— Здесь тебе возле печки теплей будет, а то и правда,— скоро зима. Здесь ты, как у Христа за пазухой, сберегешься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёсенька ты моя! Как большая, все понимает.

Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, и старуха прислушалась, узнавая, чья ревет скотина и кто из хозяек сегодня залежался. Она ждала, когда подаст голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее. Что это за корова, если она не стоит на месте, охота Миронихе ездить за ней со своим сиденьем по двору да надры-

вать голос? Долго ли обменять на другую? Или уж она сама не может без этого?

Нет, ни Мирониху, ни ее корову было не слыхать, будто они враз та и другая не дождались сегодняшнего дня. А ну как правда? Где же бы она вчера выдюжила, не пришла? Одна живет, никто не досмотрит. Старуха тянула голову, чтобы увидать Миронихину дверь, но глаза доставали только до крыши, а оторвать себя от кровати она боялась и со вздохом осаживала обратно.

Пялясь на улицу, старуха пропустила, когда вошла Варвара, и вздрогнула от ее голоса.

— Сидишь, че ли? — не ждала Варвара.

Испуг у старухи прошел, она похвалилась:

— Дак видишь, сидю.

— А тебе сидеть-то можно ли?

— У кого я буду спрашивать, можно ли, нельзя? Сяла и сидю.— Старуха обиделась, что Варвара не понимает, что для нее значит сидеть.

— Смотри не упади.

— Не присбирывай. Я пошто упаду-то? Упасть дак я бы без тебя давно упала, а то сидю.

— Это тебя Нинка, поди, с кровати-то согнала?

— Никто меня не сгонял, не говори здря. Я ишо до ее сяла.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались, будто на них кто ночевал. Зевая, она сказала:

— Че-то во сне видала, а че, заспала, не помню. Че-то нехорошее.

— Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?

— Проснулась, и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли че.

— Нет покуль.— Старуха забеспокоилась.— Ты соберешься, сходи к Миронихе. Сходи. Не с ей ли че доспелось? Одна ить как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверкивать.

— С чего она помрет-то?

— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли че ли? Она бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей седни не кричала. Я уж надсадилась слушать — нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдет, а седни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды...

— Налажусь, схожу.

— Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то она к мине. У меня об ей сердце тоже болит.

Люся проснулась, наверное, раньше, еще при Варваре, но зашевелилась и открыла глаза, только когда Варвара ушла.

— Разбудили мы тебя со своим разговором,— виновато сказала старуха.— Охота, дак спи, я молчком буду. И им накажу, чтоб тихонько ходили.

— Я выспалась.— У Люси даже с ночи лицо было гладкое, без морщин и опухлости.— Я сегодня хорошо спала.

— Ниче во сне не видала?

— Нет.

— А Варваре, говорит, че-то нехорошее являлось, а че, не помнит. Я уж ей сказала, чтоб она к Миронихе сходила — а ну как сон про ее? А тут Таньчоры все нету и нету. Я уж боюсь про ее и думать.

— Приедет, не волнуйся. Сегодня должна обязательно приехать.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну как все уснут, а Таньчора приедет и зачнет стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого слушать. Потом Михаил наш прибуровил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто кто его давит. Дак это и не он, это вино в ем кряхтело, видать, немаленько же они его вечор выпили. Ну, угомонились, слава те, господи. Опеть я одна. Никто не стукнет, не брякнет, лежу и сама себя слушаю. Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чем я только не передумала! И с мамкой со своей поговорела, сказалась, что вскорости буду. И про Таньчору богу помолилась, чтоб пропустил он ее к мине, когда видал где. Только бы она седни приехала, а то ить я могу и не дождаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это бог мне за-ради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету — есть, есть.

До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха рада была, что не надо молчать, за ночь она намолчалась.

— Я уж не чаяла утра дождаться — ночь и ночь. Думаю, моить, оне одна за другой тепери без дня идут, а я ни-

че не знаю. Дак нет, люди-то спят, не просыпаются. А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза все одно закрываются. Привыкли, подимте, по ночам закрываться — какой с их спрос? Я не даю им, боюсь: а ну как усну и боле не проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сымают. Ну, дождалась. Светать стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр пролежала.

— Сегодня села, завтра встанешь,— убирая после себя постель, терпеливо сказала Люся.— Встанешь и пойдешь. И не будешь больше говорить, что ты чужой жизнью живешь.

— Чужой и есть,— повторила свое старуха.

Люся не стала спорить, убрала раскладушку и, оглаживая себя, остановилась у окна. День начинался с охотой, воздух был в солнце и веселил простор над деревней, не скрадывая, показывал его весь, до самого конца. Река искрилась, лес за рекой, поднимающийся по горе вверх, казался ближе, чем он есть, но его не по времени яркую зелень притушило солнцем. Повсюду было тихое, спокойное сияние, и только в деревне одиноко чернели тени, но их, словно боясь запнуться, обходили даже собаки.

И не понять, не разгадать было, отчего вчера наваливался туман, а сегодня так тихо, никаких помех. Люся вспомнила вчерашний разговор о рыжиках и решила, что сегодня самое подходящее время, чтобы идти в лес. Только бы все хорошо было с матерью.

Люсю оторвала от окна Варвара, еще с порога она закричала — будто принесла бог знает какую радость:

— Вспомнила, матушка, вспомнила.

— Че вспомнила?

— Да сон-то. Сон-то и правда нехороший. Я тебе сразу сказала, нехороший сон — так оно и есть. Я как знала.

— Ну-ну? — заторопила старуха.

— Вот будто сидим мы, бабы, кругом, а бабы все какие-то незнакомые, ни одной не знаю. Вот будто сидим мы и лепим пельмени. И как ты думаешь, че мы в начинку-то в них кладем?

— Откуль я знаю — че ты меня спрашиваешь?

— Грязь.

— Че кладете?

— Грязь. Под ногами у нас грязь, мы ее вместо мяса и берем. И такие будто радые, что у нас пельмени-то с

грязью будут. Прямо смеемся от радости. А я еще и говорю: «Вы, бабы, почему плохую-то грязь берете, какие у нас так пельмени выйдут? Никакого навара. Вот здесь у меня грязь пожирней, ее берите». Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня всю дрожью обдает.

— А дальше-то че-нить было, нет?

— Нет, больше ниче не помню. А пельмени как сейчас вижу: такие на противне лежат белые да аккуратные, прямо один к одному. Нехороший сон, я сразу сказала, что нехороший.— Варвара испуганно качала головой, спрашивала:— К чему бы это? Вот беда-то! Я бы знала, я бы и спать не ложилась, чтоб мне не видать его. А теперь вот че делать?

— Ты свои сны лучше бы при себе держала,— посоветовала ей Люся.

— Если я его видала, как я должна говорить, что не видала?

— Ну и ела бы свои пельмени сама. Неужели ты не понимаешь, что маме не до них? Она и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живет, а тут еще ты со своими снами. Такая чуткость, что просто с ума сойти можно.

Люся рассерженно вышла, дверь после нее до конца не закрылась и, противно поскрипывая, стала отходить.

— Притвори ее,— попросила старуха, но Варвара не поняла, жалуясь, забормотала:

— Че ни скажи, все не так, все не так. Ой-ёшеньки! Кругом Варвара виноватая, одна Варвара, больше никто. Теперь уж у нее и во сне смотреть нет права. А я как от них буду закрываться, если я сплю, а они сами мне в глаза лезут. Я их не зову. Мне че, теперь и не спать совсем?

— А ты не все слушай, че тебе говорят.

— Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.

— Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша,— пожалела ее старуха и, вспомнив, перебила себя: — Я тебе сказала к Миронихе-то сходить, ты сходила к ей, нет?

— Нет еще.

— Дак ты пошто не сходишь-то?

— Счас пойду.

— Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдет. Не доспелось ли с ей че? Тут тебе через до-

рогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня заказывала. Я ить ее уж сколь не видала.— Варвара пошлепала к выходу, и старуха крикнула ей вдогонку:— Да дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то застудю.

С непривычки она уже устала сидеть, но Нинка развалилась как раз посреди кровати, и старухе приходилось терпеть. А трогать Нинку жалко. Пересиливая ломоту в спине, старуха согнулась и подобрала руки к животу — теперь спина была сверху и вроде притихла. Старуха немножко отдохнула, но долго сидеть так, скрючившись в три погибели, она посчитала тоже опасным — недолго было и нырнуть — и опять разогнулась, расправляя спину, покачалась на месте и вздохнула.

В окошко забарабанили, Варвара с улицы прокричала:

— Матушка, слышь, матушка, нету твоей Миронихи дома. Надя говорит, она утром на нижний край убежала.

— Ну-ну,— поняла старуха и, помолчав, сказала себе:— Опеть куды-то и ухлестала. Ой, в кого она только такая бегучая?

— Ты сидишь? — спросила Варвара.

— Сидю, сидю.

Заворочался в той комнате Михаил, кряхтя и спотыкаясь, проволок себя в сени, забренчал там ковшиком. Дверь, конечно, не прикрыл, будто он один в избе живет, никого больше нету. Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одеяло свои ноги. Но холод все равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он самый.

Она сжалась, примолкла.

— Землю во сне видать — это, однако, и не к худу совсем,— неуверенно сказала потом она и огляделась.

День уже целиком вышел на люди, пошел свободней, быстрей.

5

Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он еще чувствовал ее прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дернулся, и вода бесполезно булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли еще, и не стал пить — все равно никакого толку, толь-

ко лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на крыльцо. Ему были противны сейчас и солнце, и начинающееся тепло — в дождь или в ветер все-таки легче, хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомятине поправишься, конечно, не скоро. Он был в майке и босиком, но даже не отличил улицу от избы, ему все казалось одинаково пресно и мутно.

Чтобы не стоять, Михаил опустился на ступеньку и сразу поднялся: слабые, угарные мысли о вчерашнем все-таки донесли ему воспоминание о водке, которая ждала в кладовке. Удивительно, до этого он почему-то ни разу не подумал о ней — скорей всего по привычке: у него никогда не бывало столько выпивки сразу, да и вообще уже давным-давно ни капли не оставалось на утро. Он еще постоял, помедлил; он-то знал точно, что вчера они с Ильей и в самом деле притащили целый ящик водки и за один присест при всем желании не могли выпить ее полностью, и все-таки сам же не поверил себе: ну да, расскажи кому-нибудь другому... В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламье и счастливо сморщился — в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу на него ударили закупоренные бутылки. Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине. Надо же, всю ночь простояла, и ничего. Михаил достал еще одну бутылку и, торопясь, сунул ее себе в карман штанов.

Он сел отдохнуть на то же самое место, откуда перед тем поднялся. Тошнота не прошла — нет, до этого было далеко, но тело от знакомого и желанного обещания заметно взбодрилось. Чует ведь, еще как чует! Теперь можно было немножко и посидеть, похитрить над похмельем — вроде и маешься от него, жить не можешь, а сам знаешь, что скоро ему придет конец. Оттого и не боишься посмотреть, что это был за зверь, что понимаешь свое близкое освобождение. Такая уж у человека натура. Вот так же хорошо почувствовать себя до смерти усталым, и ведь не когда-нибудь, а именно перед сном, когда можно об этом и не вспоминать. Тоже хитрость. Какая-никакая, а хитрость.

Он бы еще посидел, подразнил в себе похмелье, но услышал с огорода голос Нади и решил, что ему незачем встречаться с ней. Успеется. Что она может ему сказать сейчас, он знал и без того. Хотел еще зайти в избу, чтобы обуться, но представил, как неловко будет обуваться с бу-

тылкой в кармане, к тому же потом легче легкого натолкнуться на Надю или на кого-нибудь из сестер, и не пошел, так, босиком, и направился туда, куда держал путь с самого начала,— в баню, к Илье.

Илья как ни в чем не бывало спал. Никаких ему забот, никаких страданий, будто он до поздней ночи молотил. Михаил присел перед ним на низенькую чурку, притащенную вчера с улицы, и сунул бутылку за курятник. Здесь же, в бане, стоял и курятник, в котором зимой держали куриц и который по надобности служил вместо стола. Вот и вчера выпивали за ним, и ничего, не жаловались. Две бутылки до сих пор стояли на виду, третья каким-то чудом залетела в курятник, хотя дверца была закрыта, и валялась там на боку. Тоже ничего хорошего не скажешь про эту бутылку — если кто зайдет, всякое может подумать. Не курицы же ее выпили. Михаил хотел достать бутылку, но надо было подниматься, перешагивать через Илью, и он плюнул: раз пустая, пускай лежит, потом поднимется сама.

— Илья! — позвал он. Это было сегодня его первое слово, и без пробы оно вышло нечисто, с хрипом. Вот до чего запеклось все внутри, что и слова не выговоришь. Откашлявшись, Михаил поправил голос: — Слышь, Илья!

Илья прислушался во сне, дыхание его переменилось.

— Вставай, хватит тебе спать.

— Рано же еще,— не открывая глаз и не двигаясь, буркнул Илья. Стоило только промолчать или замешкаться со словами, и он бы опять уснул, потому что до конца не проснулся и не хотел просыпаться, хватался за свой сон, будто мальчишка, которого вечером не уложишь, утром не поднимешь.

— Какой там рано! День уж.

— Чего вам тут не спится? Вчера Варвара подняла, сегодня ты. Легли ведь черт знает когда.

— Как ты? — не слушая его, спросил Михаил.

— Не знаю еще. Вроде живой.— Илья все-таки открыл глаза.

— А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то с отдыхом.

— Перестарались вчера — ага.

— Я утром еще не очухался, а уж вижу: все, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься — упасть охота. Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет!

— Мне наутро спать надо — ага. Все подчистую могу переспать, будто ничего и не было. Это уж точно. Только не тревожь меня.

— Ишь как! — позавидовал Михаил.— Организм, что ли, другой? Родные братья — вроде не должно бы.

— Ей все равно: братья — не братья.

— Но. Это нам еще повезло, что мы с тобой белую пили. А с той совсем бы перепачкались, я бы сегодня не поднялся. Не поднялся бы, как пить дать не поднялся. Я уж себя знаю.

— Мне с красной тоже хуже.

— Покупная, холера, болезнь.

— Что?

— Покупная, говорю, болезнь.— Михаил показал на голову.— Деньги плочены.

— Это точно.

— Я еще лет пять назад ни холеры не понимал. Что пил, что не пил, наутро встал и пошел. А теперь спать ложишься, когда в памяти, и уж заранее боишься: как завтра подниматься? Пьешь ее, заразу, стаканьями, а выходит она по капле. И то пока всего себя на десять рядов не выжмешь — не человек. Плюнешь и думаешь: все, может, меньше ее там останется, хоть сколько да выплюнул. Всю жизнь вот так маешься.

— Это анекдот есть такой,— вспомнил Илья.— Мать отправляет свою дочь отца искать — ага. «Иди,— говорит,— в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему еще быть? Дочь к нему: «Пойдем, папка, домой, мамка велела». Он послушал ее и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» Она отказываться, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и закашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, растуды вас туды, думаете, что я здесь мед пью?»

— Но,— засмеялся Михаил.— Они думают, мы мед пьем. Думают, нам это такая уж радость.

— Не слыхал этот анекдот?

— Нет, не слыхал. Очень даже правильный анекдот. Жизненный.— Михаил помолчал, задумчиво покивал всему, о чем говорилось, и решил, что больше тянуть нечего.— Так что, Илья,— сказал он и достал из-за курятника бутылку.— Поправиться, однако, надо.

— Ты уж притащил.— Голос у Ильи дрогнул так, что не понять было, испугался он или обрадовался.

— Шел мимо и зашел. Чтобы потом не бегать.

— А может, лучше пока не будем? Подождем?

— Ты как знаешь, а я выпью. А то я до вечера не дотяну. Похмелье, оно задавить может. И так уж едва дышу. Придется вам тогда меня вместо матери хоронить.

— Как там мать-то?

— Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали.

— Это точно, сказали бы.

— Ну как — наливать, нет? — раскупорил Михаил бутылку.

— Наливай — ладно. За компанию.

— И правильно.

— Закусить-то совсем нечем?

— Нечем. Если хочешь, сходи, а я сейчас не пойду. Ну их! Они думают, мы здесь мед пьем.

— Мне-то неловко там шариться.

— А что ты — чужой человек, что ли? Возьмешь, что надо, и обратно.

— Ладно, давай так. Сойдет.

— Сойдет, конечно. И пить — помирать, и не пить — помирать, уж лучше пить да помирать,— как молитву, прочитал Михаил и выпил, с затаенным вниманием подождал, пока водка найдет свое место, и только тогда осторожно опустил стакан на курятник.— Они думают, мы тут мед пьем,— прыгающим, перехваченным голосом повторил он опять слова, которые все больше и больше грели его душу.

Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

— Ну как? — поинтересовался он.

— Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперек горла встанет, не протолкнешь. Ее для первого раза завсегда надо на испуг брать.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашел. Кроме того, взяла верх своя привычка — пить первым, а после нее он уже забывал о всяких там провожаньях, хотя для Ильи, быть

может, это значило совсем другое. Михаил не спрашивал, да и как об этом станешь спрашивать?

Баня, если осмотреться, больше походила на кухню, и не только из-за курятника. Она и была ненастоящая, настоящая, которая стояла в огороде, сгорела три года назад. После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар. Полка, где парятся, в ней не было, вместо каменки топили железную печку и грели на ней воду — не баня, а одно названье. Но ничего, обходились, а париться Михаил напрашивался к соседу Ивану. Ставить новую баню он так и не собрался, да и то — шуточное ли дело одному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая крупная, что не налюбуешься. Во всей деревне картошка только-только горохом берется, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, а худа без добра.

Михаил сидел возле окошка и заранее увидал, что к ним, в баню, как танк, прямым ходом направляется Варвара. Ругнувшись, он убрал с глаз бутылку. Варвара перевалилась через порог и прищурилась — после улицы ей показалось в бане совсем темно.

— Это ты, че ли? — вгляделась она в Михаила.

— Нет, не я. Исус Христос.

— Да ну тебя! Откуда я знаю, здесь ты или не здесь. Я думала, Илья один. Пришла ему сказать, что матушка-то у нас уж сидит.

— Сидит?

— Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не поверила. Она сидит, смотрит. Ноги вниз опустила...

— Голову наверху держит?

— Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо,— упрекнула Варвара.— Про матушку нашу нельзя так говорить. Она нам матушка, не кто-нибудь.

— С чего ты взяла, что я подсмеиваюсь?

— Пойдите сами поглядите. Сидит. Кто бы мог подумать? — Варваре очень хотелось, чтобы и братья тоже увидели сейчас мать и обрадовались, и она повторяла:— Вот пойдите, пойдите поглядите, как матушка сидит. А то потом скажете, что Варвара придумала.

— Так а что глядеть, пускай сидит,— отговорился Михаил.— Сильно-то надоедать ей не надо. Смотрите только, чтобы она у вас не упала.

— Нет, нет, она хорошо сидит.

— Мы потом, попозже придем,— пообещал Илья.

Варвара внимательно осмотрелась и, не найдя, что сказать, уже развернулась уходить, но Михаил задержал:

— Там Надя дома, нет?

— Дома. Все дома. И Люся и матушка наша дома.

— И матушка, говоришь, дома?

— Да ну вас! — поняла Варвара.— С вами только свяжись. Пойду я.

— Иди, иди. Карауль там мать, а то она куда-нибудь убежит, искать потом надо.

Варвара с опаской сступила с предамбарника — он был высокий, а на землю перед ним никто почему-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить — и приостановилась, решая, куда теперь пойти. Радости после разговора с братьями в ней убавилось немного, и она не давала ей покоя. Вот если бы братья пошли к матери, тогда другое дело: она бы тоже пошла, чтобы своими глазами увидать, как они удивляются матери, которая еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть — ну совсем как здоровый человек. Но братья остались в бане, далась им эта баня, будто она дороже родной матери, и Варвара теперь не знала, что делать. Она вспомнила свой сон с пельменями и вовсе забеспокоилась. Нехороший сон, ой, нехороший. У кого бы спросить о нем, кто может знать? С Люсей не поговоришь — вон как она буркнула на Варвару, а Надя вся в делах, ей некогда. Варвара сдвинулась с того места, на котором стояла, и остановилась на другом, потопталась, растерянно оглядываясь по сторонам, и только после этого решила выбраться за ворота — там люди.

Едва успела Варвара переступить через порог, Михаил, не медля, выставил опять на курятник свою бутылку и даже пристукнул ею, чтобы почувствовать момент. С той поры, как он пришел сюда, он заметно повеселел, лицо у него загустело, глаза ожили.

— Так что, Илья,— приготовился он.— Вроде дело на поправу пошло. Самое время добавить. Как бы не опоздать, а то потом догоняй не догонишь.

— Я без закуски больше не могу,— отказался Илья.— Хоть бы корку какую-нибудь для занюха — ага, и то ладно. А так — это гиблое дело. Раз, два — и готовы. Никакого интереса.

— Может, луковицу в огороде сорвать?

— Луковица нас с тобой не спасет. Это точно. Тут даже соли нету.

— С закуской оно, конечно, надежней,— согласился Михаил и тоскливо помолчал.— Подождем — что ж делать! Идти сейчас туда мне совсем неохота. Начнется опять. Вот Надя выглянет куда-нибудь, я сбегаю

— Ты, если хочешь, выпей.

— Подожду, куда торопиться. Я один не уважаю ее пить. Она тогда, холера, злее. С ней один на один лучше не связываться, я уж ее изучил.

— С ней, говорят, вообще лучше не связываться.

— Говорят, Илья, говорят, я тоже слыхал. Люди много чего говорят, успевай только слушать. Конечно, кто не пьет, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим делом связался, аппетит поимел — не знаю...— Михаил долго качал головой.— Не знаю, Илья, не знаю. Все равно потянет — я так считаю. Большая в ней, холере, сила, попробуй справься. Надорваться можно. Я так и не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом перестал — чего себя и людей обманывать. Без пользы. Теперь так думаю: хорошее это дело или плохое, а мне от него все равно никуда не деться. И нечего стараться, людей смешить. Оно конечно, пить тоже надо уметь, как в любом деле. Мы ведь ее пьем, пока не напьемся, будто это вода.

— Пить надо уметь — это точно.

— Ты-то часто пьешь?

— Я на машине, мне часто нельзя. В городе с этим строго — ага. И баба у меня с ней никак не контачит. Но уж если где без бабы да без машины, обязательно зальюсь. До самой пробки.

Михаил покосился на бутылку — тут ли, спросил:

— Может, выпьешь все-таки? Потом побольше закусишь.

— Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.

— Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало.— Он и правда плеснул в стакан немножко и, не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость.— Ну вот,— шумно выдохнув, сказал он.— Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, значит, не робей.

— Ухи сейчас бы неплохо — ага.

— А все почему пьем? — не сбился Михаил и покивал себе, подождал, не скажет ли что Илья. Илья мол-

чал.— Вот говорят, с горя, с того, с другого. Не-ет. Это все дело десятое. Говорят, по привычке, а привычка, мол, вторая натура. Правильно, привыкли, как к хлебу привыкли, без которого за стол не садятся, а только и это не все, для этой привычки тоже надо иметь причину. Я так считаю: пьем потому, что теперь такая необходимость появилась — пить. Раньше что было первым делом? Хлеб, вода, соль. А теперь сюда же еще и она, холера, добавилась.— Михаил кивнул на бутылку.— Жизнь теперь совсем другая, все, посчитай, переменилось, а они, эти изменения, у человека добавки потребовали. Мы сильно устаем, и не так, я скажу тебе, от работы, как черт знает от чего. Я вот неделю прожил и уж кое-как ноги таскаю, мне тяжело. А выпил — будто в бане помылся, сто пудов с себя сбросил. Знаю, что виноват кругом на двадцать рядов: дома с бабой поругался, последние деньги спустил, на работе прогулов наделал, по деревне ходил попрошайничал — стыдно, глаз не поднять. А с другой стороны, легче. С одной стороны, хуже, с другой — лучше. Идешь опять работать, грехи замаливать. День работаешь, второй, пятый, за троих упираешься, и силы откуда-то берутся. Ну, вроде успокоилось, стыд помаленьку проходит, жить можно. Только не пей. Нет. С одной стороны, теперь легче, а с другой — все труднее и труднее, все подпирает тебя и подпирает.— Михаил махнул рукой.— И опять забурился. Не вытерпел. Все пошло сначала. Устал, значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьет. Ему она вместе с хлебом понадобилась, потому что в нем такая потребность заговорила. Как ты считаешь?

— Потребность — это точно,— согласился Илья.— Пьем сразу по способности и по потребности. Сколько войдет.

— А как не пить? — продолжал Михаил.— День, второй, пускай даже неделю — оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Ничего впереди нету, сплошь одно и то же. Сколько веревок нас держит и на работе и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, все должен, должен, должен, и чем дальше, тем больше должен — пропади оно пропадом. А выпил — как на волю попал, освобожденье наступило, и ты уж ни холеры не должен, все сделал, что надо. А что не сделал — не надо было делать, и правильно сделал, что не делал. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, ка-

кой дурак? Выпивка, она ведь вначале всегда как праздник. Если бы с ней еще меру знать.

— Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы.

— Оно конечно, не было бы. С другой стороны, скажи мне сейчас, мол, хватит, остановись — разве я остановлюсь? Хотя оно, может, и правда хватит: вроде полегчало, теперь, ясное дело, на другой бок пойдет. А все равно мне еще надо, такая у меня натура. Она пока свое не возьмет, ее лучше не удерживай. Она не любит выгадывать, делать только наполовину, ей все надо до отвала, всласть. И работать и пить. Сам знаешь.

— Сколько у тебя в месяц выходит?

— Чего в месяц? Вина, что ли?

Илья засмеялся:

— Вино ты без бухгалтерии пьешь, я знаю. Я спрашиваю, какой у тебя заработок — ага, сколько ты денег в месяц получаешь?

— Заработок... Когда как, Илья. Заработки теперь, если хочешь знать, не те. Механизаторы у нас еще загребают, а мы, кто на своих ногах ходит, нас попридержали. Мне против старого, вот как в первые годы было, почти вполовину только начисляют. Раньше две-три баржи нагрузил и можешь спокойно в потолок поплевывать. Правда, и работали. Ох, работали, не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил — отцепил, смотри только, чтоб не придавило. И везде так, кругом машины вместо людей, техника.

— Легче с ней, с техникой-то.

— Легче, конечно, кто спорит. Далеко легче. Не надрываемся.— Михаил ненадолго задумался и вдруг с чувством сказал: — А все-таки тогда как-то интересней было. Взять те же баржи. Любил я эту погрузку, и даже не из-за денег, хоть и деньги там были тоже не маленькие, а из-за самой работы. По двое суток с берега не уходили. Пока не нагрузим, все там. Еду нам ребятишки в котелочках принесут, поели и опять. Азарт какой-то был, пошел и пошел, давай и давай. Откуда что и бралось! Вроде как чувствовали работу, считали ее за живую, а не так, что лишь бы день оттрубить.

— Тогда ты был помоложе, поздоровей.

— Помоложе-то помоложе... Дело не в этом. Вспомни, как при колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не приходилось.

Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили — и плохое, и хорошее. Правда, что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился.

Скрипнула дверь в избе, и Михаил вскинул голову. Вышла Нинка — не Надя. Она огляделась — никого нет, покружила возле поленницы и моментом юркнула за нее. Михаил подождал, пока Нинка сделает свое дело, и высунулся в дверь:

— Нинка, иди-ка сюда.

— Заче-ем? — испугалась девчонка. Она никак не ожидала, что за ней могут следить из бани.

— Иди-иди, голубушка, тут все узнаешь.

— Я больше не бу-у-ду.

— Иди, тебе говорят, пока я тебе не всыпал.

Озираясь, Нинка бочком влезла в баню, заранее запыхтела.

— Тебе сколько можно говорить, чтоб ты место знала? Ноги у тебя отвалятся, если ты добежишь куда надо?

— Я больше не бу-у-ду.

— «Не бу-у-ду». Только одно и заучила. Мне с тобой уж надоело разговаривать. Вот сейчас возьму и выпорю тебя, чтоб помнила. А дядя Илья посмотрит, понравится это тебе или нет. Я знаю: у тебя одно место давно уж чешется. Уважить его надо, почесать, раз такое дело.

Нинка запыхтела сильнее.

— Ну, что молчишь?

— Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьешь,— быстрым говорком предупредила Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.

— Я вот те скажу! — взвился Михаил.— Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты родного отца закладывала? Мамке она скажет. Вот вша какая! — пожаловался он Илье.— От горшка два вершка, а туда же. Ты погляди на нее.

— Тогда не дерись.

— Никто с тобой не дерется — помалкивай. Хотя, оно конечно, следовало всыпать на память за такие фокусы.

— Ладно, отпусти ты девчонку,— пожалел Нинку Илья.— Она больше не будет.

— Будешь, нет?

— Не буду,— проворно пообещала Нинка и выпрямила голову, глазенки сразу забегали по сторонам, схватывая все, что она не успела заметить.

— Ишь, шустрая какая. «Не буду» — и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? Погоди, не торопись. Успеешь, не на пожар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна принести чего-нибудь закусить. Поняла?

— Поняла.

— Ни холеры ты не поняла.

— Я мамке скажу, она даст.

— Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, что ли? Забудь ты про нее. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала и не слыхала. Теперь поняла?

— Теперь поняла.

— Посмотри там на столе или в кладовке и потихоньку принеси. А я тебе потом за это бутылку дам.— Михаил отставил в сторону вчерашнюю пустую бутылку.

— Да-а,— навострилась Нинка.— Ты дашь, а сам же и отберешь.

— Не отберу, не отберу. Беги.

— А тогда отобрал.

— Тогда отобрал, а сейчас не буду. Сейчас у меня свои есть. Вот дядя Илья свидетель, что не отберу.

— Я свидетель,— хлопнул себя по груди Илья.

Нинка стояла.

— Ну, что тебе? Беги скорее.

— Мне две надо,— Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.

— Две дам, только беги Христа ради.— Михаил присоединил к первой бутылке вторую.

Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до завтрака. Хлеб — это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было все-таки маловато для утренней выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нинка полезла и спустила в подоле пять яиц, вместе с подкладышем, который лежал там, наверно, с весны и который Михаил по своей привычке глотать все залпом и не смотреть, что

глотает, умудрился все-таки после водки проглотить. Хоть и не на чистый желудок, а все равно у него глаза полезли на лоб и стало всего выворачивать, так что пришлось эту закуску запивать опять водкой, чтобы промыть горло. Долго он еще плевался и матерился и яйца больше пить не стал, ломал один хлеб.

За яйца Нинке отдали третью бутылку, которая валялась в курятнике, а за то, что сбегала за солью, пришлось пообещать и четвертую, еще не допитую. Карауля ее, девчонка не шла из бани. Показываться в избе ей не имело никакого интереса еще и потому, что даже здесь было слышно, как Надя ищет хлеб, который будто корова языком слизнула. Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазенками посматривала на мужиков, с которыми она чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко связала ее с ними, и Михаил мог быть спокоен: Нинка не выдаст. Скоро ей опростали и эту бутылку, и она потащила ее прятать туда же, за поленницу. Потом пооколачивалась в ограде и, как обычно, кругами стала приближаться к избе. Видно, захотела есть.

После водки разговор у мужиков пошел опять бодрее. Только один раз и помялись, ослабли, это когда Илья захотел оправдаться, что ли, перед кем-то за неурочную выпивку и сказал:

— А что делать? Возле матери нам находиться, я считаю, больше незачем — ага. Сам видишь, она уж села. Того и гляди побежит.

— Это она может,— мотнул головой Михаил.

— Скажи все же, а! Ни за что бы не подумал. Готовенькая ведь лежала, ничего будто не осталось, а вот что-то подействовало. Ну, мать! Ну, мать!

— Мать у нас еще та фокусница.

— Правда что смерть свою перехитрила.

— А я тебе так скажу, Илья: зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже. Я это тебе только говорю — чего уж мы будем друг перед дружкой таиться? Все равно ведь помрет. А сейчас самое время: все собрались, приготовились. Раз уж собралась, ну надо было это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение. А то я ей поверил, вы мне поверили — вот и пошло.

— Что уж ты так? — возразил Илья.— Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.

— Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно

конечно, требовать с нее не будешь: чтоб сегодня духу твоего здесь не было, и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько еще побудет и все равно отмается. Помяни мое слово. Не зря у нее это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должон телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, приедет, а кто так обойдется. И выйдет все в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься.

— Как же не приехать?

— Всякое может быть. Вот Татьяна и теперь не едет.

— Татьяна — ага. Она как знала, не торопится.

— В том-то и дело, что не знала и не торопится. Если она и сегодня еще не приедет, мать с ума сойдет. Она и так-то надоела нам со своей Таньчорой: то во сне ее увидит, то еще как. Ты не живешь тут, не знаешь.

— Приедет. Получить такую телеграмму и не приехать, я не знаю, как это называется.

— Ну, если приедет, выпьем. Встретить надо как полагается. Сестра.

— Выпьем — ага, куда денемся?

— А и не приедет, все равно выпьем,— нашелся Михаил.— Все равно выпьем, Илья. У нас с тобой положение безвыходное.

— А что теперь делать? — с задумчивой веселостью поддержал его Илья.— Выливать теперь не будешь.

— А кто нам с тобой позволит ее выливать? Это дело государственное. Это дело такое.

— Теперь, хочешь не хочешь, надо пить.

— Как ты интересно говоришь, Илья. «Не хочешь». Так вопрос ставить тоже нельзя. Выпьем — почему же не хочешь? Раз надо — выпьем,— настаивал Михаил.— Можем мы взять на себя такое обязательство? Мы с тобой не каждый день видимся.

— Можем. Почему не можем?

— Это дело другое.

И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить — тем более что водка была рядом, хоть залейся, и за нее наперед заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку. Он ушел, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на которой он, не поднимаясь, елозил все утро, промялся до двора.

До сапог до своих Михаил в этот раз так и не добрал-

ся. Сначала он зашел в кладовку. Зашел — и в глазах потемнело: почти половина ящика была бессовестно разграблена. До сапог ли тут было? Михаил подхватил полегчавший ящик и кинулся обратно: пока оставалось что спасать, надо было спасать, через минуту могло не остаться и этого.

В бане он долго отводил душу — матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было пристать с ножом к горлу: отдавайте, и все. Водку вчера брали по другой причине и брали на общие деньги. Конечно, у мужиков на нее прав больше, на то они и мужики, но это ведь только у трезвых есть права, а у пьяных они, как известно, вечно под сомнением. Так что приходилось делать вид, будто ничего не произошло, все на своих местах, и оглядеться, выждать удобный момент.

Они только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка и с порога заявила:

— Мамка нехорошая.

— Твою мамку повесить мало,— отозвался еще не остывший от злости Михаил.

— Давай, папка, повесим ее и поглядим.

— У меня-то бы не заржавело, да сильно много чести ей будет.

— А что она тебе сделала? — спросил у Нинки Илья.

— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ниче не видала, а сама говорит, что видала.

— Это она тебя на понт берет. Не соглашайся,— предупредил Михаил.

— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.

— А вот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила.

— Она нехорошая,— набычилась Нинка.

— Ну так что говорить. У меня к ней претензии, может, побольше твоих.

— Они про вас говорят, что вы загуляли.— И говорят, что теперь надолго,— докладывала Нинка.— А про тебя, папка, говорят, что ты пьянчужка, больше никто, и что это ты во всем виноват.

— Ишь что при девчонке болтают,— с горькой укоризной покачал головой Михаил.— Никакого понятия:

можно, нельзя... А ты не слушай,— потребовал он от Нинки.— Они там наговорят. Кому ты веришь: нам или им?

— Вам

— То-то. Нас держись, с нами не пропадешь. А их не слушай.

Мужики снова принялись за бутылку. Нинка, приободренная отцом, терлась тут же, брала у него стакан с водкой, нюхала и фыркала, потом нюхала пустой стакан и тоже фыркала, как ровня лезла в разговоры и зорко следила за тем, как убывает в бутылке, подбивая мужиков наливать побольше. Михаил жалел ее, не гнал от себя. И, как вышло, правильно делал.

Нинка спросила:

— Папка, а невылитые бутылки в магазине принимают, нет? — Ей пришлось задавать этот вопрос раза три или четыре, потому что Михаил разговаривал с Ильей и ему было не до Нинкиных глупостей.

— Это какие такие невылитые? — оторвался наконец он.

— Ну, которые не выливаются. Я их выливала, а они не выливаются.

— Что ты из них, интересно, выливала? — Михаил говорил еще туда и сюда.

— А вино.

— Какое вино?

— Пускай не говорит на меня, что это я хлеб украла. Не видала и пускай не говорит.

— А какое вино ты выливала? — Михаил нагнулся над Нинкой и держал ее в руках, но держал осторожно, ласково, чтобы не вспугнуть.

— Какое, какое! Такое. В бутылках. Только бутылки никак не открываются.

— Где ты их взяла? — спрашивал Михаил и переглядывался с Ильей.

Нинка и не собиралась ничего скрывать, к отцу у нее было сегодня полное расположение.

— Ты мне сам дал,— рассказывала она.— А у нее я сама взяла. Не будет говорить на меня. Не видала и не говори.

— Так. А где сейчас эти бутылки, которые ты у нее взяла?

— А в муке.

— Где?

— В муке. Они в кладовке спрятанные стояли. Это

она их спрятала. Она думала, я не найду, а я вперед ее нашла. Там такая клетка есть, они в клетке стояли. Там еще есть.

— Понятно,— крякнул Михаил.— Все теперь понятно. Не выливаются, говоришь? А ведь вылила бы,— простонал он.— Ты куда их выливала-то? На пол, что ли? — Он спрашивал и жмурился от боли, представляя, как водка, будто какое-нибудь пойло, выплеснутая на пол, впитывается в дерево.

— Нет. Я в муку хотела. Чтоб она мокро не увидала.

Больше Михаил не в силах был играть в жмурки. Грозя Нинке подрагивающим пальцем, он потребовал:

— Чтоб об этих бутылках ни одна душа не узнала. Поняла?

— Поняла.

— Чтоб ни одна душа не узнала,— застряло у Михаила.— Поняла?

— Поняла.

— А то смотри. Скажешь — ой, плохо будет.

— Их невылитые все равно не принимают,— попытался смягчить Михаилову суровость Илья.

— Их и вылитые не принимают. Их выпитые принимают. Поняла?

— Поняла.

— Как это ты быстро все понимаешь? Просто завидки берут — до чего толковая девка. А теперь иди. Иди-иди,— выпроваживал Нинку отец.— Гуляй. Нечего тебе тут с мужиками сидеть. И на носу заруби, что я тебе сказал. Чтоб ни одна душа. Бутылочница нашлась. В куклы играй, а не в бутылки.

Он закрыл за Нинкой дверь и отдышался:

— А ведь она, холера, и правда понесла бы их сдавать. Умишко-то детский. Невылитые — ишь ты! А там за милу душу приняли бы за те же двенадцать копеек. Полной фактурой и за двенадцать копеек. Им-то что, только давай, подноси. Вот холера так холера. И ведь разыскала. Ну, оторви голова растет. Оторви да выбрось.

Нинка тем временем, оглядываясь, вышла на середину двора, оттуда, с безопасного расстояния, пригрозила в сторону бани:

— Папка нехороший.

И отправилась к матери.

С утра Люся еще побыла со старухой, чтобы знать, как она, и, сказавшись ей, стала собираться в лес. После того как поднялась Нинка, старуха уложила себя на место и задремала, но близко и сторожко, вскидывая при каждом шорохе глаза. Видно было, что сегодня ей стало намного лучше и уйти от нее можно было безбоязненно.

Идти на гору Люсе не очень и хотелось, но чем заняться еще, она не нашла. Не сидеть же весь день дома. Сначала, не подумав, она позвала с собой Надю, и та согласилась, но затем сама же и отговорила ее, потому что, во-первых, с ней надо будет вести о чем-то разговоры, к которым Люся не была расположена, а кроме того, оставлять мать на одну Варвару показалось опасным — совершенно беспомощный человек, ничего не сделает. На мужиков рассчитывать больше не приходилось, за ними за самими нужно присматривать, чтобы они чего-нибудь не натворили и не лезли к матери. Пьяных старуха не переносила, и от них ей могло сделаться хуже.

Собиралась Люся долго. Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу и чтобы выглядеть прилично, без той случайности в одежде, которая выдает безвкусицу. Не для людей — в лесу она могла никого и не встретить, а для себя — от раз и навсегда заведенного правила одеваться аккуратно. От этого зависит и настроение, и даже дела. Люся верила, что неудачи тоже с глазами, и прежде чем пристать к кому-нибудь, они видят, как человек держится, чего он стоит и даже то, как он выглядит внешне. На крепкого, благополучного человека они редко решаются нападать.

Подходящая темная кофта у Нади нашлась; что надеть еще, Люся никак не могла выбрать. Надя принесла ей свои шаровары и сапоги, но Люся отложила их в сторону — это не для нее. Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что ей выпадет здесь идти за грибами. Когда собиралась сюда, думала о другом. Она уже готова была никуда не ходить, коли не в чем идти, да услышала с улицы голос возвращающейся Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть из нее душу своим хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Хоть и в них, лишь бы уйти. Очень уж не хотелось оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговари-

вать — ни жалеть, ни подбадривать. Родня, близкая родня, с которой надо вести себя как-то по-другому, чем со всеми остальными людьми, а она вовсе не чувствовала особой, кровной близости между собой и ею, только знала о ней умом, и это вызывало в ней раздражение и против себя — оттого, что она не может сойтись с ними душевно и проникнуться одним общим и радостным настроением встречи, и против них, и даже против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать — именно потому, что напрасно. И сколько ей еще жить здесь, никто не знает. День, два, три? А может, больше?

Чтобы не встретить деревенских, Люся, минуя улицу, прошла в переулок через огород и поднялась на первую, рядом с деревней, гору. Она с самого начала решила, что не будет торопиться, для нее важно было пройтись по лесу, подышать свежим воздухом — то, ради чего в выходные она выезжает за город за многие километры. А тут лес вот он, рядом. Непростительно было бы не использовать счастливо появившуюся возможность побывать в нем без лишних хлопот: не надо договариваться о машине, набирать с собой еду, суетиться — встала и пошла. А грибы — что ж грибы! — они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза — сорвет, не попадутся — ну и не надо.

Она поднялась на гору и остановилась отдохнуть. Ей показалось, что с тех пор, как она не была здесь, гора стала меньше, положе; Люся подумала, что, наверное, ей это в самом деле только кажется, потому что выросла, повзрослела она сама и изменились ее представления о величинах: то, что раньше выглядело большим, значительным, теперь приобретало обыкновенные размеры. Нет, гора действительно опустилась. Люся вспомнила, как когда-то ребятишками они легко скатывались с нее до ворот. Она оглянулась на два покосившихся столба, которые остались от ворот, и прикинула: теперь не докатиться, нет. А что же с воротами, почему нет ворот? Ну да, не сеют, не пашут, значит, нечего от скота и запирать, все четыре стороны открыли настежь. За Верхней и Нижней речками ворота, конечно, тоже снесены и поскотина разгорожена.

И тут Люся поняла, почему гора стала меньше: ее срезали. Она была не так большая, как крутая, вредная и мешала машинам. Тогда, наверное, и пригнали сюда бульдозер. Вот и канава слева едва заметна, та самая, в два человеческих роста канава, почти овраг, в которой по весне

громыхала красная от глины вода и, отгромыхав, скатывалась на огороды. Подмытые стенки канавы ухали так, что им отзывалось эхо. Матери, отпуская ребятишек из дому, сначала наказывали не подходить близко к канаве, а уж потом — не выкалывать друг другу глаза. Она и в самом деле таила в себе для ребятишек какую-то тревожную, неизведанную опасность, скрытую еще дальше, за тем, что видели глаза. Немного было в округе запретных мест, которые бы они не излазили вдоль и поперек, но канаву старались не трогать, хотя проникнуть в нее было не так уж и трудно. Кто-то когда-то пустил слух, что дно в ней — это вовсе и не дно, а обман, что за ним пустота, ведущая чуть ли не в преисподнюю, и слух этот помнили. Может быть, не очень и верили, но помнили.

И вот теперь канаву засыпали, утрамбовали, похоронив все связанные с ней страхи. Не стало еще одного таинственного места, к которому прежде испытывали боязливую почтительность,— все меньше и меньше их остается на свете.

Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и весенними вечерами, когда сильнее дышит река, из вскрытой ямы деревню богато обносило дразняще прелым духом.

Закладывали силос обычно воскресником. Это была шумная, веселая работа: косили и возили крапиву, траву, сбрасывали их в яму, туда же спускали затем коня, на котором кто-нибудь из ребятишек, поднимаясь вместе с конем все выше и выше, утаптывал зелень, а вокруг ямы, мешая работать, густо клубилась взбудораженная ребятня. Ее отгоняли, она отступала и непонятно как снова оказывалась у ямы. Столько в этот день у нее бывало восторгов и столько слез! От разгоряченных мужиков легко доставались тумаки, от крапивы, с которой гонялись друг за другом и в кучи которой толкали зазевавшихся, вспыхивали волдыри. Люся вспомнила: волдыри затирали землей, а потом слюнявили, и тогда сквозь грязь на теле проступали беловато-натруженные пятна. Вспомнила она и еще одно, заставившее ее улыбнуться: у ее сверстников самой лечебной считалась слюна Кольки Комарова, он даже брал за нее мзду, и добрая половина малолетней деревни ходила у него в должниках. Обращались к Кольке, надо думать, не потому, что его слюна действительно помогала лучше, чем собственная, а потому, что прикосновение чужого странным образом волновало и завораживало, как любое

знахарство, а кроме Кольки никто больше на это не решался.

«Интересно, где сейчас Колька Комаров, что с ним сталось?» — подумала Люся и решила, что надо будет спросить о нем дома. Когда-то он ухаживал за ней, и неизвестно еще, не с ним ли сложилась бы ее судьба, если бы она не уехала.

И сразу пришло новое воспоминание. Чтобы быть ближе к тому месту, к которому оно относилось, Люся прошла вперед. На горе, справа от дороги, раньше было малюсенькое, меньше гектара, поле, но на Люсиной памяти его уже не пахали — много возни, мало толку, а свозили сюда осенью солому. Она, бедная, до самой зимы ходуном ходила от ребятишек. Целыми днями пропадали они в ней, прорывая ходы сообщения, устраивая тайники и жилища, а потом ребята постарше по темноте приводили сюда на готовенькое своих девчонок. Только темнота помогала мало, потому что на березах, нависших над соломой, до петухов сторожили те же самые ребятишки — чтобы не пропустить, кто кого привел. Мало того, самые отчаянные из них, найдя место, где устроилась парочка, имели обыкновение выбрасываться на нее сверху — этакая милая деревенская забава! Но тут уж действительно надо было иметь отчаянную голову и длинные ноги, не то потревоженный парень мог и покалечить.

Эти воспоминания вызвали в Люсе не волнение, а скорее любопытство: как странно и как далеко это было, будто и не с ней, не при ней вовсе, а при ком-то, кто был до нее. Она не звала их, они явились сами, без спросу, откликаясь на то, что встречали глаза.

Перед второй, затяжной горой машинная дорога свернула влево, в обход — эту гору срезать было непросто. Люся пошла прямо, по старой, от которой осталась только глубокая тропа, заросшая по сторонам высокой, выстоявшейся травой. Люся вела по ее колосьям рукой, и зерна, щекотя ладонь, с тихим шуршанием опадали на землю. Лес по горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди. Как и при всяком разбое, сразу густо полезла и перепуталась трава, из нее, словно скелеты, выгибались сухие сучья — прежде хоть вблизи деревни их собирали на топливо, а сейчас и это никому не надо; Люся вчера видела, что весь берег у реки завален оставшимся

после погрузки лесом, возле каждой избы лежат бревна. Да и разделывают их теперь бензопилами — раз-два, и готово, не то что раньше, когда собирали воскресники. Опять воскресники: то, что было не под силу одной семье, делали миром, брали с собой ребятишек, находя им сподручную работу; Люся помнила, как любила она складывать поленницы, находя какую-то особую первобытную радость в том, чтобы устраивать в порядок приятные для глаза желтые сосновые поленья с тонкой шелковистой шкуркой, какая бывает ближе к вершине. И сезон для заготовки дров был один — весна, чтобы за лето они успели высохнуть, а теперь в любое время подбирай и пили разбросанную где попало уже готовую кубатуру.

«Нет, что-то было все-таки в этих воскресниках,— с неожиданной грустью пожалела Люся.— И люди на них шли с удовольствием. Кого не приглашали, тот уж понимал, что хозяева не считают его своим, что ему отказано в дружбе и доверии».

И работа — дружная, заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным уханьем поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязательным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, для которого хозяйку заранее отпускали домой. После зимы это была первая работа в лесу, к тому же не очень трудная, и ее любили. От солнца, от леса, от пьянящих запахов, исходивших от ожившей земли, в одинаковое для молодых и немолодых ребячье возбуждение приходила душа, не успокаиваясь долго, до опустошающей усталости. С обновленной землей менялись, казалось, и чувства, необъяснимыми путями соединяясь с дальней, наиболее чуткой порой человека, когда он больше слышал и больше видел, различал; древние инстинкты с непонятной настойчивостью заставляли присматриваться, принюхиваться, отыскивая что-то и под ногами и в воздухе, что-то забытое, утерянное, но не исчезнувшее совсем.

Вместо воды пили березовый сок, который тело принимало как снадобье — бережно и со вниманием, верящим в скорый отклик. Сок собирали ребятишки, они же отыскивали и выкапывали первые саранки, желтые луковицы которых таяли во рту, как сахарные; со сведенными лицами, только чтобы не отстать друг от друга, а не для того вовсе, чтобы утолить какую-то редкую нутряную жажду, сосали пихтовую зелень. И конечно, не обходилось без лист-

венничной серы, без которой в этот день было так же нельзя, как в пасху без яиц, и которую жевали даже мужики, а потом, разбередив десны, материли ее и хватались за курево.

Сразу, как только крутизна в горе утихла, начинались поля. Люся вышла на открытое место и в недоумении огляделась: что такое, уж не заблудилась ли она? Как можно было заблудиться в трех шагах от деревни? Нет, конечно: вон Касаловка — поля слева, уходящие к Нижней речке, назывались Касаловкой, вон впереди, где с одной стороны видна изгородь, оставшаяся от гумна, Ближняя елань, за ней Вышка, справа дорога повела на Дальнюю елань. Эти названия пришли к ней так легко, будто она пользовалась ими каждый день, хотя только перед этим не могла сказать, как зовут острова напротив деревни, и Люся удивилась себе: что это с ней? Казалось, какой-то голос — травяной или ветряной — наносил живущие здесь слова, и слух, уловив их, дал для повторения.

Люся медленно подвигалась по дороге вперед, узнавая и не узнавая открывшиеся места. Если смотреть поверху, вот она, Касаловка, вот Ближняя елань, за ней Вышка. А на земле все это сходилось в одном чужом широком запустенье, которому не хотели верить глаза. Дорога, взбиравшаяся в гору узенькой тропкой, снова сошлась здесь с машинной и, не жалея земли, расползлась по сторонам. Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником; отдельно от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и там торчали дудки. Уже и не отличить было поля от межей, сцепились так — не оторвать. Хлебный дух, привычный для этой поры, давно истаял; пахло перезревающей лесной мешаниной, да от заброшенной земли исходило пресное, сухое дыхание.

Не удержавшись, Люся свернула влево и пошла через поле. Земля еще не взялась целиной и была комковатой, серой; привыкнув поднимать хлеба, она, казалось, надеялась на чудо и из последних сил берегла себя для сева, но возле намечающегося соснячка, угадывая хвою, уже копошились муравьи — значит, поверили, что здесь их никто не тронет.

Сколько же прошло лет, как уехал отсюда колхоз? Семь, восемь, девять? Точно Люся не знала, что-то около того. Колхоз, можно сказать, и не уехал, а растаял на месте, увезли только машины, которых и было-то немно-

го, да кой-какой инвентарь. Поля не увезешь — вот они, поля, люди тоже остались, не так-то просто и легко тронуться с насиженного места, освященного родными могилами, и двигаться неизвестно куда. Уехали только три семьи из переселенцев, одна из них затем вернулась обратно.

Колхоз назывался «Память Чапаева», и Люся опять удивилась тому, с какой легкостью, без всякого ее обращения к памяти всплыло откуда-то в ней это никому не нужное теперь название и с сиротской призывностью улетело в поля. Не будь она здесь, среди всего, что было с ним связано, ни за что бы не вспомнила. Впрочем, затем уже, после Люси, колхоз переименовывали, и, кажется, не один раз, но другого названия она не знала.

Колхозу «Память Чапаева», который и без того кое-как сводил концы с концами, не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался леспромхоз — богатый, денежный, причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полмесяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза. Для этого даже не надо было срываться с места и менять свою жизнь, все было тут же, дома. А попробуй колхоз удержать у себя хорошего механизатора, когда тот видит, что в леспромхозе он по самому скромному счету заработает в три раза больше. Удерживать-то удерживали — и криком, и законом, да только плохо получалось.

Пока он боролся с одной бедой, подоспела другая — началось объединение колхозов, и «Память Чапаева» прицепили к такому же, как он, горюну, до которого было почти пятьдесят километров тайги. Тут уже не только молодежь, чуть ли не вся деревня повалила в леспромхоз. Дошло до того, что некому стало кормить скот. Тот колхоз перегнал к себе коров, овец, но поля года два еще обрабатывал, отправляя сюда на помощь своих людей, хотя их, конечно, не хватало и дома. Помыкался он, помыкался, да и свез к себе оставшееся добро. А поля забросили. Вот они, поля, то, что от них осталось.

Люся еще раз осмотрелась вокруг, и ее кольнуло неожиданное, родившееся уже здесь чувство вины, будто она могла чем-то помочь им и не помогла. «Ну что за чепуха,— отмахнулась она.— Я здесь совсем ни при чем. Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Она подумала, что у деревенских,

оставивших землю ради леса, это чувство должно быть сильнее, пусть они от него и страдают, если способны страдать, а она и в самом деле оказалась тут случайно и едва ли когда-нибудь придет сюда еще. И все-таки та уверенность, с которой она шла в лес, в ней исчезла, легкое прогулочное настроение было испорчено, а как, чем, она и сама не могла понять. Она уже жалела, что не осталась дома, но и вернуться назад тоже не смогла бы, если бы даже и захотела; ее вело что-то помимо ее желания, и она, подчиняясь ему, послушно переставляла ноги. На старой меже она решила присесть на примеченную еще издали белую колодину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и почему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше. Она оглянулась — не вернуться ли, но уже знала, что не вернется, не сможет, что она не вольна поступать сейчас так, как ей нравится.

Мысль, явившаяся Люсе, застала ее врасплох. Она подумала, что ей должно быть горько, гораздо горше того, что она чувствует, потому что видит эту заброшенную, запущенную землю впервые после того, как знала ее другой. Но горечи или боли не было — была растерянность, постепенно переходящая в непонятную, пугающую тревогу, которая, казалось, передавалась от земли, оттого, что земля помнит ее и, как окончательного суда, ждет ее решения — ведь она, Люся, не один раз бывала здесь прежде и даже работала. «И даже работала»,— как оправдание, повторила она и только тут с удивлением осознала, что было за этими словами.

Они заставили ее остановиться и еще раз осмотреться вокруг — она медленно обвела глазами все, что было на виду и выше, по небу, зная и не зная, что она ищет, и повернула вниз, к редкому, просвечивающему леску. За ним скрывалось небольшое, клином уходящее к Нижней речке поле, которое взволнованная память выделила из всего остального. Люся торопилась, боясь, что поле заросло совсем и его уже не найти, будто эти минуты могли что-то решить. Она помнила, что где-то там, внизу, к полю должна быть дорога, но спускаться к ней Люсе показалось далеко, и она пошла напрямик, через лес. Ей хотелось прежде взглянуть на поле украдкой, со стороны, проверить, оно ли это, не ошиблась ли она и что с ним сталось, а идти по дороге значило заранее выдать себя. Ее уже не покидало недоброе чувство, что кто-то с самого начала подсматри-

вает за ней, следит за каждым ее шагом, и она старалась спрятаться, уйти с открытого места.

Наконец впереди совсем посветлело, и Люся увидела поле — то самое. Не выходя, она смотрела на него из-за деревьев. Широкая старая межа сбереглась и походила теперь на просеку; ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник. Там, где он задержался, чуть пониже, как привидевшееся чудо, был огород — кто-то облюбовал здесь землю и посадил картошку. Картофельная ботва на солнцепеке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Но это оттого, что уж очень непривычно было видеть здесь картошку.

Воспоминание, которое привело сюда Люсю, относилось к голодным послевоенным годам. Не то к сорок шестому, не то к сорок седьмому. Весной, перед севом, Люсю отправили боронить это поле. Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась как шкура. По-доброму, следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забивала зубья, и борона все время тащилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну едва таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень.

И опять, уже в который раз сегодня, Люся услышала, как прозвучало в ней нужное слово. Игренька. Коня звали Игренькой, и с этим словом, которое все еще звучало в ушах, воспоминание сразу стало намного полнее и яснее. Люся отчетливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной гривой и серебряной звездой во лбу — худого до того, что, казалось, высохли даже копыта, и себя за ним — тоненькую, во что попало одетую девчонку, взмахивающую вожжами и подпрыгивающую на одной ноге, стараясь второй вдавить борону в землю. Позади остается волнистый, причудливый след.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед — назад, вперед — назад. Под гору он еще стаскивал борону, но, после того как разворачивались, до верхней межи останавливался раз десять. Переводя ноги, он вытягивался и хрипел. Люся уже не понужала его, не гнала и чистила бо-

рону только тогда, когда он изнемогал, а вычистив, трогала его по боку вожжой. Перед тем как тронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами — наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи. Девчонка тогда измучилась с ним, измучилась с травой, с грязью, она, как и Игренька, тоже держалась на пределе сил, и тогдашнее состояние вдруг передалось сейчас Люсе и сжало ее. Она почувствовала такую сильную усталость и беспомощность, что опустилась на траву, так и не выйдя на поле.

В конце концов Игренька запнулся и упал. Люся перепугалась. Она стала дергать его вожжами, ничего не добившись, схватила за узду и потянула голову коня вверх — он мотал головой и стягивал ее на землю. Люся закричала на Игреньку, но закричала не столько от злости, сколько от страха и от страха же стала пинать его во впалый бок, от ударов по телу коня прокатывались судорожные толчки, но он не делал даже попытки подняться. Оглядываясь, Люся отступила от него, потом набежала и попробовала подхватить коня в беремя, царапая его с того бока, на который он упал, только напрасно оттягивая его обвисшую, податливую кожу. Тогда Люся бросилась в деревню.

Слава богу, мать была дома. Они бегом прибежали обратно, к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув под себя ноги, земля вокруг него была изъезжена — видно, без Люси в своем недобром, напугавшем его предчувствии он пытался подняться и не смог, а теперь успокаивался, смирившись с тем, что будет, приласканный проникающим сквозь землю покоем. Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

— Игреня,— приговаривала она.— Ты это че удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Че там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь.

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам губами.

— Ниче нету,— испугалась мать.— У меня ниче нету, Игреня, ниче не взяла. От дура дак дура. А он все понимает, хошь и конь. Ишо бы Игреня да не понимал.— Она гладила его по морде, теребила свалявшуюся челку.— Он, подимте, не такое в толк брал, че и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломали ногу и его хотели ондать на мясо, кто на трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, чтобы не бередить ногу, наливала не цельную бочку.

Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал. Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, заржал во второй раз и завозил под собой ногами.

— Погоди, Игреня,— заторопилась мать и стала освобождать его от постромок.— Погоди, сичас. Сичас мы с тобой будем подыматься. И то — хватит лежать, належался.— Игренька водил за ней головой и дрожал от нетерпения и страха за свою слабость. Когда мать взяла его под уздцы, он с силой выкинул вперед передние ноги, но далеко, неудобно, так что пришлось подтягивать их ближе, напружился, натянулся, вздымая задние, и не смог, осел обратно. Отвернувшись от матери, он снова заржал, и в его голосе было отчаяние: не могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его: — Погоди, Игреня, погоди, отдохни. Не сразу. Ишь ты, сразу захотел. Сял и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и подымешься. Ниче, ниче. Ох ты, Игреня ты, Игреня.

Она обвела глазами Люсину работу и упрекнула:

— Повдоль надо было ездить, а не поперек. Тут на бугор и здоровый конь не вытянет. А ему где же...

— Ага, такой гон.

— Ну и че? Ехала бы и ехала помаленьку, никто тебя не гнал. Земля-то одна — хошь вдоль, хошь поперек. Сколь ее тут есть, столь и есть. Не прибудет.

Она подала Люсе повод, а сама зашла сбоку и, хлопнув коня по спине, подхватила его снизу. Игренька переставил передние ноги, как бы уходя с уронившего его места, и вытянул задние, в последнем отчаянном усилии выпрямил их и встал в полный рост. Он покачивался на своих четырех ногах, а мать поддержива-

ла его, обняв рукой за спину, и радостно приговаривала

— Ну и от, ну и от. Я ить тебе говорела А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем.

Она взяла его в повод и потянула за собой. Раскачавшись, конь тронулся, почти сразу же остановился и, будто испугавшись, что опять упадет, заковылял дальше.

Люся поднялась и, отряхиваясь, еще раз взглянула на огород среди поля, словно хотела удостовериться, что все это было не сейчас, не только что, а давным-давно, больше двадцати лет назад. Освобождаясь от стоящей перед глазами картины с Игренькой, она медленно побрела вверх, в гору, откуда перед тем спустилась, но воспоминание не оставляло ее. Казалось, она что-то не поняла в нем, что оно пришло не для того только, чтобы показать, как это было тяжело и горько, но и с какой-то своей, затаенной, бередящей мыслью, которую она не распознала. Люсю охватили досада и неудовольствие собой, тем, что она поддалась какому-то незнакомому, пугающему ее своей пытливостью чувству, и она решила идти быстрее, чтобы ходьбой освободиться от него.

«И даже работала»,— ей снова пришли на память слова, которые полчаса назад заставили ее искать это поле Да, работала — как все. И косила, и гребла, и боронила, и полола, и собирала — мало ли в колхозе было дел, особенно в те годы, когда не хватало людей. «И пахала»,— добавил в ней кто-то. В самом деле, и пахала — как это она забыла о таком? Правда, всего два дня, потому что за плугом она еще могла ходить, а переводить его из борозды в борозду у нее не хватало силенок. Она росла слабой и пошла работать позже своих подружек — только в последние военные годы. А до того мать жалела ее и оставляла дома с Танькой, с нынешней Таньчорой из Киева.

«Хоть бы приехала сегодня Татьяна»,— обрадовалась Люся возможности думать о другом. А то мать без нее никому покоя не даст: Таньчора да Таньчора. Кроме того, стало бы ясно, что с матерью. Сейчас она только ждет свою Таньчору.

Лес кончился, и Люся опять вышла на поднимающиеся вверх поля. Здесь, на открытом месте, широко раскинулся ясный, уже нагревшийся день с чистыми резкими краями;

воздух в нем, если смотреть вдаль, тонко, неуловимо позванивал на солнце, и этот верхний, угадывающийся звон казался единственным. Внизу при Люсиных шагах все смолкло, затаилось. Земля под ногами не отзывалась, была окаменевшей, глухой; лес на горе призрачно пошевеливался, дышал едва заметным в воздухе, белесоватым, березовым дымком, исходящим от спелого осеннего существования, от тепла и сытости. Небо за лесом спокойно и ровно стекало вниз, за землю; небо было высокое, легкое, но синь на нем уже отцвела, чувства в его глубине стало меньше, в его загадочности появилась усталость.

По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, как крадучись, хотя ее хорошо было видно со всех сторон. Где-то там должна быть дорога, и Люся решила, что лучше сделать круг, зато идти по дороге — так безопасней. Она прекрасно знала, что бояться здесь нечего, и все-таки не могла отделаться от непонятно откуда берущейся уверенности, что кто-то за ней следит, и это было не просто предчувствие, гадающее о том, что может произойти впереди, это странным образом связывалось с прошлым, с каким-то потерянным воспоминанием, за которое с нее теперь спросится. Ей казалось, что, пойдя в лес, она легкомысленно поддалась на чью-то уловку, что ее сюда заманили, но вернуться сейчас обратно было нельзя — тогда то, ради чего ее увели из дому, произойдет сразу же, на месте, и она, боясь, оттягивала его наступление, вела его за собой все дальше и дальше.

Она все-таки нашла дорогу, но легче ей от этого не стало. Борясь с искушением броситься по ней вниз и бежать, бежать со всех ног до самой деревни, она медленно, словно пробуя дорогу, испытывая ее крепость и безопасность, пошла в гору. Нет, не добежать, она уже разучилась бегать. Дорога была заброшенной, в окаменевших комках, воздух над ней, казалось, ссохся, и Люсе скоро стало душно. Она подумала, что лучше идти полем, но не сошла с дороги, не могла сделать в сторону ни одного шага, подчиняясь чьей-то чужой воле, которую невозможно ослушаться, и Люся наконец поняла, что на эту-то дорогу и нельзя было ей ступать, что она для нее теперь — как узкий длинный коридор с высокими прозрачными стенами, через которые не перелезть, не выбраться, и коридор этот приведет ее к чему-то неожиданному, может быть, страшному. Острые комки сквозь кеды резали ей ноги, но она не обращала внимания на боль, целиком занятая тем, чтобы ее

не застала врасплох какая-то другая, более хитрая опасность.

Она шла-шла и остановилась: как раз посреди дороги, как еж, лежал муравейник. Она долго с недоумением смотрела на эту живую, шевелящуюся кочку: почему муравейник здесь, не в стороне? Как она, Люся, пройдет? Что ей делать? Может быть, теперь можно повернуть домой? Она обернулась и ничего не увидела позади себя — все было залито солнцем, и его свет ослепил Люсю. Осторожно, выставив в стороны руки, чтобы не удариться о стены, она перешагнула у края муравейника на свободную дорогу и обрадовалась, что ничего не случилось. Она обрадовалась так, что смогла улыбнуться.

«Что это я?! — упрекнула она себя.— Что это, в самом деле, я так распустилась? Разве может здесь, где на многие километры кругом я знаю каждый кустик, со мной что-нибудь произойти? Какая ерунда! Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом и — на тебе! — поддалась каким-то глупым, детским страхам. Это все нервы, нервы — надо лечить их. Вот сейчас дойду до пустошки и буду собирать грибы. А потом домой. Здесь у меня все родное — разве можно тут чего-нибудь бояться? Какая я все-таки дуреха!»

Она пошла веселее, уверенней; до лесу оставалось немного.

И вдруг, не соглашаясь с этой ее уверенностью, заглушая ее, воздух пронзил тонкий и далекий, сильно избывшийся, но все еще слышный, нескончаемый испуганный крик:

— Минька-а-а-а!

Люся вздрогнула и замерла: она узнала его, это был ее собственный крик. Медленно-медленно, как под грузом, повернула она голову влево: черемуховый куст был там же, на прежнем месте, посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его, объехал плугом, и он, воспользовавшись этим, разросся в гнездо, поднялся, отвоевал себе у пашни землю и стал давать урожаи. Повинуясь первому, невольному чувству, Люся сделала к нему шаг и неожиданно сошла с дороги, дорога выпустила ее. Люся не удивилась, она уже поняла, что не сама выбирает, куда ей идти, что ее направляет какая-то посторонняя, живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила.

Вблизи черемуховое гнездо оказалось сильно разграбленным. Срубленные засохшие кусты валялись на земле,

живые, с редкой зеленью, затянутой паутиной, выглядели убого: самые лучшие, крепкие ветки были с них оборваны. Сохранилась лишь боковая, жидкая поросль, до которой можно достать рукой, а всю середину вынесли, там теперь торчали только высокие, по грудь человеку, голые пни, от которых гнулись в стороны уцелевшие кусты. Кое-где еще висели ягодки. Люся сорвала несколько — они были мягкие, сладко-прохладные, как и тогда, с мятой на вкус, и крик, найдясь через много-много лет, вдруг снова нахлынул на Люсю и сжал ее. Она испуганно осмотрелась — никого, и все-таки на всякий случай зашла за куст так, чтобы ее не видно было от Нижней речки.

Это случилось тоже сразу после войны — жизнь тогда, не успев опомниться после четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие деревеньки повальный страх: там зарезали корову, там изнасиловали и убили бабу, там ограбили магазин, там усыпили чем-то всю семью и обчистили ее до последней нитки. Одно время мужики выставляли на ночь караулы, но беженцы творили свои дела, когда их не ждали. Правда, где-то в низовьях двоих поймали; Люся вспомнила, что она видела, как их везли в район. Они сидели в одной телеге спиной друг к другу, со связанными руками, обросшие, оборванные, злые, и смотрели на людей с усталым вызовом.

Власовцы, как правило, бежали в начале лета, а к концу слухи о них затихали, и деревенская жизнь снова успокаивалась, бабы безбоязненно шли опять в лес, плыли за реку — хоть на колхозную работу, хоть куда, словно для беженцев, как для клещей, существовал какой-то определенный сезон, после которого они никому уже были не страшны.

В августе, ближе к середине, мать отправила Михаила и Люсю к этому кусту. Наверно, она заприметила его еще раньше по густой, яркой цветени, а потом проверила и ахнула: в тот неурожайный на черемуху год он ломился от ягоды. В высоких хлебах с дороги его было не видать, а сам он от тяжести пригнулся к земле — поэтому и сохранился, дал черемухе доспеть до полной готовности.

Рвать ее было одно удовольствие. Уж на что Михаил не любил возиться с ягодой, не находя терпения, чтобы одни и те же движения повторять тысячи и тысячи раз, но тут загорелся и он. Черемуха была крупная, в длинных

и чистых без листа, тяжелых гроздьях — только успевай подставляй под них руки. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства подвязала запан и ссыпала из него лишь тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. Зато вывалишь, и в ведре сразу прибавится на ладонь, а то и больше. Приятно было даже пропускать черемуху через руки, словно подставлять их под прохладную, нежную струю; хоть и мягкая, поздняя, она чудом не мялась и ложилась ягодка к ягодке. За каких-нибудь два часа Михаил и Люся до краев наполнили свои ведра, а куст едва ли удалось обобрать даже наполовину.

Они сходили домой и решили вернуться. Оставлять куст с ягодой на другой день не хотелось. Теперь, когда они знали к нему дорогу, казалось, что в любую минуту наткнуться на него может кто угодно. После обеда настоялся жар; Михаил, поддавшись лени, тянулся в гору кое-как и отстал от Люси далеко. Она не захотела его ждать и одна вышла к короткой, незаметной в хлебах меже, на которой стоял куст. До него оставалось еще шагов двадцать, может, чуть больше, когда куст вдруг зашевелился и на землю с него, как привидение, спрыгнул какой-то незнакомый, страшный человек в зимней шапке с подвязанными наверх ушами, страшный уже одной этой шапкой в невыносимо душный летний день. Это было так неожиданно, что Люся остолбенела и, вместо того чтобы кинуться от него, застыла как вкопанная. Человек засмеялся нервным, нетерпеливым и радостным смешком и поманил ее к себе пальцем. Она успела рассмотреть его: невысокий, коренастый, с черным, небритым лицом, скрадывающим годы, бесцветные глаза горят белым, сумасшедшим огнем.

Вот здесь, вот здесь он и стоял, удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще поиграть, позабавиться с ней, чтобы полней и сытнее была потом победа,— перед тем как праздновать ее, он разжигал в себе голод. И снова Люся в полную меру пережила весь тот ужас, которым грозила ей тогда эта встреча, и ее пробрала дрожь. Оглядываясь, она отступила от куста в поле, но вспомнила, что совсем уйти отсюда ей все равно сейчас не удастся, ее не отпустят.

Когда человек засмеялся и поманил ее к себе пальцем, Люся попятилась. Он сделал обиженное лицо и развел руки: что, мол, еще за фокусы? Она пятилась все дальше и дальше. Не выдерживая, он осторожно, как бы стараясь

не вспугнуть, пошел на нее; на лице его, скошенном от холодного волнения на одну сторону, прыгала короткая жесткая улыбка. И тут Люся наконец бросилась бежать.

Она выскочила на дорогу и припустила по ней вниз, к деревне. Человек, отставший на пашне, где его сапоги проваливались в мягкой земле и заплетались в хлебах, теперь догонял ее — она уже слышала за своей спиной его шумное, всхрапистое дыхание. Она обезумела от страха и неслась с ведром, загребая им воздух. Сзади ее уже царапнули руки, но в последний момент она успела оторваться от них и выпустила ведро — громыхая, оно покатилось за ней по дороге.

— Минька-а-а!

Она закричала и тут же увидела впереди фигуру брата. Он шел неторопливо, вразвалку, а услышав крик, остановился совсем. Но уже в следующее мгновенье он рванулся навстречу Люсе. Человек тоже заметил Михаила и резко затормозил, он никак не ожидал встретить здесь кого-то еще и растерялся. Люся проскочила мимо Михаила, но, отбежав на безопасное расстояние, попридержалась, страх за брата заставил ее остановиться. Она закричала снова. Человек успел разглядеть, что перед ним почти мальчишка, сопляк, и теперь наступал на него крадущимися, издевательскими шагами.

— Минька-а! Убегай! Убегай! Минька-а! — надрывалась Люся.

Михаил поднял с земли камень и напружинился. Человек быстро, как для прыжка, присел, и Михаил отскочил назад. Человек зло, отрывисто засмеялся. Он снова попробовал испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. Тогда человек и правда бросился на него — бросился и сразу свернул в сторону; нарочито припадая на одну ногу, он неторопливо, с видом сильного, не захотевшего заниматься пустяками, побежал через все поле к Нижней речке. Пока не поздно, он решил скрыться, уж очень громко кричала Люся.

Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала ясная, веселая от солнца тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело, обреченно тронувшись с места, направилась все туда же — к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках как о слабом, но возможном спасении: если сорвет хоть один, хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обой-

дется. А что, собственно, должно обойтись? Чего она боится? Неизвестно. Ничего не известно. Она боялась даже размышлять о том, пристало ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного — может быть, от воспоминаний, от этих слишком ярких и явных воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать их заново — для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое для нее, без чего нельзя, но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки — вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от голода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще.

Люся остановилась. Неправда. Здесь нет никого, ни одной души, которую надо было бы опасаться, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день, эта тревога пуста: просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу.

Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого; солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Она одна, но одна среди чужого затаившегося безмолвия, где все сияние и внимание направлены только на нее. Ей некуда спрятаться, ее видят насквозь. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать»,— твердила она. Зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?

«Забыла?!» Мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его Люсе ближе. Забыла... Вот оно наконец то, что, не открываясь, почти с самого начала сегодня изводило ее какой-то молчаливой давней виной, за которую придется держать ответ. В самом деле, там, в городе, в

своей новой жизни, Люся все забыла — и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше,— забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала... Да, боронила, пахала — подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уж этим-то можно бы и гордиться — едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминания о деревне, и они окаменели, слежались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний пыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем.

И вот сегодня они вдруг вспыхнули.

7

Наконец-то к старухе пришла долгожданная Мирониха.

Старуха лежала на кровати так легко и невесомо, что сетка под ней совсем не прогибалась; у старухи дежурили только глаза, а тело, расстеленное на кровати и застывшее в немой неподвижности, оставалось без толчков и забот — как чужое. Не было никакой нужды трогать его: старуха давно уж лежала одна, будто потеряла себя от всех остальных и никак не может найтись. Ближе к обеду солнце с улицы попало в избу, и старуха, глядя на солнце, пригрелась от его веселого неустанного света, а то уж совсем затосковала сама с собой — хоть плачь.

Мирониха, настороженная тишиной в избе, в которую, она знала, понаехали гости, боязливо выглянула из-за перегородки, увидала, что старуха одна, и, вынырнув к ней, всплеснула руками:

— Оти-моти! Ты, старуня, никак, живая?

Старуха обрадовалась Миронихе так, что в глазах засверкали слезы, и завозилась на кровати, норовя подняться, вспомнила, что подниматься надо долго, и протянула Миронихе поддавшуюся руку.

— Дак видишь, живая. Вторые дни седни, как оклемалась. Тебе рази не сказывали?

Мирониха подержала старухину руку и выронила, но в руке нашлась сила, и она сама легла ко второй, к левой руке и приласкалась к ней.

— Тебя пошто смерть-то не берет? — Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней.—

Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь,— с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха.— Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи.

— Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.

— А ты и вправду запинаешь, с тебя че взять.

— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму. Мы с ним, глядишь, ишо ребеночка родим.

— Ты, девка, свою родилку-то, однако, поране меня сняла да сушить повесила.

— А у меня другая есть, получше старой. Я ее летось у городской у одной на ягоды выменяла. Бравая такая была городская-то и молодая совсем, я к ей и подговорелась. Ты, старуня, теперечи со мной не равняйся.

— Не присбирывай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.

— Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, че ли. Ослобонилась бы я от тебя.

— Ишо плакать, девка, будешь, как помру.

— Если плакать буду, дак, думаешь, жалеть буду?

— И то правда,— согласилась старуха, останавливая Мирониху, чтобы — чего доброго! — не договориться до богохульства. С Миронихой недолго и в грех попасть, она и сама не помнит, что говорит. В молодости с ней лучше было не связываться, переспорит кого хочешь, да и сейчас еще язык не сточился совсем, того и жди — выкатит слово не для ушей и не поперхнется.

Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то чересчур была бойкой, сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь может припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет. На работу она всю жизнь была жадной и все-таки сбереглась, не дала работе изъездить себя; со старухой ее не сравнить: Мирониха круглей, живей, а главное — на своих ногах, куда захотела, туда и побежала. Короткие черные руки она держит перед собой ухватом, наизготове; лицо тоже черное, широкое; голос хриплый, но любой дру-

гой, поговорив с ее, давно бы уж совсем без голоса остался, а она его только вот так подпалила. Она моложе старухи всего на четыре года, но по виду ее хватит еще не на четыре — больше.

С приходом Миронихи старуха повеселела: посветлели глаза, в которых обозначились блекло-карие кружочки, в лице появился интерес — что-то принесла Мирониха, что-то она расскажет? Столько не видались, а жизнь без остановок шла вперед, жизнь вон какая широкая, на все города и деревни, на всех людей ее достает, и все сходится ровно-ровно, без остатка. До прошлого года у старухи на тумбочке стояло радио, и она сама крутила на нем черное, как пуговка, колесико: в одном месте поют, в другом плачут, в третьем горгочут не по-нашему, в четвертом не по-ихнему и не по-нашему — язык сломать можно, а они все горгочут и горгочут. Старуха любила слушать старинные песни и посылала Нинку за Миронихой, чтобы слушать вместе, но их пели редко, все больше чем-то бренчали. От ранешних протяжных песен она будто взлетала на крылах над землей и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые еще не нашли успокоения. И тогда ей не жалко было умереть, ей чудилось, что эти песни поют у кого-то на поминках, после того как снесли в землю гроб, и она про себя подтягивала им, провожая незнакомую освободившуюся душу, которую не иначе как и встречать на том свете будут таким же старинным пением.

В прошлом году радио сломалось, и у старухи осталась одна радость — поговорить с Миронихой.

— Ты пошто к мине долго не шла-то? — упрекнула ее старуха.— Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезножела, ли че ли.

— Я уж и так, старуня, обезножела,— качая кровать, наклонилась к самому старухиному лицу Мирониха.— Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их надсадила — какой день бегаю, корову свою ищу. У меня корова потерялась, домой не идет.

— Ой-ни-и! То-то я утресь слушаю, слушаю, а ее все не слыхать. Дак она у тебя где?

— Когда бы я сама знала где, я бы тебе, старуня, сказала, а то я сама не знаю. Все елани в перекрест взяла. Оно так-то пропади она пропадом, бегать сломя голову за ей, первый раз она, че ли, блудит, а тут сердце не на месте.

Слыхала, поди-ка, что медведь у Голубева телку задрал?

— Ниче не слыхала,— опешила старуха и завозилась, подняла упавший голос.— Че ты меня спрашиваешь, слыхала, не слыхала, откуль я услышу, кто мне че скажет? Медведь, говоришь, у Голубева телку задрал?

Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее — как знала, что Мирониха не будет пустая. Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала.

— Задрал, задрал,— подтвердила Мирониха.— А Голубев раскидывал телку на тот год себе оставить, у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил. Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, че тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообглянулся, а телка вот она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху привалена. Он, медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит. Генка как увидал да как стреканет, был и нету. Прямо по воздуху домой прилетел.— Мирониха опять качнулась к старухе и переменила голос.— Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчерась весь день в реке полоскала и седни полощет, а низовски бабы по воду теперечи под наш берег ходют.

— А ты не подсмеивайся,— осудила ее старуха.— Когда сама только сичас не придумала, то и не подсмеивайся. Тебе бы так.

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обратно не пришел. Он к телке, а я на его да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубева зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за ним явилась. Я бы его так напужала, никака медведиха не ототрет.

— У меня твои байки слушать терпения давно-о уж не стало. Ты пошто путем-то, как люди делают, не расскажешь? Он где задрал, в каком месте, телку-то?

— Ты, старуня, сама мне слова не даешь выговорить. Я бы уж на десять рядов все пересказала. От Нижней речки отворот в гору помнишь?

— Дак я его пошто не помню? Ну. Я, подимте, ума ишо не решилась.

— Тамака он ее и встренул, под самой под деревней. Они того и гляди в деревню пойдут. Ноне тайга без корма

осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. Вот и будет округ деревни шастать.

— Будет, будет,— закивала старуха.— Нечего и говореть — будет.

— Я свою страмину не знаю, где и искать. Она че думает, я за ей месяц бегать подрядилась? И так уж сколева перемерила. Живая она, не живая... Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак у меня ног нету за хребет бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. А так я на своих палках до горы достану, и меня уж к земле тянет.

— Ты за хребет, девка, не бегай. Ты там останешься, я че без тебя делать буду?

— У меня только об тебе и разговор,— не поддалась Мирониха.— Я ей про корову толкую, а она все никак с себя не слезет.

— Твоя корова и так и эдак тепери молоко потеряла.

— Да уж не про молоко, старуня, печаль. Мне бы хошь саму корову-то на глаза увидать, я бы знала, что ее медведь не съел. А так броди она, сколева ей надо.

— Ох, девка ты, девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, мучиться, последние силенки на ее изводить. Какую пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? Накосить — нанять надо, привезти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо. А так рази маленько с ней беготни? От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя че — семеро по лавкам сидят, исть-пить просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полеживай, как барыня, тебе же ишо и деньги за ее дадут. Доведись до меня, я бы дак даром ее ондала, только бы не мучиться с ей.

— О-о-о,— с издевкой пропела Мирониха.— Поглядите вы на ее. Корову бы она продала, и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жизнь держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не надо, только бы корова в стайке мычала. Кака така нехоть на меня навалилась, что я себе корову не продержу?

— Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко.

Разговор об этом у них заходит не в первый раз, и старуха про себя согласна с Миронихой: кто привык с коровой мучиться, тот уж без такого мученья не может. Да

и что это за баба без коровы? Старуха и сама до последнего возилась со скотом, уж и двигаться как следует не могла, а все хваталась за подойник, пока ей не запретили, и спорит она с Миронихой больше от обиды, почти ревности: вот Мирониха в состоянии ходить за коровой, а она нет. Избавься Мирониха от своей скотины, и тогда они волей-неволей попадали в равное положение, и старухе было бы легче. Она смирилась со своим бессильем, но и в нем ей нужна подруга, да не какая-нибудь, а именно Мирониха, с которой она дружила всю жизнь.

Не сказавшись Миронихе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на этот раз она была уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей, знала, что старуха может ее за это пугнуть. Теперь они сидели рядом, и старуха стала еще немощней, чем была: крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-вот она взмахнет ими и полетит. Мирониха покосилась на нее сбоку и не утерпела:

— Изговелась ты у меня, старуня.

— Изговелась,— кивнула старуха, не глядя на себя и без того зная, что так оно и есть.

— Ребяты-то твои приехали, че говорят?

— Дак че говорят... Поглядеть на меня приехали.

— Они тебя, старуня, поди-ка, хоронить приехали.

— Ну и похоронют — как им мать не похоронить,— спокойно согласилась старуха, не отводя глаз от окна, будто разговаривала с кем-то оттуда.

— Не забаивайся. Они тебя ждать, че ли, будут, когда тебя бог приберет?

— А им меня ждать и не надо,— по-особому, со смиренной решимостью сказала старуха и повернулась к Миронихе. Руками она держалась за край кровати, все еще боясь, что может упасть.— Я их задерживать не буду. Им тоже домой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, я чую. Попрощаюсь с имя, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Варвара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне только бы Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей че. Говорели, вчерась приедет — нету. Вчерась говорели, седни будет — и тоже нету. Я себе уж места не нахожу, не знаю, че и думать.

— Ты, старуня, не убивайся. Покамест время терпит,

приедет твоя Таньчора. А че зря убиваться?! Тамака у ей, может, самолеты не летают. Теперечи все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога неближняя.

— Им меня ждать не придется,— повторила старуха, качая головой.— Нет, нет, не придется. Мне боле уж нельзя здесь задерживаться. Нехорошо. Я и так уж вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назад надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, как заведено, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать — жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя.

— Да говори,— потеплела старуха.— Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли че ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ниче. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Че бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтри-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.

— Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.

— Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, че я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.

— Я тебя не путаю.

— Ну и сиди, не спорь со мной.

— Я, однако, вот че,— Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну.— Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу.

— Ты не думай, я быстро провернусь.

— Беги, девка, не оговаривайся.

Старуха опять осталась одна, и исподволь, из ничего на нее нашла неслышная и легкая печаль, от которой она всплакнула и сразу же, не теряя слез, утишилась, будто сотворила короткую очищающую молитву. На полу рядом со старухой играло солнце, она сдвинула на него свои ноги, и, когда солнце, не боясь худобы, принялось гладить и пригревать косточки, ей стало совсем хорошо и снова захотелось заплакать, будто она начала с ног подтаивать и оседать. Она осмелилась и отцепила от кровати руки, сняв с них тяжесть и размышляя, что если она упадет, то упадет на солнце и пристанет к нему, а потом Мирониха придет и подберет ее. Но она не упала и сразу же забыла, что могла упасть, она смотрела через окно на улицу, где день, переламываясь, подступал к обеду и гнулось высокое отцветающее небо. Ее завораживало солнце, но не тот огненный шар, который сиял в небе, а то, что попадало от него на землю и согревало ее, вот уже второй день старуха, напрягаясь, искала в нем что-то помимо тепла и света и не могла вспомнить, найти. Она не тревожилась: то, что должно ей открыться, все равно откроется, а пока, наверно, еще нельзя, не время. Старуха верила, что, умирая, она узнает не только это, но и много других секретов, которые не дано знать при жизни и которые в конце концов скажут ей вековечную тайну — что с ней было и что будет. Она боялась гадать об этом и все-таки в последние годы все чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге — обо всем, что живет рядом с человеком, давая ему от себя радость, и готовит его к концу, обещая свою помощь и утешение. И то, что все это останется после нее, успокаивало старуху: не обязательно быть здесь, чтобы слышать их повторяющийся, зовущий голос — повторяющийся для того, чтобы не потерять красоту и веру, и зовущий одинаково к жизни и смерти.

Прибежала Мирониха, с маху шлепнулась на кровать рядом со старухой, и потревоженная старуха, оторвавшись от окна, нашла себя и узнала Мирониху. Мирониха махнула рукой, и старуха вспомнила, что это она про корову, про то, что коровы как не было, так и нет. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла и который Мирониха сейчас продолжит,— ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом.

Мирониха сказала:

— У вас, старуня, че-то баня ходуном ходит.

— Баня? — Старуха и баню поставила на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она должна ходить ходуном.

— Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим,— хитрила Мирониха.— В ей у вас кто живет, че ли, кака испидиция?

— Кака, девка, испидиция, че ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.

— Все, че ли?

— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.

— Дак у них кака нужда днем-то мыться? — затягивала на бане петлю Мирониха.

— Мыться? Ты, девка, как маленькая, ей-богу! — сердилась старуха.— Куды ишо мыться — вторые дни седни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились! Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет.

— Вино, че ли, пьют?

— Нет, им Надя в тазу воды нагрела, оне ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют за милу душу. Уж так сладко — не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денежку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку.

— Дак они тамака твои-то, старуня, однако, не одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала.

— Степки Харчевникова?

— Будто его голос был.

— А какая тут, девка, дивля?! Степка где же обробеет! Он, однако, сухой тоже не живет?

— Однако что, старуня, так. Теперечи мало кто сухой живет.

— Мало, мало. Я как ни погляжу, все по улице ходют, бодаются. Это че, девка, деется на белом свете? Оне пошто так пьют-то? Какая им доспелася нужда? Оне ить себя только гробят, боле ниче. И бабы, и бабы-то за мужиками тоже тянутся, воздыряют почем зря. В ранешное время рази так было?

— Не забаивайся. Че нам говореть про ранешное время!

— Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну. Пьянчужка, и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери

один Голубев на всю деревню не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над им строют.

— Так, старуня, так. Понужнули бы раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Че хочут, то и делают. У другого собаку выманить нечем, а он пьет-гулят, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест не насобираются. Он уж стой-мя не стоит, а все ему подноси, все мало.

— Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала,— показала старуха на тумбочку, где стояло радио,— дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ниче. Там ее тоже не хвалят.

— Ну и че, что не хвалят. Им на эти разговоры навалить большу кучу да размазать. Много оне слушают? Им не говореть надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко не жалко — со всех надо стребовать, чтоб не изгалялись над народом.

— Правда, девка, правда. А то делать как-нить, дак никак и будет.

— Я тебе об чем и толкую.

— В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.

— И грех, старуня, за́были, и стыд забыли.

— И стыд забыли, правда что.— Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала.— От он наш: ухайдакается до того, глаза бы мои на его не глядели. Наутро подымется, тырк-пырк, соберет своих пьянчужек и опеть за ту же работу. И как ни в чем не бывало посмеиваются, рассказывают друг дружке, кто вчерась че́ понатворил. Смех им. Доведись до меня, я бы со стыда сгорела.

— Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда.

— Ну. Я тебе, девка, че хочу рассказать. Напомнила ты мне про стыд.— Старуха подождала, пока наберутся воспоминания и вернут ее в то неблизкое время, откуда донесся знакомый глухой отзвук случившейся жизни.— Это ишо в ту голодовку было,— пояснила она.— Варвара у меня тогда уж в девках ходила, помогала, и Илька тоже большенький вырос: там схватит да здесь урвет, и ниче, живой. От Люся, та не дай бог болезная росла: ручки-ножки тоненькие, как прутики, личико бледное, на ее и так-то жалко было глядеть, а тут и вовсе будто свечка тает. Ее поддержать бы, подкормить, да чем? Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, ишо пол-

зала. Или пошла ли — тепери и не скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их накормить рази маненько надо было? У меня сердце на части разрывалось. Че тебе говореть, ты, подимте, без меня знаешь, сама двоих подымала.— Старуха остановила себя и, отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть потом: — Твои-то не сулятся ноне приехать?

— Ниче не пишут.

— Моить, без письма приедут?

— Не знаю, старуня. Помру — приедут.

— Дак от. Я тебе и говорю: намучилась я с имя — о-ё-ёй! Сам тогда от колхоза какие-то груза на базу возил, дома редко бывал. А Витя, которого на войне убили, на курсах в районе учился, от него тоже никакой подмоги. Я одна с имя. Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с молоком будем. А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на общий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — че тут говореть. Столько скота. От она и в голодовку все к нам, все к нам. Их там вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, носится. Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мине жалко ее станет, я загородку открою да и впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог.

И от, девка, сижу я один раз так же под нашей Зорькой, уж и не под нашей, под колхозной, сижу я под Зорькой и слышу: вроде дверка стукнула. А я в стайке ее додаивала и дверку за собой закрывала. Голову поворачиваю — Люся. Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ить уж боль-

шенькая была, знала, что Зорька не наша корова. Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются. И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

— Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок была.

— Ребенок была, а память-то, подимте, одна. Запало, и все.

— А хошь и помнит — че с того? Лучше было бы, когда бы она с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя мыть? Мало их, че ли, в тот раз померло? А ты своих выходила.

— Оно и не лучше было бы, а так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не воровала, а тут хуже воровства вышло.

— Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить — нашла об чем говореть.

Старуха послушно умолкла, остужая в себе волнение, и устало повалилась на кровать, головой на подушку, уже лежа подобрала ноги. Мирониха придвинулась к ней ближе и опять заглянула в окно.

— Не видать? — спросила старуха.

— Не видать. Вот приди она, страмина, я ей все кости пообломаю. Она че думает, у меня терпение каменное, че ли?

— Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится.

— Я ей, страмине, побоюсь. Медведя в лесу она не боится, а меня испужалась. Пускай бы он ишо в этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, я из-за ее не человек.

Старуха подобрала последнее Миронихино слово:

— Ты-то пошто не человек? Это от меня уж, однако, лежалым пахнет.

— Не забаивайся, старуня.

— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколько не выходю. Все тут, все тут, на одном месте.— Не глядя на Мирониху, она сказала о ней и о себе: — Зажились мы с тобой, девка.

— Пошто зажились?

— А куды нам было столь жить? Пускай бы давно померли, как бы хорошо было. Ты бы сичас не искала свою корову, я бы не лежала тут, не думала, что хошь бы Мирониха не убежала, посидела ишо, а то мне одной опеть будет тоскливо. Это мне сам бог дал тебя, Мирониха. Он, он. Как бы я без тебя жила?

Старуха закрыла глаза и, соглашаясь, кивнула своим словам, себе и Миронихе. Глаза у ней не открылись, она осталась одна, забыв обо всем на свете и потерявшись не то во сне, не то в дремотном облегчающем покое. Карауля ее, Мирониха сидела рядом и думала о том, что хорошо бы им со старухой умереть в один час, чтобы никому не оставаться на потом. Она еще долго сидела возле старухи — пока не пришла Варвара.

8

— Ты расскажи, расскажи, Степан, как ты тещу обхитрил,— уговаривал Михаил длинного рыжего мужика Степана Харчевникова, который ему и Илье составил в бане компанию все за тем же горько-сладким занятием.— Расскажи Илье, а то он не слыхал.— Михаил ронял голову и морщил в смехе лицо.— Давай, Степан, начинай.

Ради Степана открыли новую бутылку. С закуской теперь стало легче. Михаилу больше не страшны были ни сатана и ни жена, он сделал два захода в избу и запасся даже супом, который без ложек приходилось прихлебывать из кастрюли через край. Вынес он и припрятанные Нинкой в муке бутылки и все их, как дрова, сложил в печку, куда никому не придет в голову заглядывать, а ящик приспособил себе под сиденье. Он был все так же босиком, забыв за более важными делами обуться, и подсовывал ноги под постель, на которой ночью спал Илья. Сейчас Илья нес дежурство за курятником, командовал парадом.

— Давай, Степан, рассказывай,— пристал Михаил.

— А я слышу, говорят, Илья приехал,— объяснял Степан свое появление, хотя уже успел с ним выпить.— Думаю, во всяком разе надо Илью повидать. Одногодки же, вместе по деревне бегали, хулиганство творили.— Степан раскинул на всю баню руки, показывая, что не повидать Илью ему никак было нельзя. Голос у него жесткий и малоподвижный, оттого он и помогает ему руками.— Ну и

пошел. Да чуть было не промахнулся. Я-то прямым ходом в избу двигаю, на баню не гляжу. Некультурный человек. Уж в последний момент смекнул: ну-ка, что там за собрание?

— И правильно сделал, что пришел,— одобрительно сказал Илья.— А у нас, сам знаешь, мать лежит, от нее никуда не уйдешь. Ну, мы тут и устроились, чтобы, значит, в случае чего рядом с матерью находиться.

— Это ты, Степан, очень даже правильно сделал,— подтвердил Михаил.— Выпили и еще выпьем. Ты не думай, у нас есть что выпить — вон, полная печка. И все такая же, белая, крепкая.

— Тебе, однако, уж очень даже хватит,— поддел его Степан.— Как бы ты очень даже пьяным не сделался.

— Нет, Степан, ты почему так говоришь? Ты пришел, я тебя встретил как гостя. Ты вот брата моего Ильи товарищ, мне тоже вроде как товарищ, в одной деревне живем. Мы с тобой никогда не ругались, ничего такого, наоборот, даже выпивали вместе. И ты мне такую непотребность говоришь. Вроде я совсем пьяный. Нет, Степан, я еще выпью, я свою норму знаю. А если что, я и сверх нормы могу — почему нет? Вы вот встретились, а мне тоже интересно с вами посидеть, поговорить. А ты вроде как спать меня укладываешь. Я вроде и посидеть не могу.

— Да сиди, сиди. Ты здесь хозяин — как я могу над тобой распоряжаться?

— Ты, Степан, лучше бы рассказал, как с тещей-то дело обстояло,— вспомнил опять Михаил.— Как ты, значит, тещу свою, тетку Лизавету, перехитрил.

— Да что рассказывать! Уж вся деревня, почитай, знает.

— Деревня пускай знает, а брат мой Илья не знает. Он из города, ты ему расскажи.

— Рассказать можно, язык не отвалится,— как бы нехотя, больше напуская на себя эту нехоть, согласился Степан и неожиданно весело подмигнул Илье: — Слушай, Илья, раз так.

— Слушаю, слушаю — ага.

— Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, мало ли у нас их тут по домашности происходит. Это вот летом было. Выпили мы так же с Генкой Сусловым, только не в бане, нет, а у него в огороде, его баба отправила туда картошку окучивать. Ну мы, значит, в борозде пристроились и

давай окучивать. А бутылки-то я принес, я ему еще с зимы за сено был должен. Думаю, что это я рубли понесу, еще не возьмет, прихвачу-ка я лучше две поллитры. Взял, прихожу, а мне говорят: Генка в огороде. В огороде так в огороде, мне безразлично. Я туда. Генка на мои поллитры посмотрел и сразу тяпку черенком в землю. Понял, значит, для какой цели я их приволок. Конечно, картошку окучивать или выпивать? — Степан на выбор развел руки и брезгливо встряхнул их, показывая, что такого вопроса для них не существовало. Он быстро увлекся и рассказывал с явным удовольствием.— Ну, сидим мы. За стаканом нам соседский мальчишка сбегал, Генка с гряды огуречных зародышков в карман нарвал, потом еще раз ходил — все есть. Сидим, стакан от одного к другому, как мячик, гоняем. Некультурные люди. Некультурные люди, а хорошо. Я к этому делу с полным моим интересом, я и шел выпивать, а Генка, правда, из дому снарядился картошку окучивать, у него другая была цель. Ладно, картошка стоит. Додавили мы бутылки, Генка говорит: «Я сейчас маленько еще потяпаю, чтоб баба завтра не сомневалась, а потом мы с тобой в деревню пойдем». Ладно, думаю, тяпай, а я погляжу. Он мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, быстрей будет». Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну гребенку, под корень. Я ему толкую: «Тебе, однако, за такую работу баба волоса завтра на голове будет тяпать». Он послушался меня. «Пойдем,— говорит,— в деревню. Вечером, как жара стихнет, дотяпаю». Мы и пошли, у меня еще деньги в кармане были.— Словно запнувшись, Степан чуть помедлил и бережно, с любовью произнес: — Во всяком разе, я не помню, что там у нас дальше происходило.

— Это бывает,— с радостным смешком подтвердил Михаил, вскидывая голову.— Это такое дело. Ты дальше, дальше рассказывай. Ты, Илья, дальше слушай.

— А что дальше! Дальше известно что. Очухался, как после атомной бомбежки, а сам еще глаза не открываю, прикидываю про себя: какой это день, тот, в который мы с Генкой картошку тяпали, или уж другой, и где я — дома, не дома? Ладно. Глаза потихоньку раскрыл — баба моя рядом лежит. Я ее сразу узнал. На другой кровати ребятишки — тоже мои. А там и теща со своего угла глаз в меня целит. Пообсмотрелся я и думаю: надо, однако, на ноги подняться. Только пошевелился, а теща, как кош-

ка, прыг со своей лежанки. Я никакого значения ей не даю, подымаюсь, я только потом и сообразил, с какой целью она планировала меня опередить. Она, язва, и шагу, чтоб не во вред мне, не сделает, у нас с ней с первого дня партизанская война идет. Ей волю дай, она бы уж давно с самой низкой целью голову мне топором отрубила и даже не перекрестилась. Некультурный человек.

Поднялся я и пошел к Генке, чтобы, значит, узнать, как он со вчерашнего дня живет. А Генкина баба меня в воротах встретила и говорит: нету Генки. Я знаю, что дома, а она врет, что нету, и ждет, значит, когда я обратно поверну. Да подавись ты своим Генкой, мне-то что! Ему же хуже. Он тобой не опохмелится — понимать должна.

— Это ты очень даже правильно ей сказал, Степан,— удивился Михаил.— Очень даже правильно. Молодец.

— Зашел я еще к Петьке Сорокину, а тот сделал вид, что не пьет и не пил никогда. «Нету,— говорит,— и денег нету». Как будто бы я не отдал ему. Во всяком разе, пришлось мне править домой. А сам знаю, что где-то в подполье у нас самогонка имеет полное право находиться. Баба уж на работе, осталась одна теща. Прихожу — так и есть: она на западню поставила табуретку, на табуретку прялку, придавила ее своей квашней и сидит, нитку тянет. Она уж раньше меня сообразила, куда я полезу. Для того ведь только и живет, чтоб мне вредительство творить, другого дела у нее тут нету. Ладно, думаю, пережде́м, должна же ты с места сдвинуться. Мне бы только успеть в подполье запрыгнуть, меня потом оттуда подъемным краном не вытащишь. А сам виду не подаю, что я заинтересован, хитрость на хитрость у нас пошла. Выхожу на улицу, жду. А сколько можно ждать? Голова вот-вот пополам расколется. Думаю, долго ты меня еще будешь мурыжить? Иду на разведку — сидит как прикованная. Я ей вежливо так предлагаю: «Ты что это, теща, прядешь да прядешь, уж устала, поди, отдохни, прогуляйся куда-нибудь». Она мне по старинке, некультурной грубостью: «Мне и здесь хорошо». Думаю, как бы сейчас тебя шмякнул, чтоб тебе еще лучше стало. Ну что ты с ней будешь делать? Ясно, что умрет тут, а не уйдет. А возьми я ее да перенеси вместе с прялкой на другое место, крик такой подымет, будто я ее резать хотел. Еще не вытерпишь, да и где-нибудь не так нажмешь, потом отвечать надо. Ладно, думаю, сиди. Сиди и не шевелись, падла ты такая.— Степан зло погрозил в пол рябым пальцем.—

И вот когда у меня обнаружилось безвыходное мое положение, тут-то я и вспомнил, что неправда, я так просто не сдамся. Не хватало еще, чтоб она мне свою политику качала. Я взял из сарая лопату и пошел к Ивану. У нас дом барачного типа, сам помнишь, я на одной половине, Иван на другой. И подпольи у нас так же, за моим сразу его, а стеночка меж их совсем пустяшная, я еще в прошлом году две доски спустил, чтоб маленько укрепить ее, а то она уже совсем поползла. Пошел я к Ивану и под тем предлогом, что мне надо с этой стороны поглядеть, залез к нему в подполье. А там что — два раза копнул, и готово, лезь. Я и пролез на свою половину — будто тут и был. Пообтряхнулся, пообсмотрелся — вот она, банка с лекарством. И закуска есть. Что мне еще надо? Слышу, теща сидит, пыхтит. Думаю, сиди, сиди, вот ты мне и пригодилась, никого хоть сюда не пустишь. И не тороплюсь.— Степан весело и ожидающе прищурился.— Так она, теща-то, чуть с ума не сошла, когда я оттуда запел «По долинам и по взгорьям...». Ее будто ветром сдуло. Слышу, только прялка брякнула.

Илья засмеялся, с любопытством вглядываясь в Степана, спросил — не потому, что не поверил сразу, а чтобы доставить удовольствие себе и Степану, продлить в своем воображении ту прекрасную картину, когда Степан пробрался в подполье:

— Там и выпивал?

— Там, там,— радостно подтвердил за Степана Михаил, счастливый тем, что история понравилась Илье.— Она, значит, наверху караулит, а он снизу, как червяк, из одного подполья в другое. И припал. Это такое дело. Вот за это я Степана очень даже уважаю.

— А песню-то зачем?

— А так.— Плутоватая улыбка на лице Степана стала еще шире.— Для смака. А то она жизнь прожила и не слыхала, как из подполья песни поют. Некультурный человек.

— Ну, даете вы здесь,— с удивлением и завистью покачал головой Илья и опять засмеялся.— Ну, даете.

— Жить-то надо как-то. Вот, значит, и живем. Для разнообразия жизни.

— А потом-то что тебе теща говорит, когда ты из подполья вылез? — допытывался Илья.

— А что мне потом скажешь? Мне потом хоть что говори.

— И жена тоже ничего?

— А я, Илья, к своей жене хладнокровие имею. Я сильно-то ей простору не даю. Она у меня ученая, во сне помнит, что она баба, а я мужик. А мужик, он и есть мужик, завсегда его верх обязан быть.— Степан еще не остыл от своего рассказа и, разогнавшись, говорил длинно.— Конечно, я не буду врать, что у ней ко мне возражениев совсем не имеется. Имеются, особенно вот, как ты сам имеешь полное право догадаться, по части выпивки. Другой раз утром она мне свои возражения прямо в глаза, а если глаза закрыты, то прямо в уши, да громко так, как «руки вверх!», выложит. Ну, конечно, у меня на этот предмет свои, мужицкие, возражения находятся. Я их ей понятным голосом, чтоб зря дискуссию не разводить, обскажу, и опять все в норме.

— Нет, Степан,— тяжело выговаривая слова, не согласился Михаил.— Баба, она, кроме того, что она баба, она женщина. Ее бить нельзя. Твоя или моя там баба, она, кроме того, что она твоя или моя баба, она государственная жен-щи-на. Она может в суд подать.

— А я тебе разве говорю про бить? — хмыкнул Степан.— Ты, Михаил, однако, уж не то слышишь. Зачем бить? Бить — это крайняя мера наказания. Как расстрел. Если баба ко мне с пониманием, то и я к ней с пониманием. Во всяком разе, я тоже государственный, а не какой-нибудь первобытный человек. Мы вместе с моей бабой в народонаселение нашего государства засчитаны.

— Это ты очень даже правильно говоришь. Когда ты так говоришь, я с тобой очень даже согласный.

— Я, Михаил, понимаю, что наши с тобой бабы в государственном масштабе — это женщины. Что ты мне об этом рассказываешь. Я тоже мало-мальски грамотный человек, газеты выписываю, читаю.

— Я знаю, ты читаешь, Степан, читаешь.

— Я три газеты выписываю,— обращаясь к Илье, сказал Степан. Илья, поскучнев, кивнул.— Одну маленькую, из нашего района, и две больших — одну из области, и центральную газету «Правда». И все их прочитываю. Есть которые выписывают так, для бумаги, для хозяйственных потребностей, а я пока газету от начала и до конца не прочитаю, у меня ее никто даже тронуть не смеет. Центральную «Правду» без выходных, каждый день печатают, а я все равно читаю, чтобы, значит, быть в курсе международного и внутреннего положения. Где какой переворот

из-за власти или забастовка трудящихся — я уж знаю.

— Это ты очень даже правильно говоришь,— из последних сил тянулся за разговором Михаил.— И перевороты бывают, и забастовки. Я тоже знаю. А в нашей стране баба, она, кроме того, что она баба, она все равно женщина. Ее и бабой-то звать почти что нельзя. Для нее это вроде мата, не-уважи-тельно.— Трудные для себя слова Михаил делил на части и, чтобы не сбиться, произносил их с остановкой, только после того, как выяснял, что уже сказано и что осталось сказать.— И ты, Степан, не путай про те страны и про нашу страну. Мы с тобой живем в нашей стране.

— А я думал, не в нашей.

— Нет, нет, Степан, ты не путай.

Степан подмигнул Илье и показал глазами на Михаила: мол, все, готов, бормочет сам не зная что и мешает поговорить нам. Михаил клонился все ниже и ниже, его голова упиралась в колени. Степан не стал отвечать ему — может быть, нужна только минута, чтобы он, не слыша голосов, окончательно утихомирился, тогда его, как мешок, можно будет повалить на постель и спокойно продолжать разговор. Степан пригнулся и остановил взгляд на уровне водки в бутылке, будто хотел удостовериться, не убывает ли она на глазах. Мало ли что — бутылка открытая, всякая тварь может залететь и вылакать, как свою. Его мучила совесть перед раскупоренными и неопорожненными бутылками, для него это было то же самое, что любоваться страданиями недобитого животного: если решил убить, так бей сразу, не тяни. Степан попытался поймать взгляд Ильи, чтобы намекнуть, что хватит им издеваться над бедной бутылкой, но Илья смотрел мимо.

Илья тоже отяжелел от водки и от разговоров, но не в пример Михаилу держался пока твердо. Тот счастливый и краткий момент, когда следовало остановиться с выпивкой, был давно упущен, и жалеть об этом теперь не стоило. Что еще делать? В самом деле, что делать, пусть кто-нибудь научит. Еще до Степана Илья зашел к матери — она дремала и не услышала его или сделала вид, что не слышит, а сама, быть может, исподтишка наблюдала за ним, и он обрадовался, что ему не пришлось с ней разговаривать, потому что не знал, что сказать; он не был пьян настолько, чтобы говорить все подряд. Водка, казалось, не брала его, а только добавляла груз к той тяжести, которая отзовется позже — завтра, послезавтра. Когда по-

явился Степан, Илья повеселел, засуетился, но теперь, после того как все первое, что говорится при встрече, было спрошено и отвечено, а до воспоминаний дело еще не дошло, он опять обмяк, с трудом заставляя себя следить за тем, что происходит вокруг, будто сидел среди этих людей, в том числе и со Степаном, так давно, что они успели порядком надоесть друг другу. С каким удовольствием он бы сейчас закрыл глаза и уснул, но его насторожил Михаил, ему не хотелось выглядеть при Степане так же, как брат, поэтому он старался держаться.

Солнце после обеда, зайдя сбоку, отыскало маленькое банное окошечко, и баня быстро нагрелась, в ней стало душно. А дверь открывать не хотели, чтобы никто не лез — ни курицы, ни собаки, ни люди. Так что приходилось терпеть. Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась мелкими капельками пота, и только Михаилу было все равно — жара сейчас или клящий мороз.

Степан, вспомнив свой разговор с Михаилом, ворчливо и обиженно сказал:

— Если на то пошло, сильно много в ней женщины стало, от бабы ничего уж не осталось. А с ней не только в кино ходить, с ней жить надо. Для жизни мне, к примеру, баба больше подходит. Она на любую работу способна, не будет ждать, когда мужик придет со смены и принесет ведро воды. Она все сама может. И терпеливая, по всякому пустяку не будет взбрыкивать. Мало ли что по домашности происходит — почему об этом должна знать вся деревня, а если в городе, то весь город? «Я женщина, я женщина»,— передразнил он.— Ну, не мужик, все видят, ну и что? На руках тебя за это надо носить, по головке гладить? Ты сначала поимей, за что на руках носят, потом спрашивай. Ты такой же человек, только другого полу, про наши разногласия в человеческом теле блохе и той известно, и нечего на этом предъявлять свои претензии. Конечно, никто не спорит, мы без них не можем, так жизнь построена. А они без нас могут, что ли? Во всяком разе, еще больше не могут. Как ты, Илья, считаешь? Я говорю, они без нас еще больше не могут, такая у них натура. А во-вторых, у мужика, кроме бабы, в нерабочее время также и другие занятия имеются, а у нее, посчитай, нету.

— Это точно — ага,— коротко подтвердил Илья. Мысль о том, что женщина больше нуждается в мужике, чем мужик в женщине, пришлась ему по душе и взбодрила его,

на лице у Ильи появилось плутовато-хитрое выражение, как после удачной выходки, о которой еще никто не знает.

Степан покосился на бутылку, вольно или невольно показывая, что одним из главных мужских занятий в нерабочее время, о которых он упомянул, он считает выпивку.

— Я в прошлом году летом в город ездил,— продолжал он.— Там я вдоволь насмотрелся на этих женщин. И правда, кругом одни женщины, я уж потом нарочно приглядывался, чтоб хоть одну живую бабу увидать, которая на мясе, а не на пружинах. Если где встретится, так сердце за нее радуется, что сохранилась, а то ведь скоро мы их, как доисторических мамонтов, будем искать. Она идет, так по ней видно, что у ней и мать была и бабка, видно, что в жизни человек находится, а то ведь эти женщины-то, особенно которые помоложе, они все как заводные куклы, одна на другую до того похожи, не отличишь, где какая. Их не рожали, на фабрике делали...

— По ГОСТу,— вставил Илья.

— Как ты говоришь?

— Я говорю, по ГОСТу, по государственному стандарту.

— По нему, однако, и есть. Только у одних выточка получше, у других похуже, больше никакой разницы. И ходят, красуются: вот я какая, поглядите на меня. Вот у меня какие ножки, эта правая, эта левая, будто у нее у одной ноги, а у всех костыли. Вот у меня какая вертушка — туда-сюда, туда-сюда, ишь, как красиво — будто никто не знает, для чего человеку это приспособление дадено. Ее, вертушку-то, прятать надо, а она рада ее совсем заголить. Вот сколько я на голове волос накопила, вот какие у меня глаза: я вас в упор не вижу, а вы на меня смотрите, любуйтесь. Для нее в том и состоит цель жизни, чтобы, значит, себя показывать, я не знаю, как она там дышит, когда ее никто не видит. А чуть чего: ой, у меня нервы, нервная система. И уж руки у нее нервы, и ноги нервы, и это самое место, откуда ноги растут, тоже сплошь нервы. Слова ей не скажи. Я четыре ночи у свояка ночевал, у него жена тоже, значит, такая же женщина. Чуть он ей не угодил — она в больницу. При мне каждое утро бегала. Я интересуюсь: что болит? «На почве нервной системы».— «А что конкретного на этой почве болит-то, какое место?» — «Общая слабость, вам не понять». Где же мне понять... Не слабость у нее там никакая, а

слабинка. Делать нечего, она и уросит, каприз над ним строит. Вот они, женщины. Дело не в том, что женщины или не женщины, а в том, что делать ничего не умеют, к работе не приспособлены. Скоро уж рожать и то разучатся. Я не знаю...— Степан озабоченно покачал головой.— А если война? Что тогда с этих женщин? Слезы лить да помирать? В той войне нам наполовину бабы помогли победить. А теперь уж и баб-то не остается. Скажи, Илья.

— А что тут говорить? Правильно.

— Вот он сказал,— Степан кивнул на склоненного в три погибели Михаила,— что их будто и бабами-то называть нельзя, для них это будто оскорбительно. А почему оскорбительно? Что такого плохого в этом слове? Почему я не оскорбляюсь, когда мне говорят, что я мужик? И даже наоборот, назови меня кто мужчиной, это мне уж нехорошо, обидно, будто я не могу быть мужиком, не соответствую на работе или там по домашности. Мужик я и есть мужик — что мне еще надо? Так и баба. Гляди-ка, обидели ее! Вон ваша мать, тетка Анна, всю жизнь бабой прожила и ни на кого не обижалась. Пускай другие попробуют быть такой бабой, как она. Про нее никто, ни один человек худо не скажет, не имеет права. Язык не повернется.— Степан вдруг сразу, как поперхнулся, умолк, его осенило.— Давай, Илья, выпьем за вашу мать,— медленно и с удовольствием, с тем удовольствием, с каким охотник следит за падающей птицей, уже зная, что выстрел был на редкость удачным, и радуясь за себя, сказал Степан. — Давай, Илья. За тетку Анну не грех и выпить.

— Это оч-чень даже правильно,— неожиданно услышали они голос Михаила. Михаил оторвал с колен голову и точным, прицельным взглядом уставился на бутылку, ожидая, когда ее заставят делать то, что ей положено делать.— За мать оч-чень даже надо выпить,— подтвердил он.— Наливай, Илья.

— Мы думали, ты спишь,— покосился на него Степан.

— Я, может, и сплю, но за мать я могу и во сне выпить. Вот так, Степан. Мы для того ее и брали, чтоб за мать пить, больше ни за кого. Илья скажет.— Михаил, качнувшись, хрипло рассмеялся.— А сами забыли. Это ты очень правильно, Степан, сделал, что подсказал нам. Очень даже правильно. А то мы забыли. Забыли, и все дела. Что ты с нас возьмешь? Пьем просто так, вроде нам и выпить не за кого. Оно, конечно, у нас тут про-

машка вышла. Мы не рассчитывали за нее за живую пить. Это такое дело. Илья скажет.

— Хватит тебе об этом! — оборвал его Илья.

Михаил осекся, остановил на Илье нездоровый, прищуренный взгляд и медленно выговорил:

— Ну, если хватит, пускай будет хватит. Не нравится, значит.

— Мать у вас хорошая,— сказал Степан.

— Не умерла,— уже совсем невесело и непонятно, жалуясь или хвастая, произнес Михаил.— Так и не умерла. Живая. Если мне не верите, идите посмотрите сами.— Он потянулся за стаканом, и Степан, боясь, что он упадет, торопливо подал ему свой, а себе взял с курятника.— За мать до дна! — потребовал Михаил, как всегда, первый выпил и по полу катнул от себя стакан к Илье. Илья подобрал его, и они со Степаном молча чокнулись.

— Ты-то полное право имеешь забыть, маленький был,— обращаясь к Михаилу, сказал потом Степан. Михаил, не слыша, опять оседал, скручивался на своем ящике, и Степан повернулся к Илье.— Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга, тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

— Помню — ага,— улыбнулся Илья.— Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом.

— Я бы им посудил! За Дениса-то! Хоть бы человек был.

— Что это вы там бормочете? — услыхал их Михаил и потребовал: — Песню. Давайте песню.

— Живучий же ты, Мишка,— удивленно сказал Степан.— Какую тебе еще песню? Может, ту, где медведи задом, значит, трутся об земную ось или там обо что-то еще? Хорошая песня. Как раз для нас с тобой.

— Не-е,— отказался Михаил.— Другую. Мою любимую. Русскую народную.— Он приподнял голову и, держа ее на весу, затянул:

Нам бы подали, да мы бы выпили...

Голова его сорвалась и ткнулась в колени. Рыдая, Михаил закончил:

Нам не стали подавать — мы не стали выпивать.

— Ишь на что намекает,— ухмыльнулся Степан.

То же самое Михаил пропел еще раз, больше слов он не знал и, заворочавшись, легко и бесшумно, будто кто его снял, повалился с ящика вниз, на постель. Илья со Степаном полюбовались на него, Степан предложил:

— Может, правда споем?

— Давай. Гулять — так с музыкой.— Последняя водка сделала Илью решительней, в его глазах загорелись бесноватые огоньки.

— Только эти, теперешние, которые по радио передают, не будем,— предупредил Степан.— Я их не люблю. Они какие-то... Пока поют, забавно, не так забавно, как щекотно, будто с тобой, как с ребенком, кто-то играется. А пропели — помнишь, у ребятишек есть обманка «А кто слушал, тот дурак». Так и тут. Будто дураком себя выставил, что слушал, больше ничего. Давай уж лучше наши, которые за душу берут, без обмана.

— Может, твою любимую споем?

— Какую мою любимую?

— Ну ту, которую ты теще в подполье пел.

Степан засмеялся:

— А что — можно и с нее начать.

Они дружно, в голос, грянули боевую и заслуженную «По долинам и по взгорьям». Михаил, мыча, подтягивал им.

9

Кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать, так теперь бы приехала, не в Америке живет, а за три дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверно, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, не жива? Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отделаешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж

ее забота, пусть выкручивается как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает, судить-рядить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху о ней ни духу.

И только старуха ждала не переставая. Она вздрагивала от любого звука за окном и замирала при каждом шорохе у двери. Она не помнила, чтобы за дочерью это водилось, но ей казалось, что Таньчора, попав в избу, может подкрасться и посмотреть на мать тайком и только после этого открыться, поэтому она все время держала дверь иа прицеле, чтобы поймать дочь, когда та начнет выглядывать. Глаза у старухи были хорошие, при ее годах грех жаловаться, но и они уставали смотреть в одно место, будто им приходилось держать тяжелую заборку на весу, на себе. Старуха не давала им повады, заставляла смотреть — на что ей теперь их было беречь, для какой нужды? Разглядеть Таньчору их еще хватит, а больше ничего и не надо. И только когда глаза от усталости и боли начинали слезиться, старуха прикрывала их, оставляя узенькую щелочку по очереди то в одном глазу, то в другом, в которую можно было подсматривать, и так давала им отдохнуть.

Чем больше времени проходило в этом тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожидания оставалось. Старуха понимала, что Таньчора может приехать только сегодня, что это последний срок, который ей отпущен, а с завтрашним днем ей будет уже не по пути, он пойдет совсем в другую сторону. Что будет завтра, старуха не знала и не старалась узнать: пока оставалась надежда, она надеялась и верила, что Таньчора успеет и не допустит того, чтобы мать на нее под конец не посмотрела. Если не явилась в эту минуту, явится в другую, время пока есть, и нечего зря изводить себя — приедет, никуда не денется. Уже далеко после обеда был один момент, когда сердце у старухи заколотилось сильнее, и она поняла его так, что оно почуяло Таньчору, которая теперь совсем близко, на подходе. Старуха встрепенулась как молоденькая и заторопилась, ей захотелось встретить дочь сидя, чтобы не показаться ей с первого взгляда совершенно немощной, никуда не годной; заторопившись, она упустила как следует караулить себя и чуть не уронилась, только чудо помогло ей удержаться на кровати и не разбиться. Ей некогда было даже обругать себя за неловкость, она еще не осела на месте, а уж скорее по-

вернула голову к двери и приготовилась. И правда, послышались шаги, зашевелилась занавеска — вошла Варвара. Своим горячим, несмирившимся умом старуха подумала, что Варвара пришла известить ее о Таньчоре, но та, будто нарочно, чтобы подразнить мать, стала рассказывать, кто что в деревне говорит про ее сон. Что с нее взять, Варвара она и есть Варвара. Старуха, не слушая ее, вся подалась к двери; вот-вот по воздуху донесутся другие шаги и другой голос... вот-вот. Но они задерживались, их не было.

Она сидела так долго, порой теряя себя, забываясь во внимании, и тогда ей казалось, что ее подменил здесь какой-то другой человек, которому все равно, приедет Таньчора или нет, оттого он ничего и не слышит,— после этого она заставляла себя слушать еще внимательней. Сновала сюда-обратно Нинка с перепачканными от конфет губами и что-то бормотала, тяжело переступала по избе Варвара, растравляя голосистые половицы, и старуха злилась на них, что они занимают ее слух и мешают ему отыскать среди всего остального то, что ему нужно. Потом вернулась с горы Люся и стала спрашивать у матери, не болит ли у нее что. Старуха замотала головой, ей захотелось, чтобы Люся ушла. Люся и в самом деле скоро перешла в другую комнату и прилегла там на Михаилову кровать — видно, с непривычки наломала ноги и решила дать им отдохнуть.

В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от беспрерывного слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и нерадость любят являться нечаянно, как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре. Вот уж правда: скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет. Что такого, если Таньчора до того, как показаться на глаза, глянет на нее исподтишка и увидит в лежачем положении? Ее, старухи, от этого не убудет. Зато приедет, и старуха тоже увидит дочь перед собой и прольет для нее, как благословение, свои последние слезы. И не надо торопить себя, не надо, все равно не соскочишь и не побежишь навстречу, раскинув крылами легкие руки. Что уж тут говорить... Лежала — ну и лежала бы, если ни на что другое больше не способна.

Она послушалась себя и легла. Теперь бы еще ни о чем не думать, остыть от ожидания, как от боли, всем

телом обмякнуть и забыться, оберегая себя в покое для скорой радости. Старуха повернулась в кровати удобнее, чтобы нисколько не чувствовать своего веса, и постаралась поддаться тишине — ласковой, манящей тишине, которая неслышно вынет ее, полегчавшую, из кровати и заворожит далеким-далеким журчанием.

Солнце держалось еще на виду, его золотистый свет был неярким и теплым, и старуха пригрелась от него, а пригревшись, потихоньку усмирилась, помня и не помня себя, зная и не зная, что нужно ей на исходе этого спокойно-ясного дня. Уже в который раз сегодня она задремала, и все чутко, сторожко, сейчас особенно хорошо понимая, что она дремлет, и готовая в любую минуту очнуться; ее сердце, укачав тело, продолжало дежурить, и его внимательные толчки не давали старухе забыться глубоко. И оттого, когда перед ней явилась Таньчора, старуха не поверила: память подсказала ей, что ее глаза закрыты и она не может видеть Таньчору взаправду. Но это был и не сон, потому что она не спала по-настоящему, а все время держалась на половине ко сну — нет, это слабое, измученное видение нарисовало перед ней, отходя, напрасное ожидание, от которого освобождалась усталая голова, и старуха осталась спокойной. Здесь же, в своей светлой, как сумерки, дремоте, она заново подумала о Таньчоре и поняла себя — эти ясные, звеняще-приятные мысли рождались сами собой, будто уже готовые шли со стороны, и были ей не в муку, а в утешение. В них она искала все то же — что могло задержать Таньчору? — и нашла. Таньчора, наверно, поехала не одна — со своим мужиком, а его-то и нельзя было брать с собой. Он у нее военный, а бог, однако, не любит военных — вот он увидал их где-нибудь вместе и остановил, не разобрав, что тот военный Таньчорин, не чужой, и что они торопятся к ней, к старухе. Потом-то, наверно, он сам спохватился и отпустил их с места, но задержка произошла, ничего не поделаешь. Таньчора тут не виновата, это все из-за ее мужика. Но теперь-то они уже близко, вот-вот будут здесь.

Ей стало легче, душа ее вздохнула свободней, и старуха, качнувшись, поднялась в своей невеси еще выше, куда трудно достать посторонним звукам.

Она не видала Таньчору давно, а сколько давно, она не знала. Этот отсчет времени она вела не по годам, а по своему материнскому чувству — и три, и пять, и десять лет для нее не имели разницы и значили одно и то

же: давно, дольше всех, не была дома Таньчора. Уже после нее приезжала Люся, показался после Севера Илья, не говоря уже о Варваре, которая бывает каждый месяц, а Таньчоры все не было и не было. Однажды она написала, что ее мужика переводят служить на новое место, ехать туда почти мимо дома и они по пути обязательно заедут. Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, перед собой. Дожидаясь их, она каждый день мыла пол, чтобы ее не захватили врасплох, наготовила всякой всячины из еды и даже заставила Надю взять в магазине две бутылки вина, долго прятала их от Михаила у себя под подушкой. Потом все равно их пришлось отдать Михаилу, потому что Таньчора так и не приехала. Ее мужика и правда перебросили, но только не туда, куда собирались попервости, а в этот самый Киев, где они живут и по сей день. В другой раз, уже из Киева, его хотели перевести куда-то за границу, и Таньчора опять написала, что перед тем ему дадут отпуск и они на прощанье приедут, но в этот раз старухиного зятя отчего-то не тронули совсем и отпуска тоже не дали. Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Таньчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье еще дальше, совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему и у которых ей, конечно, было бы несладко. Вот так оно все и продолжалось до последнего дня.

Таньчора писала нечасто, но все-таки чаще других, и письма ее приходили прямо на старуху. Только она одна и отправляла письма на имя матери, и старуха, беря в руки красивый, с красными и синими полосками по краям конверт, вся замирала от гордости и ожидания: сейчас она узнает то, что хотела сказать ей Таньчора. Но она не торопилась и подолгу рассматривала письмо на свет, изучала картинку и штамп на конверте и только после этого очень осторожно распечатывала его, стараясь не повредить конверт, и вынимала исписанный листок. Сама она читать не умела и, не читая, могла держать у себя письмо с утра до вечера, любуясь его скрытностью и пытаясь проникнуть в нее душой, зато потом начиналась пора чтения; старуха заставляла читать его и Надю, и Михаила, и кого-нибудь еще, кто заходил: она боялась, что в одном письме разные люди могут прочитать разное. И только когда все от слова до слова сходилось, старуха успокаи-

валась и прятала письмо в изголовье, чтобы продлить свою радость и увидать Таньчору еще и во сне.

Над письмами, которые приходили от Люси и Ильи, она не имела такой власти. Ей читали их только по разу, а то и совсем не читали, в двух-трех словах передавали то, что в них было, и все, и старухе ничего не оставалось, как обходиться этой малостью. Она догадывалась, что не о всех письмах ей даже говорят, и не потому, что не хотят сказать, а потому, что забывают, не знают, что сказать: просто в них нет ничего такого, что обязательно надо передать матери и ради чего писалось письмо. Люся, как обычно, наказывала: берегите маму, Илья торопливо и как бы в шутку спрашивал: как там мать дышит? — или: как там у матери делишки? — чаще всего на этом и заканчивался интерес к матери, так что пересказать его и в самом деле было непросто. От Люси бывали и длинные, подробные письма, особенно если она перед тем долго не давала о себе знать, в которых матери отводилось больше места и в которых она писала что-нибудь вроде: «Скажите маме, что лекарства помогают в любом возрасте» — это когда старуха отказывалась пить таблетки, говоря, что от старости таблетками не спасешься,— или: «Следите, чтобы мама зимой одевалась лучше» — как будто мать без нее не знала, что в холоде по-летнему не проживешь. Илья, слава богу, хоть советов не давал. Старухе не это надо было от них, она хотела знать, как живут они сами, как одеваются в морозы, чтобы не околеть, и что едят, раз не держат ни коров, ни куриц, ни свиней; старуха в конце концов заставила себя поверить, что в городе люди тоже не голодают, но не могла понять, как это им удается без домашнего хозяйства и как вообще можно без него жить. О себе Люся и Илья писали так мало, что старуха приставала к Наде, которая читала письма, с въедливыми и дотошными вопросами, будто та что-то утаила или по недосмотру пропустила, а Надя терялась, не зная, что отвечать: где она возьмет больше того, что есть в письме? Не будет же выдумывать от себя за Илью, от которого раз в год шли коротенькие, в ладошку, писульки. Читать старухе письма от Ильи и Люси было мучением, и оно обычно доставалось Наде; Михаил на вопрос матери, что пишут, мог отмахнуться: так... ничего — и уходил. Оставалась Надя.

Едва ли старуху до конца устраивали и письма Таньчоры, но им она многое прощала, к ним у нее было особое

отношение. Эти письма были специально для старухи — специально для нее Таньчора собиралась их писать и писала, специально для нее их везли и несли, а чтобы не потерялись, на конвертах, на которых рукой Таньчоры было выведено имя матери, ставили важные печати. То, что Таньчора хотела сказать ей, она говорила не через кого-то, а прямо, как бы видя перед собой мать, она не писала «скажите маме», она писала: «мама моя», и это ласково-призывное и одинокое «мама моя!» заставляло старуху замирать от счастья и страха; она чувствовала, как от этих слов по ее телу скользят прямые холодные иголки. Старуха не помнила, чтобы Таньчора так называла ее дома — нет, не потому, что не помнила, а потому, что не называла: эти слова не забудет даже самая беспамятная мать. Значит, дочь нашла для нее их уже там, на чужой стороне; старуха шепотом, одними губами произносила обращенное к ней «мама моя!» и слышала в нем такой сиротливый стон, такую боль, что ей становилось жутко и она втихомолку от себя плакала, думая, что не помнит начала слез, и говоря себе, что они пролились совсем по другой причине. Плакать в согласии с собой значило бы смириться со своими страхами, а это было еще хуже, тогда труднее было искать надежду. Надежда идет от бога, думала старуха, потому что надежда робка, стеснительна, добра, а страхи, которые от черта, навязчивы и грубы — так зачем поддаваться им? Или она не знает, откуда они берутся?

И старуха вдруг светлела, легко, кончиками узких губ произносила те же самые слова и слышала в них только ласку, пронизанную мягким Таньчориным голосом. Потом слова эти повторялись уже без нее, без старухи, без ее губ — одним Таньчориным голосом, звучащим близко и ясно, как наяву, но все тише и тише; наконец они умолкали до полного беззвучия, но старухе и тогда по-прежнему было светло и радостно от их приветливой страсти и силы; она долго и с наслаждением ругала себя, что, как последняя грешница, перед тем услышала в них совсем чужое, не то, что в них есть, и казнилась перед дочерью за свою глухоту.

Не ей ли знать, что Таньчора и в самом деле выросла ласковей своих сестер. Старуха никогда не стала бы жаловаться ни на Люсю, ни на Варвару — не на что и жаловаться, но выделяла из них Таньчору. Все-таки она была последней, заскребышем, за которым у старухи никто не

шел,— поэтому мать больше замечала ее, чем своих старших, а потом, не привыкнув жить без маленьких, дольше не хотела отпускать от себя на волю. Всегда было так: не успевал подняться на ноги один, появлялся другой, и мать хваталась за него, а переднего отсаживала в сторону — ползи или иди куда хочешь, только не убивайся до смерти и не кричи, теперь и без тебя есть кому кричать. Таньчору никто не подгонял, и она задержалась возле матери, все, бывало, как привязанная, бежала сбоку и лепетала: мамынька, мамынька. Вот и «мамынька» это — откуда она его взяла? В деревне как будто не было такого слова — разве у кого от чужих переняла или услыхала научивший голос во сне? Потом, когда подросла, называла уже, как все, мамой, но, смеясь, часто вспоминала и принималась теребить мать — «мамынька, мамынька», и старухе было приятно это ее дурачество, хоть она и отбивалась от него. А теперь вот новое — «мама моя!». Что тут такого тревожного после «мамыньки», что она, старуха, сама себя с ума сводит? Подумала бы, до того как убиваться.

Но то, что Таньчора росла последней, конечно, еще не все. И из последней могла получиться всякая. На нее больше заботы, больше сердца, а она тебе за это больше немилости. Мало ли так бывает. Нет, Таньчора сама по себе была ближе к матери, по своему характеру. Если говорить о характере, то старухин нрав скорее переняла Люся — тоже твердая и гордая, мало кому спустит, только твердости и гордости дома у нее хватало на троих. Еще девчонкой была — как надуется, три дня в сторону смотрит, ничем ее не проймешь. Какой теперь стала Люся, старуха не знала — наверно, пообтерлась среди людей, пообломалась острыми краями об острые края, научилась, что к чему. С тяжелым характером и жить тяжелей — она грамотная, должна понять, а по ней непохоже, что ей живется плохо. Спрашивать старуха не хотела, спроси — скажет «хорошо» — и понимай как знаешь. Все они так говорят, чтобы отвязаться, только одна Варвара все равно стала бы жаловаться, если бы даже каталась как сыр в масле, без забот и переживаний. Вот ведь родные сестры, а друг до дружки не достать. Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть ли не от мухи. Росла размазней и выросла размазней, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову.

Таньчора не была похожа ни на кого из сестер. Она стояла как бы посередке между ними со своим особым характером — мягким и радостным — людским; она сердилась и тут же отходила, обижалась и сразу забывала об обиде, а уж если ей приходилось плакать... это про нее, не про кого-нибудь, сказано: одна слеза катилась, другая воротилась. Она всегда шла туда, где были люди, не боясь ни стариков и ни маленьких, любила посмеяться, поговорить, и не так, что лишь бы себя повеселить, а к месту, ко времени, к общему удовольствию. Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; если она задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она верховодила у девок — как раз нет, а потому, что без нее на полянках было невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те начинали задирать, и ответить так, что после этого находилось что сказать всем, одному лучше другого, или тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей незаметно убежать с бревен возле сельсовета, где собиралась полянка,— всего лишь тихонько засмеяться, как бы только для себя, повернув лицо в ту сторону, куда в темноте пропадала парочка, но этот тихий, осторожный смех, как сигнал, тут же подхватывали все, и деревня со сна вздрагивала от его буйства. Некому без нее было подсказать песню, ту самую, которая не зачахла, не заплелась бы в траве за бревнами, а, поднятая сильными голосами, обнесла бы своей радостью или печалью деревню от края и до края.

Матери она предлагала: «Давай, мама, сюда свою голову», зная, что мать любит, когда ножичком царапают ей в голове, в поседевших волосах, и никто, даже если брать старух, не умел так расшевелить голову, как Таньчора, коснуться именно того места, которое просится, чтобы его потрогали, и не повредить ни одного волоска. Из дочерей только Таньчора и ублажала этим мать. Она быстро-быстро водила ножичком и приговаривала: «Ты у нас, мама, молодец».— «Это еще пошто?» — удивлялась мать. «Потому что ты меня родила, и я теперь живу, а без тебя никто бы меня не родил, так бы я и не увидала белый свет». Таньчора смеялась и подбирала, как гладила, старухины волосы. «Ну тебя! — притворно сердилась старуха.— Мелешь че-то, мелешь, а че к чему, и сама не помнишь».— «Нет, помню. Ты у нас правда молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?» — «Я не говорю, что

плохие».— «Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто — так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно». Старуха замирала и терялась от этих слов, она не знала, что их можно говорить вслух, едва ли в деревне, где не привыкли к нежностям, кто-нибудь произносил их еще. И так понятно, что никто, кроме нее, не смог бы родить ее ребят, но разве об этом говорят? Зачем? Мать пугалась и еще ниже опускала голову в Таньчорин подол. «Ты у нас будешь жить долго-долго, больше всех, потому что ты лучше всех, и мы тебя никому не отдадим, никакой старости».— «Не присбирывай!» — перебивала ее мать. «Я не присбирываю, я даже представить себе не могу, что мы сможем когда-нибудь остаться без тебя». Старухины глаза застилали слезы от этих оголенных лаской слов, и она торопливо поднималась: «Хватит на сегодня. Дорвались, а дело стоит».

Ее пугали такие разговоры, но они случались нечасто, всего несколько раз, и это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу. И правда — какая мать останется при этом бессердечной?! Могла ли она не верить Таньчоре, если та всегда обходилась с ней ласково и тепло, делясь, как с подружкой, тем, что доверят не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения, и мать не отказала, не посмела, хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет себе ее дочь.

И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула.

В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала, самой ей было не по силам отправиться к Таньчоре, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туда даже умом, не то что дорогой, но она понимала другое: нельзя матери столько не видеть свою дочь — тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит: что она за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк?

Господи, если бы кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю, верила, что она себя в обиду не даст — не такой она человек; Варвару, ту, наоборот, мог обидеть каждый, но Варвара была рядом, почти на глазах; Илья мужик, он сумеет за себя постоять, и только Таньчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухино сердце, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтобы понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне, среди чужих людей, без матери. И по лицу без слов можно многое узнать, и тогда старуха решила бы, молиться ей за дочь или радоваться. Еще и потому ей надо было перед смертью хоть мельком взглянуть на Таньчору, чтобы снять со своей души грех за то, что она ее долго не видела, очиститься перед богом и спокойно, радостно и светло предстать перед его судом: вот я, раба божья Анна, черного с собой не несу.

Но сегодня был последний срок: если до темноты Таньчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться.

Уверив себя, что Таньчора обязательно будет, надо только потерпеть и не мешать ей подъезжать все ближе и ближе, старуха облегченно задремала — сначало чутко, сторожа со стороны каждый звук и все время помня, что она дремлет, потом, как это всегда бывает, ненароком выпустила себя из рук и потеряла, оставив в кровати вместо человека пустой мешок. И где она была, что делала, никто не знает.

Ее воротили голоса, она услыхала их, находясь еще далеко, откуда не понять, о чем говорят. Слух первым вернулся к старухе, но он был слабым и ловил только неясное, обрывистое бормотание, похожее на бульканье, будто кто-то бросал в воду камни. Старуха теперь была не та, что раньше, когда просыпалась моментально, как тут и была; сейчас ей надо было время и силы, чтобы собрать все, что положено иметь человеку,— и слух, и глаза, и память, словно она расклеивалась во сне на части, каждая из которых норовила забыть свою службу.

Она открыла глаза и сразу ничего не различила: в комнате было сумеречно, но сумерки уже достывали до полной темноты. Окна светлели только с той, с уличной стороны, но через стекла проходило мало. Четкий, нажимистый голос Люси кому-то выговаривал:

— Как вам не стыдно?! Мать чуть живая лежит, а они как с ума сошли!

Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голову Михаила, с другой стороны стола сидел Илья. Собираясь что-то ответить Люсе, он шевельнулся, и старуха скорее почувствовала, чем увидела и поняла, что мужики все еще не выбрались из пьянства, возятся в нем, как мухи в отраве, в которую для приманки добавили сметаны. В ногах у старухи глубоко, достав изнутри стон, вздохнула Варвара. Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стояла тумбочка.

И тут на старуху напал страх. Изогнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались:

— Таньчора!

До того, как наклониться над старухой, Варвара оповестила:

— Матушка наша проснулась.

— Таньчора! — снова позвала старуха, отдав слуху все, что в ней осталось, даже дыхание.

— Она еще не приехала, мама.— Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люся.— Таньчора еще не приехала,— повторила она, видя, что старуха не понимает.

Они загораживались от света ладошками и щурили глаза. Старухе показалось, что они прячутся, потому что не хотят сказать ей правду, и она не поверила им; качая головой, она обвела их умоляющим, до последнего натянутым взглядом, который смогла выдержать только Люся, и задохнулась, будто влезла на крутую гору, не оставив сил больше ни на шаг. Таньчоры не было тут, старуха должна была понять это с самого начала, как пробудилась: при Таньчоре говорили бы о другом. Проспала. Она все еще качала головой, не веря ни себе, ни им и не в состоянии выговорить ни слова — голова ее в отчаянной мольбе, как у нищенки, тряслась на подушке, а горло все никак не отпускало от перехватившей его боли и невозможности вернуть ни одной капли света, которая посветила бы Таньчоре. В окне, как в зеркале, замазанном с той стороны черным, отсвечивала только залитая электричеством комната, за стеклом не проступало даже самое маленькое пятнышко. Старуха приподнялась на локте и, подаваясь вперед, чуть не вываливаясь из кровати, нетерпеливо и жалобно спросила:

— Где? Где она?

Она застыла прислушиваясь; глаза, не глядя ни на кого в отдельности, смотрели широко, чтобы не пропустить того, кто принесет ответ.

— Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она,— спокойно сказала ей Люся.— Пойми, пожалуйста: мы сами ничего не знаем.

— Ей-богу, матушка, мы ее не видали.— Для пущей верности Варвара прижала руки к груди.— Я врать тебе не буду. Не видали.

— Приедет,— бодро и даже как бы радостно подхватил Илья. Скорей всего, он и в самом деле был рад, что разговор с него и Михаила переместился на другое.— Сегодня не приехала, завтра приедет — ага.

— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она?

— А вот этого мы тебе сказать не можем. Приедет — сама расскажет.

— Вчерась вы мне так же говорели, а где она?— потерянно, как в бреду, повторила старуха и не услышала себя, потому что слова эти, не найдя ответа в первый раз, вернулись обратно и, входя, виноватым эхом отозвались в ней сами. Что теперь об этом спрашивать? Зачем? Теперь она знала: нет, не приедет. Время, которое было ей отпущено, вышло. Больше ждать ни к чему. Не приехала Таньчора. Не приехала. Так и не увидела ее старуха.

Она опустила голову на подушку и заплакала.

— Ну вот,— хмыкнул Илья.— Начинается.

— Матушка! Матушка! — завозилась Варвара.

В старухе вдруг что-то оборвалось, что-то с коротким стоном лопнуло, и стон этот, не успев заглохнуть, неожиданно переиначился во вчерашний звон, запомнившийся ей еще в девичестве и звучащий мягкими благовестными ударами, не прерывающими, а, наоборот, подхватывающими один другой. Старуху потянуло к нему так сильно, что она не могла и думать о том, чтобы сопротивляться. Поначалу идти надо было немного, совсем рядом, но потом звон стал отдаляться, уводя за собой старуху все дальше и дальше, но звучал все так же чисто и ясно, чтобы она не потеряла в него веру и знала, куда двигаться. Она едва помнила, что перед тем ей почему-то было больно и она плакала от какой-то потери, теперь боль утихла, и идти за звоном легко и радостно, теперь старуха плакала от радости, оттого, что все так хорошо кончается.

Старуха плакала, не закрывая лица и не трогая ле-

жавших по бокам рук. Глаза ее были открыты, из них сочились редкие темные слезы и медленно стекали по лицу. Она плакала неподвижно и молча, без единого звука. Только катились слезы. Лицо ее было почти спокойно и оттого казалось насмешливым. Все это настолько не вязалось одно с другим, выглядело настолько неправдашним и жутким, что ошеломило Варвару, сидевшую возле матери: опомнившись, она вскрикнула и, наваливаясь на старуху, изо всех сил принялась ее трясти. Подскочила Люся, подошел, заглядывая из-за спин сестер, Илья. Михаил приподнялся и опять опустился на свое место.

Старуха застонала. Люся наконец оторвала от нее Варвару, и старуха повела в сторону головой, умоляя не трогать ее. Чтобы оттеснить от матери сумасшедшую Варвару, Люся присела рядом со старухой, которая пошевелилась сама, своим движением, и отодвинулась от дочерей к стене, ладонью утерев с лица свои молчаливые слезы.

— Ты что это, мать, так пугаешь нас? — сказал Илья, возвращаясь к столу.— Я же тебе говорю: сегодня не приехала, завтра приедет — ага. Подождать надо.

— Мало ли что могло задержать ее,— подхватила Люся и поморщилась: она и сама не верила в то, что говорила, но все-таки продолжала: — В самом деле подождем, теперь нам торопиться некуда.

Старуха слышала и не слышала их; она слышала слова, которыми они старались ее подбодрить, различала, кто их произносит, чей голос, а то, что было в этих словах, не доходило до ее понятия. Она пропускала их мимо. Она лежала, глядя перед собой невидящими глазами и чувствуя внутри себя горячую пустоту, и помнила, что она лежит тут только потому, что еще не успела умереть. Но больше ничего не держало ее здесь, никакая причина. Теперь оставалось потерпеть, пока душа, жившая все это время в ожидании и надежде, снова станет ясной и примирит старуху со случившейся потерей, облегчит ее от страданий и жалости, чтобы не оставить в себе ничего лишнего — ничего, кроме себя. Она не хотела моментального освобождения, зная, что все выйдет так, как и должно быть, что ее судьба и без того уже прикатилась к своему месту, где ей осталось лишь остановиться.

Они говорили и говорили, думая, что матери стало легче и что это они помогли ей своими словами. Она не отвечала им, но частое упоминание Таньчоры, подталки-

вая старуху раз за разом, постепенно воротило ее оттуда, где она оставалась одна. Ее удивил электрический свет, но он напомнил ей о свете, в который не уложилась Таньчора и который уже не вернуть и не добыть никаким электричеством. И сразу же в ней ожила боль. В тревоге, не желающей терпеть нисколько, ни одной капли, старуха встрепенулась и увидала их совсем рядом: вот Люся, вот Варвара, Илья, Михаил... Таньчоры не было. Ее и не могло тут быть.

— С ей че-то стряслось,— казалось, старуха повторила за кем-то эти слова и только теперь, повторив, испугалась.— С ей че-то стряслось,— громче и настойчивей сказала она.— Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю.

— Ты что это, мама?! — удивленно и обиженно поднялась с кровати Люся.— Ты что это?! Что мы должны тебе говорить?! В чем мы тебя обманываем?!

— Омманываете, омманываете.— Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, и платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы.— Я знаю, омманываете. Скрываете от меня, чтоб я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не будет завтри. Вы думаете, я совсем из ума выжила, ниче не понимаю.— С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она и в самом деле походила на сумасшедшую.— Да Таньчора первая на крылах сюда к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как маленькая, как ребенок, жду, жду...

— Перестань, пожалуйста, мама! — прикрикнула Люся.— Ты хоть думаешь, что говоришь? Никто тебя не обманывает — понимаешь ты или нет? Мы сами не знаем, где твоя Таньчора.

То, как сказала это Люся, ее голос, которому нельзя было не подчиниться, заставили замереть всех и остановили старуху: она испуганно умолкла, и ее открытый рот задрожал, губы старались и не могли сомкнуться.

— Когда с ей че доспелось, мине ить и на том свете смерти не будет,— жалобно сказала она.

— Мы не знаем, доспелось с ней что-нибудь или не доспелось.

Старуха убрала из-под себя руку и тихонько опустилась в кровать, в свою лежню. Кровь торопливо отливала от ее лица, и лицо на глазах бледнело все больше и больше.

В тишине хорошо слышно было, как с тяжелым присвистом дышит Варвара.

— А там, где она тепери живет, там война шла или нет?

Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

— В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от,— с горькой правотой закивала себе старуха и запричитала:— Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туда поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль теперь выберешься?! Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди,— перебил ее Илья.— Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?

— Опять «где она». Сказка про белого бычка у нас с тобой, мать, получается — ага.

— Ладно, хватит.— Михаил пристукнул ладонью по столу и, качнувшись, поднялся.— Не приедет ваша Таньчора, и нечего ее ждать. Я ей телеграмму отбил, чтоб не приезжала.

Старуха вздрогнула.

— Че он говорит? — не поверила она.

— Я говорю, что отбил ей телеграмму, чтоб не приезжала. Незачем ей сюда было ехать.

— Ой, что надела-а-ал! — ахнула Варвара.

— Когда это ты успел дать ей телеграмму?— быстро спросила Люся.

— Как мать проснулась, так и дал.

— Почему в таком случае ты до сих пор молчал?

— С этой пьянкой у меня из головы все вылетело. Забыл.

— А сейчас ты точно помнишь, что давал телеграмму?

— Точно помню.

— Может, тебе это тоже по пьянке, как ты выражаешься, приснилось?

— Нет, не приснилось. Отбивал — можете на почте

проверить. Разговор сейчас об этом зашел, у меня и всплыло, что отбивал.

— Ну, вот видишь, мать, ничего с твоей Таньчорой не стряслось,— обрадовался Илья.— Жива, здорова, чего и нам желает — ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил: подождать надо, и все выяснится. Это всегда так. Главное — не торопиться, выждать.

Старуха не слышала его.

— Дак он пошто так сделал-то? — прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии.— Он пошто так сделал-то? — спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал.— Ты пошто так сделал-то, Михаил?

— Пошто, пошто... Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.

— Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то? — Старуха закашлялась, обида перехватила горло.— Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне че-нить сказала. Я ей матерь родная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне ниче от ее не надо, никаких подарков, ниче — только узнать ее, поглядеть под конец, какая она тепери стала.— Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон.— А ты че натворил? Ты у меня последнюю радость отнял, последний свет загородил. Ты меня перед смертью без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела.

— В самом деле, какое ты, Михаил, имел право, не посоветовавшись с нами, один решать, ехать Татьяне или не ехать? — раздраженно спрашивала Люся.—Ты ведь тогда как будто еще трезвый был, значит, должен был понимать, что делаешь.

— Прямо ни стыда, ни совести у человека! — подхватила Варвара.

Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.

— Он ить нарочно это сделал,— медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать.— Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да досадю,

не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной.

— Не собирай ты, мать, всякую ерунду. Зачем бы я стал нарочно это делать, что ты выдумываешь?!

— Нарочно, нарочно.— Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее.— Ты думаешь, я молчать буду? Не буду — мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему поперек горла стою. Че с меня взять? А подавать мне надо — от он и злится, всяки фокусы надо мной строит.

— Опомнись, мать, что ты городишь?! — Михаил сделал шаг к старухиной кровати.

Варвара закричала:

— Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить.

— Городишь, говоришь? — с вызовом сказала старуха и помолчала, как бы заманивая Михаила спорить. Он, покачиваясь, стоял теперь посреди комнаты.— А не помнишь, как ты напужал меня?

— Ничего я не помню.

— Пришел от так же пьяный: «Лежишь, мать?» — «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что у нас тепери только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» — «Как не полагается? Всегда, покуль смерть не придет, жили, никто не прогонял».— «Жили,— говорит,— а тепери нельзя, я сам в газетке читал».

— Это средняя продолжительность жизни у нас в стране,— догадалась Люся.— Это он, наверное, о ней говорил.

— Как это?

— Ну как... Каждый живет, мама, сколько может. Один больше, другой меньше, а когда подсчитали, оказалось, что человек в нашей стране живет в среднем семьдесят лет. Вот ты, например, проживешь девяносто...

— Не надо мне твои девяносто — куды мне их?

— Я к примеру говорю. Ты проживешь девяносто, а кто-то другой только пятьдесят. Это и будет у вас на двоих по семьдесят. А у нас сейчас на всю страну в среднем приходится по семьдесят. Ты понимаешь меня?

— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она мне говорит:

«Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась — че там говореть. Сидим с ей и трясемся. Я говорю: «У тебя ноги ходят, ты сходи к Егорше, он в эти газетки тоже смотрит, моить, слыхал». Она пошла. Дак от Егорши рази че путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине черного мыла нету?» — «Однако, правда, нету».— «От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем». Она говорит: «Ты, Егорша, надо мной зубы не мой, я не твоя Наталья, я терпеть не буду». Он ее ишо боле запужал. «Не веришь,— говорит,— не верь, вскорости сама увидишь. Он в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на этих днях сюды приедут». Ну. Это ить подумать надо. Тоже похвалить нельзя — я бы пошто правду не сказала? Мы с Миронихой — две старухи — то ли живые, то ли мертвые, она уж и домой не идет. Кому охота на удавке болтаться? Мы ить крещеные, у нас бог есть.

— Ишь, че творят, ишь, че творят! — всплеснула руками Варвара и всхлипнула: — Над матушкой нашей так издеваться — это че ж такое на белом свете творится?!

— Когда я тебе, мать, так говорил? — Михаил качнулся и вытер ладонью потное лицо. Он едва держался на ногах, даже со стороны видно было, что его мутит. Вся тошнота от вчерашней и сегодняшней водки подступила к горлу, и он судорожно сглатывал, пытаясь протолкнуть ее вниз. Сгорбившись, он переступал с ноги на ногу и уже не помнил, сам ли он поднялся из-за стола, за который можно было держаться, или его вывели сюда, на середину комнаты, силой. Мать, как привидение, то качалась перед его глазами, то вдруг пропадала, он никогда не видел старуху с распущенными волосами и боялся ее, но стоило ему перевести глаза на кого-нибудь из сестер, как комната, входя в свои пазы, испуганно замирала и мать послушно опускалась в кровать, но потом снова куда-то исчезала, поднималась в воздух, а комната, поскрипывая в углах, начинала кружиться. Но то, что рассказала старуха, казалось, удивило его, и он, поглядев перед тем на Варвару и остановив кружение, спросил:— Когда я тебе, мать, так говорил?

— Он и не помнит. Ниче не помнит. Сказал и забыл. Ну. А я с ума сходи.

— Правда, не помню.

— Что это такое, Михаил? — Люся начала почти ласково, вкрадчиво и вдруг сразу подняла голос: — Что это такое? — я спрашиваю. Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже, как назвать то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство, самое настоящее самодурство! Даже хуже. Кто тебе дал право так издеваться над ней?! Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что — защитить некому? Один он у тебя? А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно.

— Слушай, матушка, слушай,— теребила старуху Варвара.— Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он че думает — на него управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется. Не на таких находилась.

— В конце концов можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо — обойдемся.

— А что?! — Михаил вдруг вскипел.— А что, может, кто-нибудь из вас заберет ее, а? Давайте. Забирайте. Корову отдам тому, кто заберет. Ну? — Он протянул руку, показывая на старуху, и зло, едко засмеялся.— Что ж вы? Корову отдаю. Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте. Что вы раздумываете? Я такой-сякой, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? — Он шагнул к Люсе.— Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать? Ты будешь за ней ходить? А корову продашь — деньги будут. Матери много не надо — видишь, она почти не ест. Ей коровы выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая, все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил,— что ты стоишь?!

— С ума сошел! — задохнулась Люся.— Ты сумасшедший!

Откуда-то вывернулась Надя и бросилась к Михаилу:

— Перестань сейчас же, перестань! Не позорь нас. Уйди!

Он оттолкнул ее:

— Тебя здесь еще не хватало.

— Не слушайте его, не слушайте! — кричала Надя.— Не верьте ему.

Михаил опять засмеялся и почувствовал, как развеселилось в нем терзавшее его похмелье, как от радости оно взвыло и бросилось в пляс.

— Я с ума сошел — все ясно. А матери нельзя находиться с сумасшедшим. Тогда, может, ты ее заберешь?— весело спросил он у Варвары.— Уж тебе-то корова никак не помешает. А с твоей семьей мать не соскучится. Там ей будет куда как спокойней, с дочерью всегда лучше, дочь не напьется, не обидит. Ну? Соглашайся, соглашайся — что ты молчишь?

— Да у нас жить негде,— растерялась Варвара.— У нас Сонька сызнова прибавку ждет. Я бы взяла.

— Жить, говоришь, негде? И корову, значит, поставить тоже негде?

— Нет, корову есть где. В стайке.

— Корову есть где, а мать негде. Мать в стайку не поместишь — вон она,— он показал на Люсю,— лет через пять или десять приедет и скажет, что это выходит за всякие рамки. А я ей подвою. Да я и не позволю, чтобы мать в стайке жила. Мне тоже надо, чтобы она находилась по-человечески.— Он повернулся к Илье.— А ты, Илья, как ты на это смотришь? Может, тебе забрать нашу мать? Увезешь ее к своей бабе, та будет за ней ухаживать. А то ты все на работе да на работе, ей там не с кем ласковым словом перекинуться. А мать у нас, сам видишь, бессловесная, она для нее сгодится. После меня она там отдохнет у вас.

— Ты перепил, Михаил,— нервничая, сказал Илья.— Ты и сам не понимаешь, что делаешь,— ага.

— Неужели ты не понимаешь, что маму сейчас нельзя никуда трогать? — крикнула Люся.

— Значит, никто не желает? — Михаил крутанулся на месте и еще раз обвел всех сумасшедшими глазами.— Никто. И корова никому не нужна. Тогда, может, без коровы? Тоже нет. Ясно.— Он набрал в легкие воздуха и прошипел: — Тогда идите вы все от меня, знаете куда... И не говорите мне, что я такой да разэтакий, не лайте на меня. А ты, мать, ложись и спи. Ложись, где лежала. Они так тебя больше любят, когда ты здесь лежишь.

Он бросился в дверь.

В тяжело упавшем, напряженном и горьком молчании старуха взмолилась:

— Господи, отпусти меня, я пойду. Пошли к мине смерть мою, я готовая.

В бане Михаил трясущимися руками достал в темноте из печки бутылку, нашарил на курятнике стакан. Придавив его сверху пальцем, он лил из бутылки до тех пор, пока водка не потекла через край, потом сплеснул лишнее на пол, за́лпом выпил и повалился на постель, на которой перед тем спал Илья.

10

В ту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе. Тогда, глядишь, приедет и Таньчора, придется Михаилу давать ей еще одну телеграмму, чтобы ехала, никуда от этого не де́нешься. Старуха подумала о ней уже без боли, зная, что все равно ей не увидать Таньчору. Зря надеялась, изводила себя и других. Теперь бы уж давно готовенькая лежала и забыла, что она была, жила,— обо всем бы забыла, от всего освободилась. Конечно, дождись она Таньчору, и смерть была бы чище и светлей — на это старуха и рассчитывала. Ну да ладно — что теперь душу травить, ее не травить надо, а отпустить с покаянием, пускай себе летит. Пора.

Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет. Улеглись в этот вечер рано, сразу же после позорища, которое учинил Михаил, но уснуть не могли — ворочались, вздыхали. Не так-то просто выкинуть из головы все, что он наговорил, и забыться — это не кнопка, которой включают и выключают электричество: нажал — светло, нажал — темно. Уснула, может, только Нинка, но и та что-то причмокивала во сне — или улеглась с конфеткой во рту, или за день до того натрудила свой язык сладким, что он еще и теперь не найдет себе места.

Старуха много раз думала о смерти и знала ее, как себя. За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот

и понимающе вздыхала. Они договорились, что старуха отойдет ночью: сначала уснет, как все люди, чтобы не пугать смерть открытыми глазами, потом та тихонько прижмется, снимет с нее короткий мирской сон и даст ей вечный покой.

Это неправда, что на всех людей одна смерть — костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами. Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом.

Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга — да и сил для этого у них не осталось. Старуха не будет сопротивляться, а та, другая, не станет злиться на нее за то, что она так долго водила ее за собой: она делала это не нарочно и никогда не боялась смерти — разве только по молодости, по глупости,— а так всегда почитала ее избавлением от мук и позора. И если она до поры не звала ее, то и гнать от себя тоже не гнала и больше других жить не собиралась — жила, как выходило. А теперь время звать. Хватит.

Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его — и сама не поймет, что натворила. А он-то, бог-то, где был, куда смотрел? Грех, грех, когда ребенок, только-только родившись и не успев разобрать, что с ним, почему он видит в глазах свет и чувствует в животе голод, принужден тут же и потерять себя, не имея за собой даже капли вины, чтобы с ним можно было так обходиться. Зачем тогда его обманывали —

рожали? Зачем показали ему белый свет и дали человеческое понятие?

Она и сама похоронила пятерых и уложила их рядом друг с дружкой, чтобы они не тосковали по отдельности. Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишка, тот умер и совсем ни от чего. Еще с вечера был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она подняла его из зыбки на руки, дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним. Потом услыхала, что он откинулся, но еще посидела, подержала его, чтобы он уснул крепче, а когда собралась подниматься, будто кто в бок ее толкнул: что это от него тепла нету? Хватилась — а он уж и зубки приоткрыл. Она думала, он сосать хочет, а он на руки к ней просился, чтоб возле матери умереть, не одному. А за что, за какие грехи? Какие у него там грехи, когда он даже ходить не умел и только смотрел, как ходят другие, когда он даже говорить не умел и только понимал, ласковое или нет ему говорят другие? Если он почти ничего из человеческого не умел — только есть да спать, но и этому научился не здесь и не сам, а еще раньше, когда не по своей охоте и не по своей молитве выправлялся в человеческий росток.

Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог и взял. Но сюда эта поговорка не подходила. Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? А больше того — как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти больше, чем он был,— как можно после этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех.

Еще троих старухе не пришлось похоронить — этих убила война. И то, что мать не видела их смертей и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, но что-то, наверно, делать надо было, а не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды. Вот и дождалась — принесли три похоронки, на каждого по бумажке. Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не

ребята, а мужики, а остались от них три бумажки.

Так что ей есть от кого уходить и есть к кому уходить. Кроме своих ребят, там у нее отец, мать, сестры, братья. Из большой отцовской семьи она одна задержалась здесь, последний брат скончался в позапрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то лихолетье довелось умереть своей смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: успел доехать до дому; стояло лето.

Старуха приняла кончину старика как судьбу — не больше и не меньше. К тому времени она уже привыкла обходиться в семье без него. Они жили друг с дружкой не сказать, что совсем плохо, потому что живут еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, хотя, может, было бы лучше, если бы пил; человечью дурь, как накипь в котелке, тоже надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих тут бывает лекарством: выпил, песни попел, почудил и — отмяк, варись дальше. В нем эта дурь не проходила месяцами, и тогда он не давал старухе никакого житья — и то ему не так, и это не по нему. Что бы она ни сделала, все было неладно. Она сама себе диву давалась, откуда бралось в ней терпение переносить его попреки, которые сыпались и днем и ночью. Потом дурь вдруг поворачивалась на другой бок: он умолкал и мог не сказать ни слова хоть полгода. Хорошо еще, что дома он находился мало: то уходил на охоту, то уезжал на заработки, то на зиму устраивался возить из города в сельпо грузы, а тогда, до войны, их возили на конях, ездили подолгу.

В его кончине старуху больше всего поразило то, что ему, побывавшему где-то возле самой войны, где смерть поголовно перешла в смертоубийство, удалось воротиться домой и в тишине и покое принять свою собственную смерть. Она нашла в этом для себя тайный знак и сразу примирилась со стариком. «Господи, прости нам прегрешения наши...» — начала она молитву, когда увидала, что он отошел. Она не сказала: его прегрешения, она сказала: наши. И слезы ее, скорбь ее были настоящими. Как-никак он был отцом всех ее ребят — и мертвых, и убитых, и живых. Что правда, то правда: ей есть к кому уходить и есть от кого уходить.

Она прислушалась: где-то за окном позванивало на скотине ботало, по избе, сталкиваясь волнами, ходило ды-

хание людей, а спят они или не спят, было не понять. Нет, еще рано, лучше не торопиться.

Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно видела всю картину перед глазами. Может быть, потом, перед самой кончиной, это открывается каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще в памяти, досмотрел свою жизнь до последней точки. О начале ему рассказали, когда он подрос и стал понимать что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.

Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло — словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда она наконец сойдет на землю, покрытую сверху желтой соломой, и поймет, что теперь полностью уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить свою ладонь. Немея от страха и радости, которых она никогда не испытывала, старуха мелкими шажками начнет подвигаться к протянутой руке, и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый, как после дождя, простор, залитый ясным немым светом. Душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу же увидит, что пришла. В последний момент ей захочется отступить или обойти место, к которому несли ее ноги, но она не сможет ни того, ни другого и остановится как раз там, где надо, а потом, уже не владея собой, виновато подаст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой, приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон.

Сначала он ударит громко, празднично, как в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний гром в нем уберется, и над старухиной головой поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя и увидит, что она одна: та, другая старуха исчезла.

И тогда, никого не пугаясь, счастливо и преданно

она пойдет вправо — туда, где звенят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а кто-то, оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.

Как только она скроется из виду, глаза опадут и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут — до следующего раза. Земля сровняется, и наступит утро. Живое утро.

Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего, все истратила — пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видала она в своей жизни? Только одно и знала: ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра. Восемьдесят годов, как видно, одному человеку все-таки много, если она поизносилась до того, что теперь только взять да выбросить, но, оглядываясь сейчас на них со своего смертного порога, она не находила между ними большой разницы — все они, подгоняя друг друга, прошли одинаково в спешке: по десять раз на дню старуха задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась — уже высоко, уже низко, а она все еще не поправилась с делами. Всегда одно и то же: теребили с чем-нибудь ребятишки, кричала скотина, ждал огород, а еще работа в поле, в лесу, в колхозе — вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба. «Скорей, скорей»,— подгоняла она себя, набрасываясь то на одно дело, то на другое, а им, сколько ни делай, не видно было ни конца и ни края. Вот так и пролетела вся жизнь, по годам вроде долгая, разная — вон сколько меры старуха взяла на себя, а по памяти бедная: одно находило на одно, год на год, забота на заботу. Старуха еще захватила, как сидели при лучине, при ней перешли на керосиновые лампы, теперь давно уже чиркают электричеством — все это не так скоро делалось, как сказывается, но все это, одно слабей, другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поопнулись и годы, заскрипели над ее головой длинными сонными зимами — смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было довольно.

Но она не жаловалась на свою жизнь, нет. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна,— двух бы не хватило. А старуха жила нехитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, старела — и все это там же, где родилась, никуда не отлучаясь, как дерево в лесу, и справляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому — зато она их слушала, когда доводилось, удивлялась их рассказам, да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других, но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидать или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь — не змея. И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил — для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь — своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась — будь, иначе нельзя. Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением — мучительной радостью, она не знала, где они сходились и где расходились и что из них для нее было полезней, она принимала их в себя для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем.

Старуха лежала, слушала — слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским, рясным светом звезд, слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам — и все это помогало ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте.

И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной,

удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей.

Она вспомнила слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца. Он не был пьян от вина, его опьянило удивление, что он, сам почти еще парнишка, стал отцом и принял первое участие в продолжении человеческого рода. Он сказал:

— Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от него еще кто-нибудь.— И добавил с затаенностью и горечью провидца: — Вот так оно все и идет.

Он только тогда понял, что вот так оно все идет, шло и будет идти во веки веков и до скончания мира, когда эта простая, никого не обходящая истина, не замкнувшись на нем, накинула на него новое кольцо в своей нескончаемой цепи. И тогда же как следует, по-взрослому и наедине сам с собой он понял, что смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба. И это заставило его пойти к матери и сказать ей то, что она знала давным-давно и думала, что он знает тоже.

В какой-то момент старухе почудилось, что она находится в старом, изношенном домишке с маленькими, закрытыми изнутри окнами, а звездное завораживающее сияние проходит сквозь стены, сквозь крышу. Каждое из окошек — это воспоминание о ком-нибудь из ребят: здесь о Люсе, здесь о Варваре, а это об Илье, о Михаиле, о Таньчоре. Сверху еще один ряд совсем маленьких заколоченных окошек, которые трогать ни к чему,— это воспоминания о тех, кого уже нет в живых. Как лунатик, старуха бродит от окошка к окошку, не оставляя после себя тени, и не знает, какое из них ей открыть, куда посмотреть, кого выбрать.

Вся жизнь тут, в этих окошках. Растворяй их и гляди, чем ты, старуха, была богата, какие воспоминания, сохранившись, пошевелят после тебя послушные ягодные кусты на берегу реки, ветки березы на опушке леса или пахнут кому-то в лицо, вызвав в нем смутные и тревожные предчувствия, для которых в нем ничего не было. Только что с высокой ветки в лесу сонно, чуть не до земли, оборвалась птичка, но это еще не твоя жизнь, не твои воспоминания, перейдя в шорохи, в шепоты, в неясные распадающиеся звуки, потревожили ее сон, не твои — чужие.

Старуха пошевелилась, расправляя затекшее тело, и кто-то в той комнате, словно отзываясь ей, прося, чтобы она не забыла о нем, зашевелился тоже. Почему-то она подумала, что это ворочается Илья — он сегодня спал в избе.

Вот и Илья... Что ей выбрать о нем из долгой материнской памяти, на что взглянуть, чтобы не обидеть ни его, ни себя? Сегодня и воспоминания должны быть тихие, светлые, согласные; нехорошо, если хоть какая-нибудь горечь, какой-нибудь неверный крик, бывавшие прежде, потревожат эту последнюю прощальную ночь. Скоро, скоро время.

Вот и Илья... Илья рос заполошным: свой огород полным-полнехонек, а он лез в чужой, самим есть нечего, а он единственный кусок отдавал первому встречному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту. Как-то заставили его, еще мальчишку, побыть возле подводы с хлебом, собранным на мельницу,— слышат: война, пальба. Это Илья, вместо того чтобы сидеть на возу и отгонять куриц хворостиной, забрался на амбар и давай оттуда выцеливать их из ружья, ни за что ни про что порешил поросенка и двух молодок. В другой раз, уже парнем, вытворил тоже не лучше. Приехала в колхоз откуда-то какая-то комиссия с проверкой, а Илья да двое ребят с ним пахали за Верхней речкой зябь. Только комиссия показалась, он разделся догола и в чем мать родила похаживает за плугом, посвистывает. В комиссии были женщины, они побоялись к нему подступиться, так ни с чем и повернули, не посмотрев, хорошо ли пашут, а после, видно, отыгрались на председателе, потому что он накинулся на старуху, будто это она могла научить сына ходить по борозде нагишом.

Но сейчас старухе вспомнилось другое. Илью тоже брали на войну, только уже под конец, и воевать ему не пришлось: пока его там чему-то обучали, война, слава богу, прекратилась. Провожая его, об этом, понятно, еще не знали.

Стоял сухой, ветреный перед зимой день; готовая подвода ждала в ограде, дорожный мешок был уложен, ворота распахнуты — осталось проститься. Илья — маленький ростом, прибитый и одновременно возвышенный отъездом на войну, главный, уже наполовину чужой в эту последнюю минуту — подошел к матери. Она перекрестила его, и он принял ее благословение, не отказал, она хоро-

шо помнит, что он не просто вытерпел его, жалея мать, а принял, согласился, это было у него в глазах, которые дрогнули и на миг засветились надеждой. И старухе сразу стало спокойней за него.

Воспоминание об одном отъезде потянуло за собой другой — они не были похожи и все-таки, видно, в старухиной памяти всегда находились рядом.

Люся уезжала в город летом, по воде. На пристань пришли рано, задолго до парохода, и табором расположились на берегу, разведя курево от мошки, которой тогда было — не продохнуть. Люсю окружили подружки, завидуя ей и жалея ее, возле них же крутилась Таньчора, а старуха одна сидела на низком, вросшем в землю бревне, неподалеку от девчонок и тоскливо, покорно караулила, когда над островом покажется пароходный дым. Наконец он показался, но остроглазые девчонки увидали его раньше и сразу подняли гвалт, завскрикивали, теребя Люсю, что-то наказывая ей, перебивая друг дружку. Старуха сидела молча и подавленно.

Пароход пристал, и Люся торопливо стала совать подружкам руку, последней подала матери. Старуха пожала ее горячую растерянную ладошку и подтолкнула за плечи — иди, и сама тоже отошла чуть в сторонку от толпы, где бы ее лучше было видно. Трап быстро убрали, пароход зашевелил колесами, оттолкнулся, и Люся вместе с ним отодвинулась от берега, поплыла. Она стояла у борта, за белой металлической решеткой, и махала рукой подружкам — мать она почему-то не видела, хоть старуха два или три раза крикнула ей, а потом, чтобы броситься дочери в глаза, начала, как блажная, подпрыгивать и выбрасывать вверх руки.

Уже с накренившегося борта, готового черпнуть воду, пассажиров погнали на другую сторону, уже пошла Люся... Старуха готова была заплакать. И вдруг, оглянувшись в последний раз на берег, Люся оттолкнула парня в тельняшке, который выпроваживал ее со старухиных глаз, бросилась обратно и истово, отчаянно, горько замахала матери сорванным с головы платком. Лицо у нее было испуганное, белое, в глазах моментально вскипели слезы. Старуха кинулась ей навстречу, забрела по колена в воду, но пароход уже разогнался, зашлепал в полную силу, и вслед ему, слепя, подгоняя, превращая его в сияющую игрушку, ударило сзади солнце.

У старухи тогда было такое чувство, что они простились навсегда.

Неожиданно, перебивая ее воспоминания о ребятах, перед ней высветился дальний-дальний день — и тоже с рекой.

Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся по-летнему единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и там по траве, как жучки, катятся росинки, в реке еще плавают пузыри, ходит пена — все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды. Земля, опьяненная дождем, раскрылась, распахнулась догола, дышит утомленно, с наслаждением, небо над ней снова глубокое, ясное, голубое.

Она не старуха — нет, она еще в девках, и все вокруг нее молодо, ярко, красиво. Она бредет вдоль берега по теплой, парной после дождя реке, загребая ногами воду и оставляя за собой волну, на которой качаются и лопаются пузырьки. Песок на берегу темный и ноздреватый, берег низкий, прямо напротив него остров, где-то там на мысу шумит вода. Протока длинная, сильная и пустая, в ней хорошо видно течение, его широкую прямую струю.

Она все бредет и бредет, не спрашивая себя, куда, зачем, для какого удовольствия, потом все-таки выходит на берег, ставит свои упругие босые ноги в песок, выдавливая следы, и долго с удивлением смотрит на них, уверяя себя, что она не знает, откуда они взялись. Длинная юбка на ней вымокла и липнет к телу, тогда она весело задирает ее, подтыкает низ за пояс и снова лезет в воду, тихонько смеясь и жалея, что никто ее сейчас не видит. И до того хорошо, счастливо ей жить в эту минуту на свете, смотреть своими глазами на его красоту, находиться среди бурного и радостного, согласного во всем действа вечной жизни, что у нее кружится голова и сладко, взволнованно ноет в груди.

Еще и теперь при воспоминании о том дне у старухи замерло сердце: было, и правда было, бог свидетель.

Она подумала: неужели эта красота еще и сейчас является людям, неужели за то время, которое она прожила на свете, красота совсем нисколько не увяла и не померкла? Можно ли, переплыв на противоположный от деревни берег, где она тогда была, застать ее там хоть

раз в том же виде, в той же свежести и радости? Столько всяких на земле перемен — неужели одна она осталась прежней?

Ей стало обидно, грустно, но она тут же пристыдила себя: хороша бы она была, если бы хотела, чтобы все на свете старело и умирало вместе с ней.

Когда-то давно, когда Варвара была еще девчонкой, старуха нашла ее однажды в проулке, где Варька, стоя на коленях, щепкой раскапывала землю.

— Ты че тут делаешь? — спросила ее мать.

— Рою.

— Зачем?

— Тут курица рыла, а собака прибежала и согнала ее. А я увидела. Ты меня не прогонишь?

— Нет, не прогоню.

— Тогда я посижу, порою.

Мать посмеялась про себя и ушла. Когда Варька воротилась домой, мать поинтересовалась:

— Нашла ты че-нить там, где копалась?

— А я ниче не искала, я так рыла. Только меня бык бодучий согнал. Иди прогони его и порой.

— Зачем?

— Так. Рой, и все. И увидишь.

— Че увидишь?

— Не знаю. Че-нибудь увидишь. Интересно.

Вот почему теперь, через много-много лет, к старухе пришло неожиданно желание сесть где-нибудь в поле на корточки и рыть по Варькиному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая она есть, отыскивая то, что никто еще в ней не знает. Смеются: старый да малый, имея в виду, что один выжил из ума, а второй его еще не нажил. Правильно, старый да малый — только они как следует и способны чутко и остро удивляться своему существованию, тому, что окружает их на каждом шагу.

Ночь настыла, сделалась тверже, ее ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, ворожило на стенах. Старуха не забыла, как звенит и играет в эту пору небо, с какой призывной страстью и обещанием горят звезды и близко, царственно ходит молодой месяц. А на земле тихо, мертво, недвижно — все убрано сном, все в его глубоком, колдовском оцепенении.

И старуха, содрогнувшись, решила: пора. Самое время, ночь перевалила на вторую половину, больше ждать нельзя.

Сон сейчас крепкий, никто не услышит, не помешает. А ночь веселая — тоже хорошо, она и проводит.

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло. В ней успело шевельнуться и тут же погасло слабое удивление своей невесомостью, тем, насколько легко, как в воздухе, поддалось движению ее тело. Оно пока еще было тут, с ней, и она слышала, как сердце, обманывая, посылает ему свои токи. Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся.

Глаза у ней все еще были открыты, она по-прежнему держала в них мертвенно-бледный ночной свет — последнее, что осталось ей видеть. Пусть он плотнее накроет все, что бывало в глазах раньше, тогда сверху легче будет принять тьму. Старухе стало жутко и холодно от явившейся вдруг догадки, что она, прожив почти восемьдесят лет и всегда имея запас времени впереди, теперь повисла на волоске. В этот миг у нее уже не было ни капли будущего, только прошлое, вся жизнь сошла в одну сторону, а в следующий не будет ни того, ни другого. После нее останутся на свете ребята, а у самой старухи никого и ничего не останется, даже себя. Интересно, куда денется ее жизнь? Ведь она жила, она помнит, что жила, это было совсем недавно. Кому достанется ее жизнь, которую она, как работу, худо ли, хорошо ли довела до конца? Ну да, рукавички из нее не сошьешь — это правда. Помянут словом, кивнут в ее сторону, и все — была и быльем поросла. А потом и поминать забудут. Тоже правда. А что ей еще надо? Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась? А оставила после себя другие жизни — хорошо это или плохо? Кто скажет? Кто просветит? Зачем? Выйдет ли из ее жизни хоть капля полезного, жданного дождя, который прольется на жаждущее поле?

Как невнятный, неразборчивый ответ, в дальнем

темном углу скрипнуло, и старуха осеклась: это за ней.

И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей человеческой жизни она была на свете еще раньше. Как, чем была, ползала, ходила или летала, она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз. Вон и птицы рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом из яйца, значит, такое чудо возможно и она не богохульствует. Это было давным-давно, и ночью над землей разразилась гроза — с молнией, с громом, с проливным дождем, вокруг все гремело и полыхало, разверзая небеса, с которых стеной падала вода. Никогда больше в свете не случалось похожего страха; вполне может быть, что та гроза и убила ее, потому что больше она ничего не помнила, ни до, ни после, только грозу, но и это воспоминание мелькнуло перед ней отзвуком какой-то прежней, посторонней памяти.

Она осторожно перекрестилась: пусть простится ей, если что не так, она никого не хотела прогневить этим непрошеным воспоминанием, она не знает, откуда оно взялось и как оно к ней попало.

Только теперь старуха закрыла глаза — сразу, не сделав последнего прощального взгляда. Перед глазами в захлопнувшихся створках слева направо поплыли дымные извивающиеся колечки, словно кто-то тотчас принялся окуривать ее перед новым причастием. Она вытянулась и замерла, напрягшись в ожидании первого щекотливого прикосновения, от которого по телу начнет разливаться скорбная и усыпляющая благость. Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты — ничего не менялось. Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала.

Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут. Может, смерть думает, что она еще не готова,— пусть знает. Для верности она простонала еще раз, бередя жалобным и призыв-

ным звуком ночную тишину: не бойся, спускайся, я жду тебя.

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а, можно сказать, гоняла — мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе. Значит, ей теперь и смерти не выйдет? Нет-нет, так не бывает. Не умирает только тот, кто не рождается. Да и причина тут, наверно, все-таки другая. Уж со своим-то делом, для которого она существует на свете, смерть найдет как справиться.

Старуха дышала уже бестолково, тревожно. Только что уверовала, что очистилась от всего, чем живет человек, и вот на тебе, начинай все сначала.

Она одумалась: надо успокоиться, остыть. Что-то, собравшись умереть, она делала не так. Не смерть отступилась от нее, а скорей всего она сама помешала смерти, и помешала тем, что хотела взять ее работу на себя. Кому это понравится? Долгих восемьдесят годов та ждала своего единственного праздничного часа, на десять раз перебрала, что за чем пойдет, в каком порядке — у нее свои планы. Разве можно было в них вмешиваться? То-то и оно.

Она решила: надо уснуть. Для того и ночь, чтоб спали. А там, когда старуха не будет ни видеть и ни слышать, смерть подступит к ней смелее, уберет самые больные связи, которые держат старуху с людьми и миром, и тогда, может статься, разбудит, чтоб отойти ей в памяти. Ночи много, но еще не поздно, до утра успеть нетрудно.

Теперь старуха затаилась в постели для того, чтобы погрузить себя в обыкновенный человеческий сон, которым пользовалась в своей жизни тысячи и тысячи раз. Глаза она так и не открыла, только дала им послабление, чтобы они лежали легко, свободно и не помышляли о свете. Это им ни к чему. Тихонько трогая спиной кровать, она стала укачивать себя, ее губы нашептывали невнятные, под песню, слова, которыми баюкают детей. Она была совсем близко от забытья, ей чудилось, что ее бережно оборачивают мягкие серые материи, в которых она тонет все больше и больше, с удовольствием отдаваясь их приятной мягкой толще и завораживающему шуршанию, но что-то

вернуло ее обратно, а потом безжалостно возвращало снова и снова.

Сон не шел. Старуха догадывалась, в чем дело: он накреп, окаменел к этой поре настолько, что стал неподвижным и глухим, из него трудно сейчас выйти, но еще труднее в него войти. Из-за одного человека он не будет поворачивать обратно, и приставать к нему бесполезно. Надо как-то по-другому. Надо, видно, просто лежать, ничего не хотя, кроме лежания, ни на чем не настаивая,— тогда, быть может, от безделья само собой ее сморит, закружит и ненароком подобьет ко сну, он и знать не будет, кто она такая, и примет ее за свою. Вот хорошо бы. Надо не торопиться и держаться так, будто времени у нее впереди сколько угодно и ночь только начинается.

Она стала подготавливать себя: ослабила дыхание и тело, смирила расходившуюся грудь и удобно переплела на ней руки. Как она и надеялась, ей повезло, ее почти сразу подхватила сладкая, мягкая волна, покачивая и вынося ее в блаженную тишь, до которой оставалось уже совсем немного, всего несколько мгновений,— как вдруг бесстыдно, громко, заполошно где-то в деревне завопил петух. Это было так неожиданно, так некстати, что у старухи сам собой вырвался острый сдавленный стон и раскрылись глаза — она сейчас же захлопнула их, но уже поняла, что поздно, напрасно. Все пропало. Не спаслась. Если спасение даже и было рядом, теперь оно далеко. Вслед за первым петухом заголосил второй, потом третий, четвертый...

Все вышло зря. Больше старухе надеяться было не на что.

Уже понимая, что делает, она открыла глаза, и ее охватил стыд. Другого такого позора она не знала: распрощалась, сказала последние слова, утешила себя последними воспоминаниями, застелила глаза мраком и — обратно. Кто же так поступает? Нет, она не испугалась, она никогда этого не боялась, перед собой ей лукавить нечего. Что до нее, то она умерла, и, как, на чью жизнь, на чье дыхание будет пробавляться ее грешное трусливое тело, оставившее в себе способность шевелиться, ей неизвестно.

Ночь гасла, звездный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Петухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало — ночь, торопясь, шла под уклон.

Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло. Все это вошло в старуху само собой, без всякого ее желания или нежелания, как в пустую открытую посудину, забытую не на месте. Она лежала потерянно и беспомощно, в полном оцепенении, и все на свете ей теперь было безразлично.

Она лежала так долго, до самого утра. А когда взошло утро и в старухину комнату набралось достаточно света, она очнулась и скинула с себя одеяло. Потом села. С отвращением глядя на свои ноги, она натянула на них чулки и сунула в шлепанцы. Все это старуха научилась делать еще вчера. Но сегодняшнее утро не походило на вчерашнее. Вчера она радовалась наступающему дню, возлагала на него надежды, думала о Таньчоре. И ничего из загаданного не сбылось. Ночь и та отказала ей в спасении, оставила без сна — уж этого-то добра у ней всегда хватало на каждого. На старуху не хватило. Она опостылела всем, никому не нужна — зачем тогда и ей считаться с собой, если никто с ней не считается?

Ухватившись за спинку кровати, старуха попробовала подняться в рост. Ноги под ней подогнулись, но она не пожалела их: раз не захотели умереть, делайте что вам велят, не прикидывайтесь бедненькими, все равно никто вам не поверит. Повиснув на руках, она выпрямила их и в отчаянном усилии заставила сдвинуться с места — идите. Если не умерли — идите, как ходят все живые ноги, и не вздумайте подломиться. И-ди-те! В них заскрипела, застонала каждая косточка, но и это ее не остановило. Скрипите сколько вам надо, но двигайтесь. Хватит вас слушаться, слушайтесь теперь вы. Перебирая руками по заборке, она волочила ноги по полу. Со стороны, наверно, показалось бы, что старуха ползет по стене — она почти лежала на ней, раскинув руки, которые искали, за что бы ухватиться. Через порог она перелезла на четвереньках — иначе его было не взять. У крыльца был еще один порог, пониже, но старуха уже не поднималась — так, на четырех подпорках, как собака, и вылезла на улицу, хоть лай или вой. Силы ее были на исходе, и она кое-как с большим трудом усадила себя иа верхнюю ступеньку.

Утро поднималось высокое, ясное, тугое. На небе, особенно в той стороне, которую могла видеть старуха, еще до солнца густо выступила синяя краска, и предутренняя муть утонула в ней. Было рано, но лес уже оправился ото

сна, стоял легко и свежо, отличая дерево от дерева, даже поверху зелень не сливалась в одно, а вычерчивалась мягкими живыми линиями. С насеста за амбаром снимались курицы и, хлопая тяжелыми крыльями, слетали вниз, где торопливо отряхивались и сразу принимались целить в землю, двигаясь быстрыми, согревающими шагами. И впрямь было прохладно, с реки доносило настоявшейся за ночь сыростью, в огороде холодно поблескивала на листьях роса. Но утро менялось, двигалось в свою сторону: только что казалось неподвижным, ленивым, серым, а уже высветилось до дня, заиграло, заходило в нетерпеливом детском ожидании, в небе узкими столбами встали радужные полосы — и правда, скоро после этого на глазах у старухи взошло солнце, и земля счастливо, преданно озарилась.

Старуха и сама не знала, зачем она вылезла на улицу. Может быть, надеялась, что где-нибудь по дороге, не выдержав нагрузки, оборвется сердце и дело тем самым можно будет еще поправить. Нет, не вышло и тут. Выбралась. Она сидела одиноко, стыло, безучастно, смотрела в огород, в лес — на что натыкались глаза,— смотрела и ничего не видела, не находила. Она походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна. Но солнцу старуха поддалась; она была в тонкой постельной рубахе и озябла до дрожи, даже скупое, чуть достающее тепло было ей кстати. Не полено — какой-никакой, а человек, тело, оказывается, еще узнает, что холод и что не холод. И все-таки этот день казался ей лишним, чужим, она с самого начала не хотела и боялась его: если не суждено было умереть ей ночью, значит, что-то предстоит еще вынести днем. Зря ничего не бывает.

И она сидела, ждала.

В сенях зазвенел подойник — вышла Надя. Она никак не ожидала найти здесь старуху и с испугу подалась назад.

— Мама! — Невестка звала ее мамой.— Ты как тут?

Старуха, обернувшись, услышала ее и кивнула: тут.

— Как ты сюда выбралась?! Ты же замерзла. Давай я тебя отведу обратно.

Отказываясь, старуха решительно покачала головой: нет.

— Но как же...

Надя бросилась в избу, но сначала заглянула в старухину кровать — она в самом деле была пустая — и

только потом сняла с вешалки и вынесла старухе фуфайку.

— Как же это ты додумалась? — не могла опомниться она.— А все спят, не знают. Может, разбудить их?

— Не надо,— сказала старуха.— Ты иди дои. Я посидю тут.

До двора Надя раза два или три оглянулась на свекровь — сидит!

Солнце уже оторвалось от леса, вышло в чистый, готовый для него простор, держась чуть справа, как вчера и позавчера, десять и двадцать лет назад. Оно все еще было неяркое, четкое и не слепило глаза. Росы в огороде, казалось, даже прибавилось, горящими, заманчивыми искрами она блестела повсюду. Деревня просыпалась, над крышами поплыл дым, по улице тяжело и сыто, содрогая землю, брел скот, хлопали в избах тугие двери, раздавались первые, хорошо слышные поутру голоса.

И вот в это раннее, совсем не гостевое время перед старухой нежданно-негаданно, как из-под земли, явилась Мирониха. По своей привычке смотреть себе под ноги, а не вперед, она чуть не столкнула старуху с крыльца и от удивления присела, всплеснула руками:

— Это, старуня, ты али не ты?

— Я,— сказала ей старуха. Она как будто не обрадовалась даже Миронихе, голос у нее был тусклый, слабый: ее спросили — она ответила.

— Вылезла?

— Вылезла.

— Дак ты, старуня, моить, за хребет седни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

— Не. Я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

— А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там седни лежит. А она со своей кровати уж он куды ухлестала, на волю.

— Не умерла,— сказала старуха.

— А просилася?

— Просилася.

— Выходит, не время.

— Какое ишо надо время? — В голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение — оно было обиженным.— Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет.

— Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.

— А я не ходю, я ползаю под им. Думаю, выползу, покажусь матушке-смертыньке, а то она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.

— Не забаивайся.

Старуха не стала продолжать этот невеселый разговор; Миронихи ночью с ней не было, она не поймет, а разве можно объяснить, что чувствует человек в смертный час и что чувствует он потом, когда, приняв исповедь, смерть обманывает его. Поэтому старуха спросила:

— Ребяты-то твои ниче не пишут?

— Дак ты только вчерась у меня это спрашивала,— удивилась Мирониха.

— Вчерась было вчерась. Седни, моить, написали — откуль я знаю?

— Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не знаю, как и читать буду.— Мирониха говорила без зла, но и без надежды, подсмеиваясь над одной собой.— Кака така лихоманка на их напала — письмо мне отправлять?

— Раньше как бывало,— сказала старуха.— Кто где родился, там и пригодился. А теперечи никак на месте не держатся. Ездют, ездют, а куды, зачем?

— Ниче мы, старуня, с тобой не понимаем.

— Моить, и не понимаем. Мы с тобой, однако, уж две последние старинные старухи на свете остались. Боле нету. После нас и старухи другие пойдут — грамотные, толковые, с понятием, че к чему в мире деется. А мы с тобой заблудилися. Теперечи другой век идет, не наш.

— Однако что так, старуня.

— А пошто не так? Так. От помяни мое слово.

Они помолчали. Мирониха вздохнула и поднялась:

— Хорошо с тобой, старуня, да надо бежать.

— Посиди маненько.

— Корова у меня так и не пришла. Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы живут. Делать нечего — надо туды бежать.

— Не дойдешь ты, девка, за хребет.

— Дойду не дойду, а пойду. Кого я за себя отправлю?

— Упадешь ты там.

— Моить, и упаду. Кака разница, где лежать? Тамака одной и тутака одной. Слягу — и воды некому подать.

— Ты бы сама им написала.

— А че им писать? То они не знают, что мне семьдесят пять годов стукнуло. Нет, старуня, пиши, не пиши... И грамота у нас с тобой одинакая. А они, видно, хорошо живут, раз не едут, не пишут. Плохо жили бы, написали бы.

— Написали бы.

— То-то и оно.

Мирониха переступила с ноги на ногу, ей уже не стоялось на месте.

— Ну, сиди, старуня, побегу я. Сиди и ниче не выдумывай. А как возвернусь, опеть к тебе. Посидим ишо, побормочем.

— Не упади там.

Прощаясь, старуха подала ей руку, и Мирониха вдруг дернулась, неловко клюнула головой и прижала старухину руку к своей щеке. У старухи из глаз брызнули слезы. Она хотела подняться, но Мирониха удержала ее и повернула к воротам. Она-то, наверно, считала, что идет ходко, не идет, а бежит, а на самом деле вся вытягивалась, когда переставляла ноги, видно было, с каким трудом дается ей каждый шаг.

Вытирая слезы, старуха подумала, что, быть может, оттого она и не умерла ночью, что не простилась с Миронихой, со своей единственной во всю жизнь подружкой, что не было у нее того, что есть теперь,— чувства полной, ясной и светлой законченности и убранности этой давней и верной дружбы.

Старуха знала: больше они не увидятся.

11

Приходилось жить еще день — лишний, ненужный.

Обратно в избу старуху привела Надя — не привела, а, можно сказать, принесла на руках: ноги под старухой не держали совсем. Опять она лежала в постели, поглядывая перед собой печальными, виноватыми глазами и осторожно прислушиваясь к тому, что творилось вокруг; ей казалось, что ни на что на свете она не имеет больше права — ни смотреть, ни говорить, ни дышать — все было как ворованное. С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выходила на улицу, над ней поохали, поахали, радуясь и удивляясь тому, что она

поправляется не по дням, а по часам, потом постепенно разошлись, и старуха осталась одна. Заглядывали, правда, часто — то Люся, то Илья, то Надя, но только заглядывали и сразу обратно. Илья сказал, что теперь надо ждать, когда старуха пустится в пляс, чтобы похлопать ей в ладоши, и шутка эта понравилась, ей улыбнулась даже Люся, а Варвара понесла ее в деревню вместе с последними сообщениями о том, что мать встала на ноги. Илья к тому времени успел подогреть себя, голова его розово, жарко светилась, распространяя вокруг сияние, глаза вспыхивали внезапной, отчаянной веселостью. Ему не терпелось что-нибудь делать, в чем-нибудь участвовать, а делать совсем было нечего, поэтому он снова и снова шел к матери и повторял:

— Лежишь, мать? Ну, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим — ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать,— не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом.

Позже всех к ней зашел Михаил, старуха была одна. Он сел на то же самое место у стола, что и вчера перед скандалом, и закурил, делая быстрые, жадные затяжки. Лицо у него против обычного налилось нездоровой, горячей чернотой, глаза припухли. Он курил и, вздыхая, отдыхиваясь от наваливающейся тяжести, все время посматривал на мать, чего-то ждал, на что-то надеялся. До старухи достал дым, и она, хватаясь руками за грудь, мучительно закашлялась: сухие, натужные звуки, казалось, раздирали ее горло. Михаил торопливо загасил папироску и вышел. Они так и не сказали друг другу ни слова.

Но после, когда кашель утих и к старухе пришла Нинка, старуха сразу отозвалась ей. Подняв руку, она стала гладить девчонку по плечу, согреваясь от этого приятного прикосновения к родному детскому телу душевным теплом — будто гладили ее. Она даже закрыла глаза — как в минуты особенного удовольствия.

Нинка вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто.

— Пошто так? — очнулась старуха.

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила. Вот и обещалкина.

— Дак ты ей скажи, чтоб купила.

— Ага. Я ее боюсь. Ты сама скажи.

— Че ее бояться? Она, подимте, не зверь, не укусит.

— Не укусит, а все равно. Она как посмотрит, так я сразу боюсь. Пускай она не смотрит, я не буду бояться.

— Не присбирывай, че не следно.

— Давай я ее позову, а ты ей скажешь,— добивалась Нинка.

— Не надо. Куды тебе ишо конфетки? Ты и так, однако что, вчерась весь рот спалила, с утра до вечера сосала.

Нинка обиженно дернулась, вырвалась от старухи.

— Ты сама ее боишься,— поддразнила она.— Если бы не боялась, сказала бы. Бояка ты, больше никто.

Старуха хотела улыбнуться, но улыбка не вышла, только чуть дрогнули без всякого выражения губы.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала, когда появилась Люся. Открыла глаза — Люся стоит, смотрит на нее, что-то в ней ищет. Встретившись взглядом с матерью, спросила:

— Как ты себя, мама, чувствуешь?

— Дак ниче,— сказала старуха. Она не знала, что отвечать; ей казалось, что она уже вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или плохо, да и раньше, при жизни, мало разбиралась в этом, различая больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь и немочь.

— Лучше, чем вчера? — допытывалась Люся.

— Ты, Люся, помирись с Михаилом,— вдруг попросила старуха.— Помирись. Не надо вам меж собой ругаться. Это я виноватая: накинулась на его. А он не стерпел, его обида взяла. Он тепери сам переживает.

— Его, видите ли, обида взяла, а меня нет,— хмыкнула Люся.— Очень интересно. Он наговорил всем нам гадостей, а я теперь должна за это перед ним извиняться. Что ты выдумываешь, мама? И, пожалуйста, не защищай его, мне сейчас совсем не хочется обсуждать этот вопрос. У меня тоже есть чувства, которые я уважаю и хочу, чтобы их уважали и другие.

Старуха растерялась.

— Я об ем ниче не говорю,— стала объяснять она.— Я его не оправдываю — не. Он один человек, ты другой. А че тепери делать? Какой ни есть, а все равно он твой брат. Я какая ни есть, а все равно ваша мать — и твоя и

его. Мне охота, чтоб вы ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. От меж собой помиритесь, и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит.

— Не надоело тебе об этом, мама? Уже почти здоровый, нормальный человек, даже ходишь, а все о том же. Неужели больше ни о чем нельзя говорить?

Опять принесло Нинку — совсем некстати.

— Иди погуляй, погуляй покуда,— стала отправлять ее старуха, подталкивая от себя.— Иди, потом придешь, я тебя ждать буду.

— Твоя тетя Люся обещалкина, больше никто,— упираясь, выпалила Нинка и скосила глаза на Люсю.

Старухе ничего не оставалось делать, как спросить:

— Пошто так?

— Ага. Она обещала мне конфет купить? Обещала. Все слыхали. А сама не купила, обманула.

— Это еще что такое?! — удивилась Люся.— Ты почему со мной так разговариваешь?

— Я не с тобой разговариваю, я с бабой, и ты не подслушивай.

— А кто это, интересно, тебе дал право называть меня на «ты»? Я тебе подружка, что ли? Ты разве не знаешь, что старших надо называть на «вы»? Никто тебе не объяснил?

— Покайся,— шепнула Нинке старуха.

— Ага,— сказала Нинка и захлюпала носом, готовясь зареветь.

— Не вздумай только плакать,— опередила ее Люся.— Никто в твои слезы не поверит. Какая, оказывается, невоспитанная девочка. Я не люблю невоспитанных. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. Смотрите-ка, до чего уж дошло.

— Она боле не будет,— осторожно сказала старуха.

— Подожди, мама. Вот так вы ее и воспитали: боле не будет, и все. А почему она так поступает — пусть ответит. Она вам скоро еще не то покажет — вот увидите.— Люся повернулась к Нинке.— Если они тебе очень нужны, я, конечно, куплю конфет,— сказала она,— но только это будет уже не подарок, а вымогательство. Ты знаешь, что такое вымогательство?

Нинка торопливо кивнула, она своего добилась: купит.

Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, а то побежала за

ней в магазин, чтобы там, на людях, в самый удобный момент вынырнув из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

— Тетя Люся, мне вот этих, я эти люблю.

Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца — в лихого молодца.

Опять старуха забылась, растерялась сама с собой, а когда очнулась, полкомнаты было залито солнцем. Она стала следить за ним, боясь и хотя, чтобы оно скорей подобралось к кровати. Ей казалось, что сегодня, в этот день, в который она не имела права заступать, ей может открыться то, чего не знают при жизни; старуха во все глаза смотрела на солнце на полу, на его широкое горящее пятно, надеясь увидеть в нем рисунок или услышать голос, которые бы ей что-то разъяснили. Пока ничего не было, но солнце все ближе и ближе подступало к старухе, наползая на кровать справа, где оно выпрямлялось в окне. В его молчаливом пронзительном свете чудилась с трудом сдерживаемая веселая тугая сила, и старухе вдруг пришло в голову, что солнце может растопить ее, как какую-нибудь рыхлую, прикрытую тряпьем снежную фигуру. Она пригреется от него, приласкается, а сама, не замечая того, начнет все убывать, убывать и убывать, пока не исчезнет совсем. Придут люди, а в кровати никого нет. Они решат, что она опять полезла на улицу. Старуха так и подумала: люди, не делая разницы для своих и чужих.

Солнце наконец поднялось в кровать, и старуха подставила под него руку, набирая тепло для всего тела. Ей показалось, что вместе с теплом в нее натекает слабость, но старуху она не испугала: слабость была мягкой, приятной. Старухе только не хотелось бы уснуть, пускай все происходит на памяти.

Где-то неподалеку заговорила с кем-то Варвара, и старухе вдруг пало на ум еще одно, что она совсем забыла. Выдавливая из себя голос, старуха позвала Варвару, но никто ей не ответил: голос был слишком тихим и ушел недалеко. Старуха крикнула еще, на этот раз сильнее. Варвара услыхала, пришла.

— Че тебе, матушка?

— Сядь.— Старуха глазами показала на кровать возле себя. Варвара села.

— Че, матушка?

— Погоди. — Старуха собралась со словами. — Помру я...

— Не говори так, матушка.

— Помру я,— повторила старуха и сказала: — Обвыть меня надо.

— Че надо?

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ниче не умеют. Одна надежа на тебя. Я тебя научу как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут.— Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты,— остановила ее старуха.— Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара немножко утихнет, и начала снова:

— Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Ты, лебедушка моя, родима матушка,— сквозь рыдания повторила за ней Варвара.

— Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?

— Куда же ты снарядилася, куда же ты сподобилася?

Старуха села в кровати и, успокаивая, обняла Варвару за плечи. Голос ее стал настойчивей, сильней.

Во котору дальнюю сторонушку?
По дороженьке проежжей,
По дубравушке зеленой,
К матушке божей церквы,
Ко звону колокольному,
Ко чнтаньицу духовному,
А из матушки божжей церкве
В матушку сырую землю,
Ко своему роду-племеню.

День продолжался и продолжался солнечно, тепло, свободно, в воздухе стоял тот особый, с горчинкой зной, который бывает в начале ясной осени. Небо, по-прежнему синее, светло-синее сверху, только у самого края за рекой, где вечером заходить солнцу, чуть подернулось дымчатой, безобидной с виду пленкой, выше и левее, выплывая в небо, висела одинокая прозрачная тучка, слишком игрушечная, чтобы вызывать тревогу, словно нарочно выпущенная, чтобы ею можно было любоваться. Весь остальной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, заливаемая солнцем, легко и послушно лежала земля.

Михаил давно уж томился на предамбарнике, подперев ладонью лицо, глушил одну за другой папиросы. К нему подсел Илья, поинтересовался:

— Не опохмелялся сегодня?

Михаил покачал головой.

— А я немножко принял. Так, для настроения. Слыхал, мать-то у нас уж на ноги встала?

— Слыхал.

— Плясать скоро будет — ага. Вот и возьми ее.— Он засмеялся и предложил: — Может, выпьем помаленьку? Тут рядом, далеко ходить не надо.

— Нет,— отказался Михаил.— Хватит. Почудили вчера, и хватит.

— Да, ты вчера здорово перебрал. Набрасываться стал на всех на нас. С матерью ругался.

— Я с ней не ругался.

— Она-то на тебя здорово рассердилась — ага. Особенно за Таньчору. Готова была отлупить тебя. Это точно.— Он опять засмеялся и вдруг спросил: — Слушай, а когда это ты отбил Таньчоре телеграмму, чтоб не приезжала? Я же с тобой все эти дни был, никуда от тебя. Когда ты успел?

Михаил щелчком стрельнул от себя окурок, к которому кинулись курицы, и посмотрел брату в глаза.

— А я не отбивал ей никакой телеграммы,— сказал он.

— Как не отбивал?

— Вот так.

— Ты же говорил, что отбивал? Вчера из-за этого весь сыр-бор и разгорелся. Не помнишь, что ли?

— Почему не помню? Помню. А если бы не говорил,

ты знаешь, что бы с матерью было? Лучше уж обмануть, чтоб она не ждала.

— Но... Но где же тогда Таньчора?

— Откуда я знаю?

— Вот это да! Вот это фокус так фокус!

— Ты только не выдавай им меня, пусть думают, что отбивал,— торопливо сказал Михаил, потому что от ворот к ним шла Люся. Он опустил голову: сейчас начнется. Припомнит вчерашнее и позавчерашнее, все, что было и не было. Стыдить его сейчас бесполезно, он потом пристыдит себя сам, и это будет куда полезней, а выслушивать ее выговоры тошно — ну их! И без того хоть сбегай куда-нибудь.

— Илья! — начала Люся еще на ходу. Вид у нее был решительный и взволнованный, будто что-то случилось. Она сказала совсем не то, чего боялся Михаил.— Илья, ты знаешь, что сегодня пароход? Скоро уж. А следующий будет только через три дня.

Илья растерянно поднялся:

— И что нам теперь делать?

— Смотри сам. А мне надо ехать. Мне больше оставаться здесь никак нельзя.

— Ехать надо,— кивнул Илья и посмотрел на Михаила.— Мать вроде поправилась.

— Подождали бы,— несмело сказал Михаил.

Ему никто не ответил.

Они вошли в избу все вместе и в старухиной комнате вдруг застыли. Их не заметили. Варвара, склонясь над матерью, почти упав ей на грудь, всхлипывала, а старуха с закрытыми глазами тянула на себя какой-то жуткий, заунывный мотив. Лицо при этом у нее было высветленным, почти торжественным. Они прислушались и различили слова — ласковые, безнадежные и в то же время как бы вывернутые наизнанку слова, имеющие обратный и единственный смысл:

Отходила ты у нас полы дубовые,
Отсидела лавочки брусчатые,
Отсмотрела окошечки стекольчаты,
Ты, лебедушка моя, родима матушка.

— Что это у вас тут происходит? — громко и насмешливо спросила Люся.— Что за концерт?

Варвара и старуха враз смолкли. Варвара вскочила, показала на мать:

— Вот, матушка...

— Видим, что не батюшка,— хохотнул Илья.

— Помру я,— жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

— Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же. Ты думаешь, нам это приятно? Всему должна быть мера. Ты ни о чем больше не можешь говорить. Тебе еще жить да жить, а ты все что-то выдумываешь. Так же нельзя.

— До ста лет, мать, чтоб обязательно — ага,— подхватил Илья.

Старуха, уставившись куда-то в стену, молчала.

— Ты же сама понимаешь, мама, что ты почти полностью выздоровела. Ну и живи, радуйся жизни. Будь как все и не хорони себя без смерти. Ты живой, нормальный человек — вот им и будь.— Люся выдержала небольшую паузу и тем же ласковым голосом сказала:— А нам сегодня надо ехать. Так получается, мама.

— Да вы че это?! — вскрикнула Варвара.

Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

— Надо, мама,— мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась.— Сегодня пароход. А следующий будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем.

— Не, не,— простонала старуха.

— Нельзя седни от матушки уезжать, нельзя,— волновалась Варвара.— Вы прямо как неродные. Сами подумайте. Нельзя.

— Еще хоть день-то подождали бы,— поддержал ее Михаил.

— Мы ведь, мама, не вольные люди: что хочу, то и делаю,— не отвечая им, говорила матери Люся.— Мы на работе. Я бы с удовольствием прожила здесь хоть неделю, но тогда меня могут попросить с работы. Мы ведь не в отпуске. Пойми, пожалуйста. И не обижайся на нас. Так надо.

Старуха заплакала, поворачивая лицо то к Люсе, то к Илье, повторяла:

— Помру я, помру. От увидите. Седни же. Погодите чутельку, погодите. Мне ниче боле не надо. Люся! И ты, Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру.

— Опять ты, мама, о том же. Мы тебе о жизни, ты нам о смерти. Не умрешь ты и не говори, пожалуйста, об этом. Ты у нас будешь жить еще очень долго. Я рада

была повидать тебя, но теперь надо ехать. А летом мы опять приедем. Обязательно приедем, обещаем тебе И тогда уж не наспех, как сейчас, а надолго.

— Что летом! — вмешался Илья.— Не летом, а раньше увидимся. Мать вот как следует на ноги встанет, и можно к нам в гости приехать. Приезжай, мать. В цирк сходим. Я рядом с цирком живу. Клоуны там. Обхохочешься.

— Одним днем раньше, одним позже,— пытался понять Михаил.— Какая разница.

Люся вспылила:

— Я не собираюсь обсуждать с тобой этот вопрос. Наверное, я лучше знаю, есть разница или нет. Или ты по-прежнему считаешь, что мы должны везти маму с собой и для этого обязаны подождать ее?

— Нет, не считаю.

— И на том спасибо.

Они стали собираться. Сборы были торопливые, неловкие. Старуха больше не плакала, она, казалось, оцепенела, лицо ее было безжизненно и покорно. Ей что-то говорили, она не отвечала. Только глаза забыто, потерянно следили за суматохой.

Прибежала Надя, хотела на прощанье накрыть на стол, но ее удержали. Всем было не до еды. Илья шепнул Михаилу:

— Может, на дороженьку выпьем? Посошок — ага.

— Нет,— отказался Михаил.— Не хочу.

Варвара все-таки не забыла, вслух сказала Люсе:

— А платье-то?

— Что?

— Платье, которое ты здесь шила. Ты говорила, что отдашь.

Люся достала из сумки уже уложенное платье, брезгливо кинула его Варваре в руки.

В самый последний момент Варвара вдруг заявила:

— Я, однако, тоже поеду. Раз все, то и я. Вместе-то веселей.

— Варвара! — чуть слышно простонала старуха.

— Я, матушка, боюсь, как бы там ребяты без меня избу не спалили. Их одних оставлять никак нельзя. Того и гляди, че-нибудь натворят.

— Езжай,— махнул рукой Михаил.— Езжайте все.

Стали прощаться. Люся чмокнула мать в щеку, Илья пожал ей руку. Варвара заплакала.

— Выздоравливай, мама. И не думай ни о какой смерти.

— Мать у нас молодец.

— Я, матушка, скоро приеду. Может, на той неделе.

Михаил пошел их проводить. Старуха слышала, как прозвучали за окном шаги, как что-то сказал и засмеялся Илья. Потом все стихло, и старуха закрыла глаза.

Ее растолкала Нинка.

— Возьми, баба.— Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

— Они нехорошие,— жалея старуху, сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись — то ли в улыбке, то ли в усмешке.

Потом вернулся Михаил и подсел к ней на кровать.

— Ничего, мать,— после долгого молчания сказал он и вздохнул.— Ничего. Переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, дурак. Ой, какой я дурак,— простонал он и поднялся.— Лежи, мать, лежи и ни о чем не думай. Не сердись на меня сильно. Дурак я.

Старуха слушала не отвечая и уже не знала, могла она ответить или нет. Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались. До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла.

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты,— ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии,— отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится и в свой час придет рассвет и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он,— говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он,— повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят, и только, хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останав-

ливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв,— говорит он.— Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин: он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчи-

тывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут обнявшись от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» — с недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее бы-

ли заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят:

— Не видали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе ее лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит,— настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору:

— Я с тобой буду как на духу — не таскали мы от-

туда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча,— подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги,— задумчиво произнес Кузьма.— Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю,— покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С та́ким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот...

— А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше,— придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор.— Мне надо будет еще в двух

магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней...— Он замялся.— Одним словом, если вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?

— Чего же не понять,— откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребятишки,— сказал ревизор.— Ну, осудят ее, дадут срок...

Кузьма смотрел на него с жалкой подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей,— сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе,— сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

— А как же! — ответил Кузьма.— Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего, обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию,— ответил председатель.— Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Все равно не скроешь — пускай,— потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу,— сказал председатель.— Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать.— У дверей Кузьма вспомнил: — Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду,— сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она.— Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! — исступленно шептала она.— Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он наконец вырвался.

— Дура баба,— прохрипел он.— Ты что, с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!

— Ну что?

— Кузьма! — ее голос становился все слабей и слабей.

— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока. Из хозяйства продавать больше нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять — или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить,— возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка.— Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте,— беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тетка.— Вот еще раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, как без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь.

«Снявши голову, по волосам не плачут»,— почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле — лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города,— говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон,— будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма,— встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь.— Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал, и все ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, теперь восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с женой — она у него тоже учительница,— зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич.— Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо,— отказался Кузьма.— Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол.— Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать,— замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет,— покачал головой Кузьма.— Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот поднесли, значит. Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая,— сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут,— сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич.— Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

— Нет.— Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему.— Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают,— махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придется! — вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич.— Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно,— вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет.— Он опять поморщился.— Придется съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе,— говорил Евгений Николаевич.— Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам,— сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он наконец вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала.— Он готов был выбросить Комариху за дверь.— Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони,— затараторила Комариха.— Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь.— Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать.— Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога,— вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать,— не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо.— Видно, Комариха собрала карты.— Сними-ка, девка. Нет, погоди, тебе снимать нельзя. Надо, чтоб был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты, беда!

— Да давай сниму,— сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха.— Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про бога вспоминают, и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха,— устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то,— заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма,— произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда,— позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу,— всхлипывала она.— Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому,— со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно. Он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но, перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады,— зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир...— она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: — Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

— С билетом...

— Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! — полковник недовольно качает головой и даже цокает языком.— Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

— Вы все шутите,— с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери.— Мне, правда, больше его некуда девать, все занято.— Уходя, она уже и сама пытается шутить.— Но он с билетом...

— Заходи, заходи,— кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там,— полковник показывает наверх.— Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила,— подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке.— Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

— Ну-у,— понимающе отвечает ему человек в белой майке.— К ним она так просто не пойдет.

— А к нам, выходит, можно?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции,— человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению,— сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для нее это не имеет разницы.

— Не понимаю...— Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит

в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди,— полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку.— Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там,— полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу,— насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом,

поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-страдовались? — человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались,— отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший,— говорит полковник.— Так что деревня живет.

— А она всегда живет,— с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович.— Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни,— заглядывая в окно, возражает человек в белой майке.— Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а в деревне в это время делать почти нечего — почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже,— говорит Геннадий Иванович.— Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит,— особенно если наблюдается улучшение,— лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего.— Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой.— Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный»,— думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим,— говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются,— отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает.— Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание — а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания,— не сразу сдается Геннадий Иванович.— Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник.— Давайте найдем себе дело по силам. К примеру преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? — Он окликает Кузьму: — Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет,— подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака», ага, играю,— простодушно признается Кузьма.

Раздается смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придется вам опять идти за своим товарищем,— говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватить-то хватит.— Геннадий Иванович смотрит на часы.— Но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении.— Он протягивает ей деньги.— Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно,— привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу»,— думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят,— натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается.— Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста.— Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше,— говорит преферансист.

— Мне все равно,— безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

— Мне все равно,— повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно,— радуется человек в белой майке.— Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить,— говорит он Кузьме.— Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

— До свиданья,— оборачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров,— отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу

читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинскими. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно,— нет, надо терять день, а то и два.

Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызывали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут и не такие головы летели, куда уж мне,— отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария. — И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть,— повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать. Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но нетрудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, идут когда попало,— Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из по-

следних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась, тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть,— доказывал он, обращаясь к председателю,— скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить что хочет? Чего она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему,— чтобы только отвязаться, сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесет — тогда дам.

— Какую еще доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись

очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезли в магазин клеенки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза буду глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже толклась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи

Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех, только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее,— с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая,— так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст бог, еще и обойдет-

ся, если Кузьма успеет собрать сколько надо... в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно,— говорит он.— Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка.— Он выбрасывает одну руку влево.— Это бабушка.— Вторая рука опускается вправо.— А это я.— Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха.— Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь,— говорит она Кузьме.— Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень.— Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было,— осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся! Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха.— Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он.— Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь,— неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

— Дед, а ты когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул,— с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик,— говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормошит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель.— Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум,— говорит председатель.— Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария,— испуганно шепчет он,— посмотри: народ-то не наш, чужой».— «Да ты что? — отвечает она.— Что с тобой, Кузьма? Все наши». Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель.— Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос,— продолжает председатель,— и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный,— шепчет она.— В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек,— кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек,— подсчитывает председатель за трибуной,— на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата,— округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидят Кузьма и Мария,— уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель.— В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей,— наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все,— советуют ему.

— Нет, так нельзя,— не соглашается он.— Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться:

мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но, чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нету! Нету ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон

с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа,— доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов.— Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили,— отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно,— согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед.— Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столь грамотный, сколь хитрый — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобней, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед,— отмахнулся Кузьма.— Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мороковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь,— сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него.— Чего я еще тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты говоришь, у Евгения Николаевича был?— снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

— Ладно, дед, ладно,— примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколь раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого — там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: по́мочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на по́мочь. А теперь все за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края,— очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я все морокую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! — обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня.— Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал:— Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколь. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни.— Дед коротко хохотнул, как кашлянул.— У этого разживешься! Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед.— Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал

и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— Найдем,— передразнил его дед.— У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ничё такого и не говорю.

— Ну и ладно.— Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма,— прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь.

— Кхе-кхе-кхе,— закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем

с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет и поможет.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его

проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

— Зайду,— пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к

Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает,— уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов, брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он,— помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги...

Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, что выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов, каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об од-

ном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду, Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду,— он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотня, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради

того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень, постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку,— позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось,— не отвечая, сказал Василий.— Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, денег у тебя нету,— со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так,— отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича?— уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт,— невесело пошутил Кузьма.— Куда ни пойди, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры.

Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что

вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида.— Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней,— стала жаловаться Степанида.— Ой девка, не приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь,— отозвалась Галька.— У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызетесь,— сказал Василий.— Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

— Ну и хитрый ты, Василий!

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли че ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом.

Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

— Она, она,— заверила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала,— повеселел Василий,— а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай,— предупредил Василий.— Обождем, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий.— Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему.— Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко.— Снова перевела взгляд на Василия.— Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть,— сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам,— стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд...

— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять,— успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент,

когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

— Ну, скажите мне, что она не вредительша! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей. И за что меня господь бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила...

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во,— поддакнула Степанида.— Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией,— спокойно сказала она.— Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида.— Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли че ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена,— не смог остановиться сразу Василий.— Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он,— она показала на Василия,— не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали,— отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разглядела она.— Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет,— приподнялся Василий.— Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с ее хвораю,— стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит?

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас.— Степанида заторопилась, допила.— Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим,— сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной,— сказал он.— Тебе, Галька, налить?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила, и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам,— сказал Кузьма.— Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся,— голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет.— Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму.— Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется,— безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее:

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется.— Степаниде сказал:— Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим,— сказал Кузьма.— Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго,— продолжал Василий.— Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли че ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде.— Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала?— подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачивать надо!

— Ты мне ответишь за эти слова! В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий,— попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

— Тетку Марию жалко,—причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промокнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они наконец заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь,— сказал Василий.— Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врет! — закричала опять Галька.— Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь — ну и выметайся! — подхватила Степанида.— Не заплачу. Хошь сейчас выметайся. Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий,— сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

— Завтра я зайду,— сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед со-

бой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа,— негромко зовет она.— Проснись, Сережа.

— Я не сплю,— отзывается старик.— Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о.— Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана.— Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме,— несердито отвечает старуха.— Сережа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее совсем замучил,— говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить.— Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака.— Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Сережа? — спрашивает она.

— Ничего, ничего.

— Я что-нибудь не так делаю, да?

— Все так. Ты не беспокойся.

— Если не так, ты скажи.

— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

— Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор, и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.

— Сережа, чай,— говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тоже стаканчик выпью,— говорит он.

— Обязательно надо выпить,— отвечает старуха.— Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто

только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,
Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха.— И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай.— Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову.— Почти в норме,— радостно сообщает он.— Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия,— замечает старик.— Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо,— серьезно отвечает парень.— Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха.— Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это не важно. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится.— На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишь-

ся домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь,— с сомнением говорит старуха.

— Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата,— не то сердится, не то удивляется старуха.— Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один! Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень.— Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать — и все в порядке.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой,— говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень.— Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни.

А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит»,— передразнивает его старуха.— Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой, этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет.— Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а... веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да... зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и... вообще... все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно,— просто говорит старуха.— Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил,— говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем; он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?— спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма...— хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой... Она меня вечером встретила...

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень.— Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

— Не потому,— возражает Кузьма.— Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе,— говорит старуха и смотрит на старика.— Куда он, туда

и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже.— Старуха говорит спокойно и тихо.— Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

— Вы что, эти самые... баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха.— Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — Дед засуетился, стал подниматься.— Тут вот...— и протянул Кузьме деньги.— Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды...

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед.— Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай,— обрадовался дед.— Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, побегу.

— Дед!

— А!

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

— Раз не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришел Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось,— говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него.

Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены,— сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е.— Глаза у тетки Натальи слабо блеснули.— Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали,— буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть... Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом,— поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала,— виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она

отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья,— зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножечку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, заглянул в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И все?

— Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот,— пожал плечами Кузьма.

Председатель уткнулся в бумаги и молчал. Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Несладко было смотреть, как падает зерно,— после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберешь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл,

а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли,— будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с краю.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело.— Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил — спокойным, ровным

голосом.— Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь.— Председатель повернул голову к другой стене.— Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними как на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан.

Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать,— твердо повторил председатель.— Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен,— недобрым голосом сказал председатель.— Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен,— торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью.— Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся.— Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам.— Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали...

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами.— Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве...

— Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на свое место напротив агронома. Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыл ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От этих слов у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год,— пригрозил председатель.

— Может, у нее, правда, не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы, лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

— Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех.— Председатель усмехнулся.— Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это давно запримечено.

— А ведь и правда,— удивленно согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше из жизни.

— Я все у тебя спросить хочу,— сказал Кузьма.— Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Да оно и при чем и ни при чем — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма,— отмахнулся председатель.— Что теперь об этом говорить?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным,

мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то решил бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида?— сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму.— Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так,— словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул.— Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало...— Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил: — Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда — это знаешь что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно,— засмеялся Кузьма.— Смотри, как ты рассудил! — И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич.— Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь.— Евгений Николаевич осмотрелся.— Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом — невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него,

словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он подождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни — значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои,— шепчет парень.

Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия,

Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.

— А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим,— говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня...

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее

обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку и на семью. Я говорю: принцип.— Отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все непросто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвест-

но, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком несладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и... такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма.— Найдет кого-нибудь.

— Пускай попробует,— зашевелился парень.— Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись...

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю,— осторожно говорит Кузьма.— Это тебе самому надо решать...

— Ну да. Я знаю, что самому.— Парень от волнения по-детски шмыгает носом.— Черт ее знает...— Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошелся.— Он хочет свести этот разговор к шутке: — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем не торопясь идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день.

Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы,— вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться, и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма.— Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало!

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй,— с вызовом ответил бухгалтер.— Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась. — Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время.— Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма наконец понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро все сказал.

Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только трешками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были трешки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты...— без особого зла ответил Кузьма.

Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым пониманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было, и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли

расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросал деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не может просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали.— Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться.— У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду останови-

лась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления.

Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти.

Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался.

Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал беспокоиться, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги. Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте,— робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй,— ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма,— быстро заговорила девочка.— Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма.— Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу,— попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Еще что, дед, выдумаешь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу...

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно.— Дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед.— Ну и вороти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только

стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать — пусть поплачет, теперь даже слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придется ли им еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он падает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть.

Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат как спасение из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят в окна и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

РАССКАЗЫ

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе,— нет, а за то, что сталось с нами после.

* * *

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе,— тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы

без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растет. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Ми-

хайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее,— я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

— Собирайся,— потребовала она, когда я подошел.— Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется много, хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька,— я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от се-

стренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой,— стал оправдываться Федька.— Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее,— тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важней всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не

умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек; не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно

бы у́же, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

Он шлепал своими глазенками:

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и

делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать,— стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и ни-

кому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле,— иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее,— сказал я.— Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно: если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет,— решил я.— Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он.— Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему.— Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори,— надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее,— уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим следует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик.— Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, поплелся в гору.

— Только вякни кому — убьем! — пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его,

на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот,— сказала Лидия Михайловна, открывая журнал.— Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал,— брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости.— Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин! Вот Тишкин так Тишкин! Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое,— не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного

тона, остановила его Лидия Михайловна.— Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать.— Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил,— разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?»— «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол,

я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы... выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой

поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И все-таки на деньги играть не надо,— задумчиво сказала Лидия Михайловна.— Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за

улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел,— как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой,— Птаха выругался,— будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик.— Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей,— только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет.— Вадик подмигнул ребятам.— Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками.— Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сли-

вать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаисоир» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась

ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем: по голосу, по походке — мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной,— настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись,

перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер,— какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде,

я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же, в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

— Что это? Что такое ты принес? Зачем?

— Это вы сделали,— сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чем ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась.— Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела по-

ехать на Кубань, а приехала почему-то сюда.— Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня.— Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму,— перебил я ее.

— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо,— подбадривала меня Лидия Михайловна.— В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так про-

сто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью,— я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться увереннай. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чем она заключается?

— Зачем вам? — насторожился я.

— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху

и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

— Нет,— Лидия Михайловна покачала головой.— Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри.— Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул.— Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену.— Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол.— Теперь,— Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку,— бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь,— значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.

— О-о,— махнула рукой Лидия Михайловна.— Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком,— я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя,— Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно.— Иной раз полезно забыть, что ты учительница,— не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому.— Она встряхнулась и сразу повеселела.— А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть

ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте,— нерешительно согласился я.

— Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену — ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

— Нет, так неинтересно,— сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы.— Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги,— несмело напомнил я.

— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михайловна.

— Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть на нее. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину,— там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет,— заявил я,— так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать,— стала отказываться она.— У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

— Что вы делаете? — возмутился я.

— Я? А что я делаю?

— Зачем вы ее подвинули?

— Да нет же, она тут и лежала,— самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать — двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженых кружка́х. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я

чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится...

...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая,— наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна,— зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» не считово.

— Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? — объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

— Играем в «пристенок»,— спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?..— Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате.— Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете...— Директор задыхался, ему не хватало воздуха.— Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Совращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань,— сказала она, прощаясь.— А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись,— она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы,— аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА

Василиса просыпается рано. Летом ее будят петухи, зимой она петухам не доверяет: из-за холода они могут проспать, а ей просыпать нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать то-то, то-то и то-то — она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати на крашеный пол ноги — кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются. Василиса одевается и смотрит на стену напротив, она думает, что, слава богу, наконец-то вывела всех тараканов, ни одного не видать.

Это полусонное-полубодрствующее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его, для нее это всего один шаг от сна к работе, один-единственный шаг. Одевшись, Василиса срывается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугунки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разливает его по всевозможным банкам и склянкам — она делает тысячу дел и ставит самовар.

Она любит ставить самовар. Первая волна работы схлынула, рань прошла, и теперь Василиса по привычке испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовары: первый самовар, второй, третий... На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия.

Она еще бегает, возится с чугунками, а сама все время посматривает на самовар: вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она всегда вздыхает, вздохи у нее имеют множество оттенков — от радости и удивления до боли и страданий.

Василий поднимается не рано: рано ему подниматься незачем. Единственное, как в бане, маленькое окошечко в его амбаре на ночь занавешено: Василий не любит лунный свет, ему кажется, что от луны несет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку, по другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны охотничьи и рыболовные снасти, поверх них полушубки и телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от врывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно: как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча — не пыхтит, не кряхтит, не стонет.

Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается. Он садится у другого края стола и ждет. Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середине стола. Он придвигает стакан к себе и отпивает первый обжигающий горло глоток, который уходит внутрь твердым комом.

Василиса пьет чай вприкуску с сахаром-рафинадом. Василий пьет без сахара, он его не любит. Он считает, что все надо потреблять в чистом, первозданном виде: водку — так без примесей, чай — так неподслащенный. Он выпивает свой чай и ставит стакан на середину стола. Василиса берет стакан, наливает и опять ставит на середину.

Они молчат. На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла — так всегда, и зимой и летом.

Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чаю. Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит. Василиса не оборачивается, когда он уходит.

— Эй, отик,— говорит она Петру, — вставай, а то пролежни будут.

Петр с неудовольствием открывает глаза и прячет колени под одеяло.

— Вставай, отик,— беззлобно повторяет Василиса.— Не на Лену выехал. Пей чай да отправляйся.

Таня, жена Петра, тоже просыпается, но ей на работу не идти, она ждет маленького.

— Ты лежи,— говорит ей Василиса.— Тебе торопиться некуда. Отика поднимать надо.

Для нее все лентяи делятся на три категории: просто лентяй — или лентяй начинающий, лодырь — лентяй с опы-

том и со стажем, и отик — неисправимый лентяй. Третью категорию в этом разделении Петр не заслужил, и Василиса знает, что она несправедлива к нему, но поворчать ей надо.

— Отик — он и есть отик,— бормочет она.

Она уже снова на кухне, что-то доваривает, дожаривает. День еще только начался. Василиса вздыхает — весь день еще впереди.

* * *

Вот уже почти тридцать лет Василий живет в амбаре, среднем среди трех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький и чистый, без сусеков, с ладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Летом раньше в нем спали ребята, но это было давно, очень давно — еще когда Василий жил в избе.

На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. Пять лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда над дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчался, он любил наблюдать за ними, но потом привык и без них.

Только раз в день, еще когда молодые спят, Василий заходит в дом, и Василиса наливает ему стакан крепкого горячего чая. Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат — ни разу они не сказали ни слова, будто не видят друг друга, и только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат, и это не натянутое молчание, это даже вовсе не молчание, а обычное физическое состояние без слов, когда слов никто не ждет и они не нужны.

Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кой-какая посудёнка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, его стряпня бесхитростна — все больше каша да макароны вперемешку с консервами, но иногда, если повезет на охоте, бывает и свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр — то и дело он бегает в избу за сковородой, за солью, еще за одной вилкой, еще за одним стаканом — значит, с удачи взяли бутылку.

— Если ты там загулеванишь, домой не приходи!— кричит ему вслед Василиса.— Вот отик!

«Отик» она произносит нараспев, с удовольствием.

У амбара вьются ребятишки: тут и Петрин Васька, названный в честь деда, и все трое Настиных. Настя,

средняя дочь Василия и Василисы, живет в этом же доме, но в другой половине — дом разделен на две половины, и меньшая досталась Насте. Через три дома живет и старшая дочь Анна, она замужем за учителем.

Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного, ему много и не надо. Самый большой кусок он отдает Насте — ей приходится хуже других: трое ребятишек на шее, мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолил глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам и одну долю велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со свежениной — с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с прожаренными до корки боками больших кусков. Дверь закрывают, бутылку открывают.

Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега, затем сразу наступает пора промысла — Василий промышляет белку и соболя дважды, до Нового года и после Нового; весной опять орехи: после снега шишка-паданка валяется под ногами, в мае можно брать черемшу, в июне грех не половить таежных красно-черных хариусов, в июле поспевает ягода — и так каждый год.

К нему приходят мужики, допытываются:

— Как считаешь, Василий, будет нонче орех или нет?

— Если кедровка не съест, то будет,— хитро отвечает он.

— Оно понятно,— мнется мужик.

— Через неделю пойду на разведку, погляжу,— не вытерпев, говорит Василий.— Вот тогда можно сказать. А сейчас, сам видишь, в амбаре сижу, отсюда не видать.

Он нигде не работает, тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех, ореха в урожайные годы набивает по пять, по восемь кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы и от геологов из Москвы и из области, чтобы он согласился на лето пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям: ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запоминать их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольной и хитрой улыбки, говорит «ай-

нам», и литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в леса пала, а геологи чувствуют себя в ней постояльцами и могут напакостить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер.

Уходя в тайгу, Василий запирает амбар на замок, и Василиса, наблюдая за ним из окна, ворчит:

— Как же, обворуют, сундуки там у него добром набиты. Хошь бы штаны с больших денег купил. Ходит с голой задницей, людей смешит. Ни стыда, ни совести.

...Они сидят друг против друга — Василий на кровати, Петр на низкой детской табуретке, сколоченной для него же лет двадцать пять назад, и Василий, еще не захмелев, жалуется на поясницу:

— Болеть, холера, стала. Согнешься, а разгибаться нету ее.

— Пора бы ей болеть,— хмыкает Петр.— Ты бы еще хотел, чтобы в шестьдесят пять лет молодым бегать. И так здоровье — дай бог каждому.

— Один нонче побаиваюсь бельчить, надо товарища искать.— Василий говорит это почти с гордостью: вот, мол, только когда понадобился товарищ.

Петр сосредоточенно тычет вилкой в сковороду.

— Может, ты со мной пойдешь? — спрашивает Василий, зная, что никуда тот не пойдет.

Петр вскидывает вверх свое курносое небритое лицо:

— Так я бы пошел — да кто отпустит? Колхоз не отпустит.

— Колхоз не отпустит,— соглашается Василий.

— Но.

Вопрос решен, и Василий снова наливает в стаканы.

...К Василисе пришла подружка, семидесятилетняя бабка Авдотья.

— Иду, дай, думаю, зайду, на Василису погляжу! — кричит она на всю избу.

Василиса снимает фартук — она что-то стирала и не достирала — подходит к Авдотье и протягивает ей руку.

— Давай поручкуемся, старуха Авдотья.

У бабки Авдотьи рука слабая, как тряпка.

— Иду, дай, думаю, зайду, на Василису погляжу!— снова кричит она.— А тебе и присясть некогды.

— А как присядешь? — с готовностью откликается Василиса.— Весь день на ногах, то одно, то другое...

— Ее и за тыщу лет не переработать! — кричит бабка Авдотья.— Попомни, Василиса, она все равно после нас останется. Хошь конем вози, а останется.

— Останется, останется,— кивает Василиса.— Ее из одного дня в другой перетащишь, а уж надо дальше тащить. Так и кочуешь, как цыган с торбой.

— И никуда не денешься!

— А куда денешься?

— Нет, нет.

Они долго и согласно кивают друг другу головами. Потом бабка Авдотья спрашивает:

— У тебя Петра-то где — на работе?

— Как же, жди — на работе! — хмыкает Василиса.— Евон, в амбаре заперлись, поливают, поди, на чем свет стоит.

— Во-во-во! — обрадованно кричит Авдотья.— У меня с зятем такая же история. Один зять трезвенный, а другой просыхать не хочет.

Василиса понимающе кивает.

— Ты-то туда не заходишь? — Бабка Авдотья головой показывает в сторону амбара.

— Ты, старуха, ума, ли че ли, решилась,— обижается Василиса.—Да я с ним в уборной рядом не сяду. Ты сморозишь — хоть стой, хоть падай.

— Хех-хе-хе,— смеется бабка Авдотья.— Интерес меня взял, я и спросила. Думаю, может, на старости лет сошлися, а я знать не знаю.

— Не болтай, старуха Авдотья.

...Василий взбалтывает остатки водки и разливает. Петру неудобно сидеть на детской табуретке, и он пересаживается на кровать.

— Обидно мне, Петька, что ты тайгу не уважаешь,— говорит Василий.— У нас вся родова была таежники, а я умру, и ружье продавать надо.

— Я ее уважаю,— слабо возражает Петр,— да кто из колхоза отпустит?

— Оно конечно.

— Никто не отпустит. Если бы я был не тракторист, тогда другой разговор. А так — это головой о стенку биться.

— Ружье не продавай,— вдруг строго говорит Василий.

— Вот еще — зачем мне его продавать?

— Не продавай. Мне жить немного осталось, пускай память обо мне будет. Глядишь, и зверя где встретишь. Ружье доброе.

— Хватит тебе. Сказал, не продам — значит, не продам.

Они умолкают. Последняя водка в стаканах еще не выпита, она мелко дрожит, и сверху при электрическом свете кажется, что она подернулась тонкой пленкой.

— Петька,— говорит Василий,— давай споем.

— Давай.

— Какую петь будем?

— Мне все равно, начинай.

Василий долго не начинает. Он берет стакан и держит его в руках. Потом, склонившись над самым столом, решается.

Расцветали яблони и груши...

Он поворачивается к Петру, и тот подхватывает. Больше они не смотрят друг на друга.

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Василиса поднимает голову и прислушивается. Бабка Авдотья ушла. Василиса вздыхает, но и самой ей непонятно, что было в этом вздохе.

* * *

Случилось это года за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил: через день да каждый день приходил домой пьяный, а как-то раз попытался избить Василису. Он загнал ее на русскую печку, где деваться ей было уже некуда, и полез вслед за ней. В последнюю секунду под руку Василисе попался ухват, она схватила его, наставила рогами в приподнявшуюся шею Василия и изо всех сил саданула вперед. Василий упал, а она, не выпуская ухвата, спрыгнула и успела прижать его шею к полу. Он извивался, вытянув шею, как петух на чурке перед тем, как ему отрубят голову, хрипел, матерясь, но вырваться из-под ухвата не смог. Василиса выпустила его только тогда, когда он пообещал не трогать ее.

Напившись, Василий, вспоминая этот случай, свирепел от сознания своего позора и набрасывался на Василису с кулаками. Она усмиряла его: с пьяным, с ним справиться было нетрудно. Но как-то раз — Василиса в то время опять была беременной — он схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. Василиса до смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила из избы. В ту ночь у нее случился выкидыш. Вернувшись домой, она растолкала Василия и показала ему на порог:

— Выметайся!

Василий спросонья ничего не понимал. Она повторила еще решительнее:

— Выметайся, тебе говорят!

Василиса сама вынесла одежонку Василия на крыльцо, и он по деревянному тротуарчику, настланному им незадолго перед этим, перетащил ее в амбар. Вечером он хотел было войти в дом, но Василиса решительно стала в двери:

— Не пущу!

Они прожили вместе двадцать лет, и у них было семеро детей. Два старших парня уже работали, младшему, Петьке, пошел пятый год. Когда грянула война, председатель сельсовета послал нарочного по домам, чтобы все знали и чтобы никто не собирался в тайгу. Василисина семья как раз сидела за столом. Нарочный, сопленосый мальчишка, которому война представлялась игрой для взрослых, забарабанил в окно и весело закричал:

— Э-э-эй! Война началась! Война!

Сразу же пришел Василий, и Василиса не стала его выгонять, не до того было. Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал — видно, одному в амбаре молчать было невмоготу.

Через три дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей, сам прошел на середину горницы. Все встали, Василиса тоже. Василий, сморщившись, потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали.

— Василиса,— хрипло сказал Василий,— не суди меня боле,— убьют, поди. Ты тут ребят... того...

Василиса первая подала ему руку, Василий пожал ее и, не договорив, ушел. Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы.

Потом подводы выезжали прямо со двора. Василиса проводила на войну двоих старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе, и Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно двигаются по улице за деревню, как поют пьяные мужики, как, хватаясь за них, голосят бабы. Василиса не ходила за деревню,

она стояла у ворот, а потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы.

Один из сыновей не вернулся совсем, а другой вернулся, но сразу же уехал в город и теперь живет там. Василий пришел позже всех.

Была уже осень, в деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя:

— Мама, отец приехал! Идет.

Василиса выпрямилась.

— Живой, выходит, остался,— рассуждая сама с собой, неторопливо сказала она.— А вот Сашку убили.

Не развязывая мешка, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не стала, ни к чему. Когда на крыльце послышались шаги, она готова была ругаться. Василиса не могла понять, устала она или ее тошнит.

— Это я, Василиса,— сказал Василий от порога, и она опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдерживало, и она, подчиняясь этой готовности, произнесла:

— Сашку убили.

Василий кивнул.

Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята, и ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны, а Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку.

Мужики пели незнакомыми, приобретенными где-то там, на войне, голосами, приобретенными и в криках «ура», и в криках о помощи,— Василисе казалось, что они собрались только для того, чтобы до конца пропеть и прокричать в себе чужие голоса, вслед за которыми должны начаться их собственные.

Песни были пьяными, но сдержанными, без залихватской удали, и мужики, выводя их нестройными голосами, казалось, все время оглядывались, не случилось ли что-нибудь позади них; казалось, каждый из них приостанавливает себя, чтобы не забыться и не потеряться. И громкий пьяный разговор тоже был сдержанным, он быстро прерывался песнями—все это походило на тупую, беспокойную боль, вспыхивающую то в одном, то в другом месте.

Василиса устала и вылезла из подполья, делать ей больше ничего не хотелось. Она позвала Настю и сказала:

— Иди прибери отцу в амбаре.

— Мама! — голосом упрекнула Настя.

— Иди,— сказала Василиса.— Не твое дело.

Почти сразу же в кухню пришел Василий.

— Не хошь, стало быть, простить? — спросил он, вставая прямо перед Василисой.— Не хошь. А я, Василиса, тебе гостинец привез, да все не знал, как поднести.

— Не будет нам житья вместе,— сказала Василиса.— Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать.

— Война всех переделала,— тихо возразил Василий.

— Война, война...— повторила Василиса.— Война — она горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорей, войну твою.

Она вздохнула. Василий попытался ее обнять, но она отстранилась, и его руки провалились в воздухе.

— Незачем это,— сказала она, отходя.— Я, Василий, спеклась, меня боле греть ни к чему.

Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать, но плакать совсем не хотелось, и она осталась довольна. В ту ночь она уснула быстро, и ее сон был спокойным, а утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой, непроглядный туман — ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.

После войны Василий дома жил недолго, он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро, может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел или невмоготу ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженному. Перед отъездом Василий отдал Петьке все свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза, постирал с вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем присылать деньги, а наутро замолчал, будто уехал раньше срока.

На пароход Василия провожали Настя и Анна, Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап, Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и ушел, через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил, и Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе

и, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел.

Настя вышла замуж уже без него. Среди всех своих сестер и братьев, которые были одинаково медлительными и рассудительными, Настя выделялась порывистостью и удивительной энергией. «Скороспелка»,— говорила о ней Василиса. В двенадцать лет Настя была доверенным лицом чуть ли не всех деревенских влюбленных, они передавали ей друг для друга записки, а двадцатилетние девки поверяли свои тайны. В четырнадцать Настя пошла работать на ферму, в семнадцать вышла замуж, через год родила двойню. Она торопилась даже тогда, когда незачем было торопиться, и ее женское счастье, видно, не выдержало такой спешки и лопнуло: через четыре года Настин мужик погиб на лесозаготовках, оставив ей трех маленьких ребятишек. После этого жизнь пошла медленней.

Василий вернулся на другое же лето после своего отъезда. Удачи он на приисках не добыл, денег тоже, он приехал исхудавший и обовшивевший, в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделю Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходя и ни с кем не разговаривая, потом снарядился и ушел в тайгу.

* * *

Июль, вторая половина месяца. Лето пошло на убыль, но дни стоят душные и тяжелые. Дороги безудержно пылят, и пыль, оседая на крышах, делает дома незначительными, похожими на прошлогодние скирды. Над Ангарой стоит дым: где-то горят леса.

Колхоз уже откосился, уборку начинать еще рано. Колхозники, как могут, используют эту небольшую передышку для себя — теперь начинается личный сенокос. По утрам деревня уплывает на острова, уходит в тайгу, в домах остаются немногие, и они усердно, по два раза в день, утром и вечером, поливают огороды. Над огородами, несмотря на жару, стоит дружный огуречный дух.

У Петра и Насти покос в одном месте — от деревни пятнадцать километров. Бегать каждый день туда и обратно тяжело, поэтому уходят сразу на неделю, чтобы пораньше начинать, попозже заканчивать. На две семьи с ребятишками и с хозяйством остается одна Таня. Василий тоже мог бы никуда не ходить, но он уже привык к таким походам и считает себя обязанным помочь сыну

и дочери. Впервые в этом году на сенокос увязался Васька, девятилетний сын Петра.

Погода сенокосная, сено в жару сохнет быстро, но косить тяжело: трава перестояла и высохла еще на корню, так что только успевай отбивать литовки. У Василия прокос широкий, но недлинный, он часто останавливается и курит, отирая рукавом рубахи пот со лба и затылка.

— Васька! — кричит он.— Где котелок?

Васька бегом приносит воду, и Василий жадно пьет, потом задирает голову и щурится на солнце. Кажется, солнце, как мяч, закатилось в яму, откуда ему ни за что не выкатиться,— вот и будет теперь жарить бесконечно.

— Хошь бы какая дешевенькая тучка прикрыла,— бормочет Василий и снова берется за литовку.

Петр косит в сторонке, он в майке, голову повязал носовым платком. Его литовка, вонзаясь в траву, уже хрипит от бессилия. Петр поднимает ее, окунает брусок в воду и начинает быстро водить им по литовке. Потом оглядывается на Василису — она давно уже неподвижно сидит на колодине.

— Мать,— кричит он,— шла бы ты в шалаш! Пускай жара спадет, потом покосишь.

Василиса не отвечает.

— Мама,— услышав Петра, кричит Настя,— иди ставь обед, сейчас все придем!

Василиса поднимается и подходит к Петру.

— Сил нету,— печально говорит она ему и вздыхает.— Износилася. Думала, помогу, ан нет.

— Ты чего, мать? — спрашивает Петр.

— Я отойду, ты не думай. Вот полежу и отойду, а завтра сама своя буду. Это с непривычки, уж год не косила.

Согнувшись, она уходит к шалашу, и все трое — Василий, Настя и Петр — смотрят ей вслед.

— Давай перекурим! — кричит Василий Петру.

Петр подходит к нему и, зажав руками котелок, долго пьет. Потом он сдувает со лба капли нависшего пота и садится.

— Чего это с матерью? — спрашивает Василий.

— Старая,— обычным голосом отвечает Петр.— Сколько ей лет?

— На два года моложе меня была.

— Старая,— повторяет Петр.

Поздно вечером они сидят у костра и пьют после ужина чай. Костер то взвивается вверх, и тогда на каждом из

них, как одежда, отчетливо видна усталость, то снова сникает. За шалашом, в темноте, собака звучно вылизывает из банки остатки консервов. Ночь ложится на деревья, на скошенную траву, и только на костер, боясь обжечься, она лечь не решается. Костер от этого гоношится, подпрыгивает.

Они долго не спят: начало сенокоса положено, первый день прошел как надо, и все это живет в них ближними, еще не улегшимися чувствами.

— Пора укладываться,— говорит наконец Василий.— Копен девять за день накосили, и то ладно.

— Нет, больше,— быстро поправляет Настя, она всегда говорит быстро.— Я одна копен пять намахала.

— Хорошо бы больше,— откликается Петр.

— Завтра поторапливаться надо.— Василий поднимается.— Ненастье будет.

— Какое еще ненастье? — настороженно спрашивает Василиса и смотрит на Петра.

— Собака траву ела,— говорит Василий Петру.— Примета верная.

Петр молчит.

* * *

Василий и Петр женились в один год, даже в один месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерица она была хорошая, за шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну, да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать.

Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя, прошли Октябрьские праздники, выпал запоздавший в ту осень снег. Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и позвал к себе Петра.

— Ты эту, пришлую, видел? — спросил он сына, не глядя на него.

— Это которая шьет?

— Ага.

— Видел, она ж по деревне ходит.

— Хочу взять ее к себе,— сказал Василий и повернулся к Петру.

— Да ты что, отец, серьезно? — не сдержавшись, удивился Петр.

— А чего? Нельзя мне, что ли?

— Да почему нельзя? — забормотал Петр, не зная, что сказать.— Конечно. Ты еще не старый. Кто говорит, что нельзя?

— Дело не в том, старый или не старый,— невесело поправил Василий.— Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу как арестант. Хозяйка нужна — вот какое дело.

Они помолчали.

— Заходи перед вечером завтра, бутылку на троих разопьем, свадьбу, стало быть, сыграем. Я Насте накажу, чтоб сготовила.

Дома Василиса хлопотала на кухне.

— Мать! — возбужденно закричал Петр, входя.— У нас отец женится.

— Но, — бесстрастно откликнулась Василиса.

— Точно говорю. Завтра приведет.

— Пускай хошь тыщу раз женится, я к нему никакого касанья не имею.

— Обидно, поди?

— Чего ты, Емеля, мелешь? — вскинулась Василиса.— Обидно стало, изошлась вся от обиды — куды там! Полоумная она, раз идет за него. Добрая не пошла бы.

Новую жену Василия звали Александрой, и была она ненамного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор в уборную.

— Да она хромоножка,— обрадовалась Василиса.— Я говорила, добрая за него не пойдет, так и есть. Теперь они заживут. Черт черту рога не обломит.

В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре. Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но и он тоже старался лишний раз на улицу не выходить. Для деревни его женитьба была ковшом меда, вылитым на муравейник: ее судили и рядили на все лады, после войны она стала самым важным событием, намного важнее любой смерти, случившейся за последние годы. У баб вдруг не стало хватать соли, хлеба,

исчезли куда-то стиральные доски и утюги, и за всем этим они шли к Василисе, заводя разговор о молодых,— конечно, имелось в виду, что они спрашивают о Петре и Тане. И только бабке Авдотье, которая уже и тогда была глуховатой, хитрить не приходилось.

— Ты, сказывают, сестричкой обзавелась, Василиса! — кричала она, расположившись на скамье.

— Тебе, старуха Авдотья, делать нечего, вот ты и ходишь, сплетни полощешь,— сердито отвечала Василиса.

— А тебя за душу берет?

— Мне начхать, мне ихнее исподнее белье не стирать.

Бабка Авдотья обводила избу испытующим взглядом и снова кричала:

— Сюды-то не заходит?

— Пускай только зайдет — я ей глаза выцарапаю.

— Выцарапай, выцарапай,— поддакивала бабка Авдотья.— Ей волю дай, и тебя из избы выгонит. Ты, Василиса, с ее глаз не спускай.

Вскоре они встретились — жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала.

— Здравствуйте,— совсем растерявшись, чуть слышно поздоровалась Александра.

— Вот оно как — здрасьте, значит,— удивилась Василиса и рассердилась.— А чаю не хотите? Хромай, куды хромала, хромоножка, я не сахарная, от твоих «здрасьте» не растаю. Ишь ты, здрасьте, обходительная какая!

Она долго не могла успокоиться, ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили, а она не сумела ответить как следует, она на все лады повторяла злополучное «здравствуйте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить.

Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка — это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки, а они, несмышленыши, бежали хвастаться обновой к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня — тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке. Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слыш-

но, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает, никто с ней не считается, а только терпят,— мол, живешь, ну и живи.

— Матерью-то еще не зовешь ее? — с обидой спрашивала она у Насти.

— Ты, мама, не собирай чего не следует,— сердилась Настя.

— А по мне хошь зови. Мне помирать скоро, а она вон кобылицей ржет — молодая.

— Ты, мать, жизнь прожила, а ума не нажила,— вступался за Александру Петр.— Ходишь, злишься, а за что — сама не знаешь. В чем она перед тобой виновата?

Василиса умолкала, уходила в себя.

Однажды после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу — сама бы она ни за что даже через порог не переступила, да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они разговорились, потом Александра выглянула в окно и ахнула: Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела.

— Эт-то еще чего?! — увидев ее, закричала Василиса.— Ах ты, супротивица! В избу захотела. Я тебе счас покажу дорожку, я тебе...

— Меня Таня позвала,— пыталась оправдаться Александра..

— Мало ей амбара! — гремела Василиса, торопливо осматривая двор, словно подыскивая палку.— Мало ей Настькиной половины — сюды захотела! Я тебя отважу!

— Не смей! — пыталась защищаться Александра.

— Я тебе не посмею! Я тебе вторую ногу обломаю!

— Злишься, да? — вдруг переходя в наступление, закричала Александра.— Хочешь выжить меня? Не выйдет! Все равно он с тобой жить не будет,— отталкиваясь одной ногой, она наступала на Василису.— Он мой! Ты ему не нужна, не нужна, не нужна!

— Чего, чего! — опешила Василиса и рявкнула:— Кыш, кукша! Кыш, кукша! — еще раз крикнула она и, не оборачиваясь, пошла в дом.

— Чтоб больше эта хромая нога сюды не ступала!— строго выговорила Василиса Тане.— Покуда я здесь хозяйка, а не она. У меня и без нее кровь порченая, моя судьба не сладкая была. Вот умру — еще помянете меня.

Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала.

— Сейчас бы квасу попила,— неожиданно сказала Василиса Тане.

— А квасники есть? — обрадовалась Таня.— Я бы поставила...

— Нету,— вздохнула Василиса.

Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре, она уже не ворчала, не злилась, а, встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. О случившемся Василиса не вспоминала — то ли чувствовала себя виноватой, то ли просто не хотела бередить душу. Она стала молчаливой, задумчивой, по вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну.

— Ты у нас, мать, не заболела? — спрашивал Петр.

— Есть когда мне болезнями заниматься,— неласково отвечала она и уходила.

Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в тридцати километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Сын с радостью согласился и даже собирался ехать за ней, но она с попутчиками передала, чтобы он не торопился. Переселиться на новое место она так и не решилась.

— Везде хорошо, где нас нету,— вздыхая, говорила она Тане.— Куды мне теперь трогаться, помирать скоро надо.

В последнее время Василиса привязалась к Тане, по утрам, жалея ее, старалась не греметь посудой, не позволяла ей делать тяжелую работу. Таня часто болела, заболев, улыбалась грустной и виноватой улыбкой.

— Поболей, поболей,— утешала ее Василиса.— Потом детей народишь, болеть некогда будет. А жисть, она долгая. Твоя жисть тоже не сладкая будет, мужик тебе не золото достался.

Потом она шла к Насте и говорила:

— Ты бы, Настька, сходила в амбар, к этим. У них, поди, малина есть. Пускай Таня чай с малиной попьет. Скажи Александре своей — для Тани.

Прошла зима, в марте сбежала под гору талая вода, запели по дворам петухи. Настиных ребятишек в эту пору домой загонять приходилось ремнем или пряником. Убегут и дверь не закроют, кому не лень приходи и все соби-

рай. Мать на работе, Василиса, как могла, следила — да разве за всем уследишь?

Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома, открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату — на кровати, зарывшись головой в подушки, лежала Александра и всхлипывала.

— Евон как,— удивилась Василиса.— Плачет.

Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати.

— Слезами горе не зальешь,— негромко, чтобы только дать о себе знать, сказала Василиса.

Александра испуганно вскочила и села на край кровати.

— А может, горя-то и нету,— продолжала Василиса.— У бабы, как у курицы, глаза на мокрое место поставлены.

Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом.

— Пойдем-ка, бабонька, ко мне,— вдруг предложила Василиса.— Я самовар поставлю, чай попьем.

Александра, отказываясь, замотала головой.

— Пойдем, пойдем, не ерепенься,— решительно сказала Василиса.— Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего.

Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать.

— Не могу, когда бабы плачут,— обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса.— Для меня это нож острый по сердцу. Жисть как пятак — с одной стороны орел, с другой решка, все хотят на орла попасть, а того не знают, что и с той и с другой стороны он пять копеек стоит. Эх, бабоньки!— она вздохнула.— Много плакать будем — сырость пойдет, а от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?

Она ушла на кухню и загремела там самоваром.

— Ну? — вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара.— Он, ли че ли?

— Нет,— замотала головой Александра.— Это из-за мальчика, из-за сына.

Она взглянула на Василису и умолкла.

— Ты расскажи,— попросила Василиса,— легче будет.

— Легче не будет. Я чай подожду, чтобы запивать. Так не могу.

Александра помолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать:

— Ему было четыре годика, совсем маленький. Меня взяли в трудармию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали, я долго не могла попасть в город, пришла, а их нету.

Она опять всхлипнула.

— Скоро чай будет,— напомнила Василиса.

— Маму дорогой ранило, ее сняли с поезда, а его повезли дальше. Говорили, что в вашу область.

— Скоро чай будет,— опять сказала Василиса.

— Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось десять лет, снился десятилетним, когда исполнилось пятнадцать, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение, жениться хочу».

— А ты? — вся подавшись вперед, спросила Василиса.

— А я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись».— «А скоро ты меня найдешь?» — спрашивает он.

— Ой ты! — ахнула Василиса.

— «Скоро,— говорю,— сынок, очень скоро». Он и пошел от меня. «Ау! — кричит.— Мама, ищи».— Василиса, замерев, ждет продолжения. Александра молчит.

— Так и ушел?

— Ушел.

— А не сказал, где искать-то?

— Нет.

— Спросить надо было, допытаться.

Александра бессильно пожала плечами.

Они пили чай и разговаривали, потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней рано утром Александра зашла к Василисе прощаться.

— Собралась я,— грустно сказала она.— Пойду дальше.

— С богом,— благословила ее Василиса.— Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду.

Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.

В то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему стакан чаю и поставила на середину стола.

* * *

В последнее время Василий все чаще и чаще жалуется на поясницу. Он сидит на кровати и, раскачиваясь, пробует размять спину. При этом он морщится и кряхтит, на его измученном лице в рыжей щетине блестят капли пота.

— Ох,— стонет он,— подсидела, окаянная, скараулила, нечистая сила! Хошь бы на минутку отпустила.

Обессилев, Василий ложится и закрывает глаза. Спокойно лежать он тоже не может и опять приподнимается.

— Васька! — кричит он в открытую дверь.

Никто ему не отвечает.

— Васька!

Васьки нет.

После работы к Василию приходит Петр.

— Ты накажи Ваське, чтоб заглядывал ко мне,— говорит Василий.— А то круглый день один. Умру, и никто глаза не закроет.

— Как у тебя? — спрашивает Петр.

— Чего как? Сам видишь как. Вся спина книзу опускается. Хошь караул кричи.

— Врача надо.

— Врача, врача,— злится Василий.— Была вчера фельдшерица, а толку сколько? Я ей говорю, поясница болит, а она глазами хлопает. Она до меня знать не знала, что у человека поясница есть.

— У них это по-другому называется.

— Они понос тоже по-другому зовут, а лечить обязаны, на то учились.

— Что она тебе сказала-то?

— А ничего. Постукала и ушла, как на экскурсию сходила. «Завтра,— говорит,— приду», и все идет.

Он откидывается к стене и стонет. Через минуту опять выпрямляется.

— Ты сбегай в магазин, а,— просит Василий.— От нее мне легчает. Хошь ненадолго, а отпустит, чтоб оглядеться. Деньги над дверью. И сам со мной с устатку выпьешь.

Петр поднимается, молча отыскивает деньги и уходит.

На следующий день за водкой бежит Васька.

— На сдачу конфет взял,— хвастает он Василисе.

— Хорошее лекарство придумали,— с удовольствием язвит Василиса.— Стакан выпил, крякнул, и вся хворь из тебя, как от чумы, уходит.

После водки Василий и в самом деле успокаивается и засыпает. Но потом боль становится еще сильней, она словно злится за свое вынужденное отступление и свирепствует с новой силой.

Наконец-то опять пришла врачиха и сказала, что Василия надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился, он устал. Ему хотелось скорее выпить и уснуть, а потом пусть везут его хоть в Москву, он все вытерпит и все будет делать так, как ему скажут. Он прожил немало, кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь, или просто подошла его очередь, и он теперь задерживает движение.

Врачиха уходит, и Василий торопливо наливает себе полный стакан, Петру полстакана. Они выпивают, через минуту Василий оживляется.

— Скажи ты мне,— спрашивает он,— почему это люди все больше рождаются и умирают по ночам?

— Не знаю,— пожимает плечами Петр.

— Вот то-то и оно — никто не знает. А почему человек на белый свет приходит ночью и уходит ночью? Неправильно это. Я хочу днем умереть. Люди разговаривают, курицы крыльями хлопают, собаки лают. Ночью страшно, все спят. А тут ребенок кричит, из матери вышел. В другом месте старик кричит — из него жизнь уходит. А люди, которые посередине, спят. Вот это и страшно, что спят. Проснутся, а уж кочевье произошло. Работу свою сделают, не сделают, опять ночь, опять спать, и опять все сдвинулось. О-хо-хо! Ночью никто тебе не поможет, не скажет: «Умирай, Василий, умирай, не бойся, ты все сделал, а чего не сделал, другие доделают». Человека успокоить надо, и тогда ему не страшно в домовище ложиться.

— Ты чего это, отец? — испуганно спрашивает Петр.— Чего мелешь-то?

— Мелешь, говоришь? А мне страшно. Вот ты встал и ушел, а я один. Я привык один — жить, значит, привык один. Умирать одному страшно. Не привык.

Он тянется за бутылкой.

— Давай разольем, да я лягу.

Петр приходит домой и говорит Василисе:

— Плохо отцу.

Василиса не отвечает.

Опять день. Дверь в амбар снова открыта.

— Васька! — кричит Василий.

Васьки нет.

Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглядывает в дверь.

— Нету Васьки, не кричи почем зря,— говорит она.

Василий приподнимается и смотрит на нее.

— Это ты, Василиса? — ослабевшим голосом спрашивает он.— А где Васька?

— Убежал.

— Ты зайди, Василиса, чего уж теперь.

Василиса перешагивает через порог и останавливается.

— Подойди, Василиса.

— Захворал, ли че ли? — спрашивает Василиса от порога.

— Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся.

Она осторожно подходит и садится на край кровати.

— Плохо мы с тобой жили, Василиса,— шепчет Василий.— Это я во всем виноватый.

— Совсем не плохо,— качает головой Василиса.— Дети выросли, работают.

— Плохо, Василиса. Стыдно перед смертью.

Василиса подносит к губам край платка и наклоняется над Василием.

— Ты чего это выдумал-то, Василий? — шепчет она.— Чего это ты выдумал-то?

— На меня твои слезы капают,— обрадованно шепчет Василий.— Вот опять.

Он закрывает глаза и улыбается.

— Чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой!

Она трясет его за плечи, он открывает глаза и говорит:

— Давай попрощаемся, Василиса.

Он подает ей руку, она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается.

— Теперь иди,— говорит он.— Теперь мне легче стало.

Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и выходит.

Он улыбается, лежит и улыбается.

Стоит тихий, словно перед дождем, день. В такой день хорошо пить простоквашу — не очень холодную и не очень теплую — и смотреть в окно, что происходит на улице.

ВСТРЕЧА

— Надо же,— повторяла Анна.— Надо же, встретились! Кто бы мог подумать!

Николай, улыбаясь, пожимал плечами.

Перед этим они долго приглядывались друг к другу, потом Николай, не вытерпев, подошел и спросил: «Вы не такая ли?» — «Такая,— ответила она,— а вы откуда меня знаете?» — «А я вот такой, если вы такого помните, ведь столько лет прошло».— «Ой,— спохватилась она,— а я уж и узнала, спросила и сразу узнала, вы еще и отве́тить не успели, а я уж узнала». Она подала ему руку. «Надо же,— удивленно сказала она,— надо же, встретились, чего только не бывает на свете! Кто бы мог подумать!»

Зазвонил звонок, созывая людей в зал, но это был только первый звонок, и они, казалось, не услышали его.

«Вы все там же живете?» — спросил он. «Там же,— ответила она,— никуда и не трогалась, а теперь уж и трогаться поздно. А вы где?» — «А я вот там — как с войны пришел, так и туда, уж больше двадцати лет прошло».— «Я и не знала,— сказала она,— в одной области живем, а я и не знала».

Звонок зазвонил во второй раз, и она, улыбаясь, оглянулась на зал. Теперь уже надо было идти. После перерыва свободных мест в зале стало больше, и они сели в последнем ряду, где можно поговорить. Сразу же опять начались выступления — это было областное совещание передовиков сельского хозяйства, на которое он приехал с одного конца области, а она с другого, и без него, без этого совещания, едва ли им пришлось бы встретиться.

Они стали слушать выступавшего, но слушать его было неинтересно, и они просто смотрели, как он говорит. Потом Николай не вытерпел и взглянул сбоку на Анну, на ее лицо, и она, чувствуя, что он на нее смотрит, обер-

нулась к нему и улыбнулась настороженной, готовой в любое мгновение разгладиться на лице улыбкой, почти полуулыбкой.

— Бормочет, бормочет, а чего бормочет, непонятно,— сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— Ага,— согласилась она.— Чего уж они не подыскали, кто голосом посильней. Вот наш председатель заговорит, так хочешь не хочешь, а будешь слушать — будто гром гремит.

Склонившись, они облегченно засмеялись.

— У вас все колхоз? — спросил он.

— Колхоз. Года три назад говорили, что совхоз сделают, а потом, видать, передумали — молчат.

— А ты где работаешь? — Он перешел на «ты».

— Дояркой. Давно уж, скоро пятнадцать лет исполнится.

В зале стало шумно, и выступавшего было почти не слышно. Председательствующий за столом президиума сморщился, взял колокольчик и зазвонил. Зал умолк и стал смотреть на председательствующего, на то, как он ставит на стол колокольчик, как, чувствуя на себе сотни глаз, говорит что-то своему соседу, что-то необязательное и первое попавшееся.

— Ты в гостинице остановилась? — спросил Николай.

— Нет,— оглядываясь на президиум, зашептала Анна.— У меня тут тетка живет, я у нее.

Он засмеялся.

— Да ты не бойся.

— Ругаются,— смущенно сказала Анна.— А ты где, в гостинице?

— Там.

Они помолчали, украдкой поглядывая друг на друга, потом Николай склонился к ней и предложил:

— Давай мы вот как сделаем. Сейчас кончится, давай пойдем ко мне.

— А зачем? — осторожно спросила она.

— Поговорим — как зачем? Столько лет не видались! Посидим, поговорим, чтоб никто не мешал.

— Не знаю.

— А чего тут знать?

— Не знаю, что и делать.

— Да ты какая-то дикая стала! — удивился он. — Как девчонка. Я помню, ты в молодости будто не трусливая была.

— Не подначивай,— сказала она.— Поеду, так и быть. Ты меня не съешь.

— Понятно, не съем.

В перерыве они оделись и вышли. На улице уже начинались скорые зимние сумерки, но было тепло, и оттепель эта, наступившая за те несколько часов, пока они сидели на совещании, казалась удивительной. Не верилось, что стоит декабрь, конец декабря, середина зимы. Люди туда и обратно шли одинаково не спеша, отдыхая от морозов и постоянной зимней спешки. При тусклом свете загорающихся в сумерках огней в воздухе висели редкие лохматые снежинки, оставшиеся после недавнего снега, но доставали ли они до земли, было не видно. Машины двигались почти бесшумно, и потому казалось, что они движутся медленно и осторожно.

Николай и Анна сели в автобус, можно сказать, не сели, а стали: свободных мест не было, и им пришлось стоять. Анна, пригибаясь, то и дело заглядывала в окно на мелькающую улицу — отсюда, из автобуса, она выглядела сверкающей и оживленной.

— Садись.— Николай легонько подтолкнул Анну к сиденью, с которого поднялась женщина.

— Да я постою,— стала отказываться она.— Ты говоришь, тут недалеко, можно и постоять.

— Садись, садись, не строй из себя молоденькую.

Она села и, обернувшись к нему, хохотнула:

— Ишь, кавалер!

— А что? — Он подмигнул ей.— Может, скажешь, что я в молодости был плохой кавалер?

— Не знаю,— хитро поглядывая на него снизу, сказала она.

— Ты-то должна помнить.

— Не помню.

Он не стал продолжать ее игру и сказал свое:

— Мы и теперь с тобой не старики.

— К тому дело идет — чего уж там! Мне через два года пятьдесят будет, отжила свое.

— А у меня все пятьдесят со мной, ни один не потерялся, и то не жалуюсь,— бодро сказал он.— Нам с тобой по пять раз еще можно жениться да замуж выходить.

— Ну уж. Ты скажешь.

— А что? Точно.

Автобус тряхнуло, и Николай невольно схватил Анну

за плечи, но руку убрал не сразу. Анна съежилась, ожидающе обернулась к нему.

— Испугалась?

— Да нет. Какие тут страхи?

— Поднимайся,— сказал он.— Сейчас нам выходить.

На улице уже совсем стемнело, и только от выпавшего снега, еще теплого и белого, шло вверх ровное голубоватое свечение. Казалось, стало еще теплее, почему-то верилось, что эта зимняя благодать наступила неспроста, что она каким-то образом связана с их встречей.

Они шли к гостинице молча. У широких освещенных окон кружились снежинки. Анна, улыбаясь, одной ногой загребала снег, оставляя за собой извилистую полосу. Николай смотрел на нее и добродушно ухмылялся. У дверей Анна остановилась и серьезно сказала:

— Страшно.

— Проходи, проходи — чего тут страшного?

— Скажут: ты ему не сестра, не жена — зачем идешь?

— Вот увидишь, никто ничего не скажет. Проходи.

Они поднялись на второй этаж, по длинному и узкому коридору прошли в самый конец. Анна, оглядываясь, бежала впереди. Пока Николай открывал свой номер, она прижалась к стене. Он распахнул перед ней дверь.

— Вот здесь я и проживаю.

— Ты смотри! — удивилась она, щурясь от яркого света.— У тебя тут как у министра какого.

Он, довольный, засмеялся.

— Нет, правда. Я в таких и не бывала ни разу. Телефон, шторы, кресло. Неужели ты тут один и живешь?

— Один.

Все еще удивляясь, она покачала головой.

— Ты раздевайся,— сказал Николай.— Я сейчас.

Он куда-то ушел. Анна сняла пальто, осматриваясь, присела у стола, но сразу же поднялась и подошла к окну. Окно выходило во двор, не забитый ни ящиками, ни бочками, в нем лежал непримятый, как на поляне, снег. Она долго смотрела на снег, потом отвернулась от окна, увидела рядом с собой телефон и бережно погладила сверху его изогнутую, как скобка, зеленую трубку.

За дверью послышались шаги; Анна испугалась и торопливо присела в кресло. Пришел Николай. Шумно дыша, он поставил на стол две бутылки вина, стал доставать свертки.

— Это еще зачем? — нарочито удивилась Анна.

— Гулять будем, Анна.

— Ты с ума сошел!

Он весело хмыкнул:

— Вот и ты скорей сходи, чтобы вместе.

— Но куда же столько вина — ты подумай!

— Пригодится.

Она со страхом и любопытством смотрела, как он режет хлеб и колбасу, открывает бутылки и банки, но страх уже проходил. Она улыбнулась, спохватившись, погасила улыбку, но сразу же улыбнулась снова и с вызовом спросила:

— Значит, гулять будем?

— Гулять, Анна, гулять.

— А,— она махнула рукой,— давай. Говорят, один раз живем.

— Вот это правильно, это по-нашему.

Он разлил в стаканы вино, потирая руки, оглядел стол.

— Как будто все. Ну, давай поближе, Анна. Давай за встречу. Поднимай. Столько лет не видались.

— За встречу,— повторила она.

Они чокнулись и выпили. Анна закрыла глаза, потом осторожно открыла их, опустила стакан на стол. Николай снова потянулся за бутылкой. Анна попыталась его удержать, но он отвел ее руку.

— Ты меня, может, споить задумал? — спросила она.

Он засмеялся.

— Надо же мне когда-то отомстить за старое.

— За какое старое?

— За то, что ты не пошла за меня замуж. Забыла уже?

— Может, и помню, может, и нет.

— А то я могу напомнить.

Он обиженно умолк. Она подняла на него глаза и сразу же опустила их. Обоим стало неловко.

— Давай выпьем,— сказал он.— Запьем все, что было. Давай гулять, и дело с концом.

— Давай гулять,— согласилась она и подняла стакан.— Я хочу выпить за тебя, за то, что ты живой, здоровый.

— Спасибо.

— И за то, чтобы у тебя и дальше все ладно было.

О чем-то задумавшись, она держала стакан в руках.

Он кашлянул. Она спохватилась и торопливо выпила, глядя на него.

— Я не спросила тебя,— сказала она,— ты-то теперь кем работаешь?

— Я механик на отделении.

— Ишь ты, и правда начальник.

— Самый главный,— отшутился он.

— А я доярка, скоро уж пятнадцать лет будет, как на ферме. Ничего, привыкла, будто так и надо.

— Ты замуж-то выходила после войны или нет? — спросил он.

— Выходила,— ответила она и замолчала, задумчиво ссутулившись над столом, потом выпрямилась и стала рассказывать: — Ты его не знал, он приезжий был. Я его, можно сказать, пожалела, он инвалид, с одной ногой ходил, пожалела и взяла к себе в дом. А потом тысячу раз покаялась. Сначала все ничего было, пока не пил, а потом запил.— Она вздохнула и отставила от себя стакан.— А напьется — известное дело, скандалы, лезет драться. Ревновать меня вздумал. Да разве мне до мужиков было? День и ночь работала — сам знаешь, времечко тогда не сладкое стояло — давай и давай. Какие уж тут мужики — придешь без рук, без ног, а утром опять иди. Ну да ладно, чего уж теперь об этом...

— Рассказывай, рассказывай!

— Мальчишку невзлюбил,— вспомнила она.— Того, от Ивана, а с ним у меня не было ребят. И то ему неладно, и другое неладно. Измотал всю. Я как дура терпела, думала, может, наладится,— нет, дальше хуже, дальше хуже. Сколько можно терпеть? Раз поднялся он на меня, я и не вытерпела. Чем такой мужик, уж лучше без мужика жить, правда?

Николай не ответил.

— Спокойней,— сказала она.— И вот с той поры я одна. Сватались ко мне, да я уж больше не стала судьбу пытать — хватит. Два мужика было, а по-доброму одного надо. Уж если сразу не повезет, то потом и не жди, чтоб повезло. А я и одна неплохо живу, сама себе хозяйка, ни попреков тебе, ни побоев. Никто обо мне худого слова не скажет, как я жила. Парня вырастила, он теперь уж взрослый, в прошлом году женился. Ну вот, всю свою жизнь я тебе рассказала.

— И правильно сделала, что рассказала.

— Ой, а я уж пьяненькая-пьяненькая стала.— Анна

зажмурилась и, улыбаясь, замотала головой.— Чего доброго, упаду тут у тебя. Я ведь не часто пью, разве что по праздникам. Соберемся с бабами, поплачем, песни попоем — все вместе. Ты-то как? — спросила она.— Я болтаю, болтаю, тебе и слова не даю сказать. Семейный или, может, в холостяках ходишь?

— Семейный. Куда от этого денешься?

— А баба-то здешняя?

— Нет, я ее с Украины привез.

— Смотри-ка ты! Здешние, выходит, не по вкусу пришлись!

Он сказал, глядя ей в глаза:

— Была одна, которая пришлась по вкусу, да она мне отказала.

— Ладно тебе. Чего уж теперь об этом говорить?

— К слову пришлось, вот и сказал.

— Все сердишься на меня.

— Нет — зачем? Вот еще не хватало мне — сердиться на тебя!

— Сам видишь, как у меня все получилось,— сказала она.

— Вижу.

— Ну вот.

Они замолчали. Анна, помаргивая, зачем-то еще раз оглядела комнату, потом положила ладони себе на лоб, опустила голову.

Николай тронул ее за плечо.

— Ну, чего ты?

— А? — Она подняла голову.— Так просто. Чего-то нашло.

Он придвинул свой стул поближе к ней.

— Коля,— сказала она,— наливай, а. Давай вспомянем с тобой Ивана.

Он смотрел на нее, словно решая, наливать или нет. Потом все-таки налил.

— Чокаться нельзя,— предупредила она и залпом выпила.

Они немного помолчали — ровно столько, сколько полагается в таких случаях молчать.

— Хороший он был,— чуть слышно сказала потом она.— Я его до самой смерти помнить буду.

— Мне как написали про него, я с неделю сам не свой ходил,— отозвался Николай.— Мы с ним были самые лучшие товарищи, ты же знаешь. Даже когда вы сош-

лись, я на него не злился. На тебя злился, а на него нет.

— Мы как голубки жили,— сказала она.— Не знаю, как бы дальше было, но пока его не забрали, мы весь год жили, честное слово, как голубки.

— Вы хорошо жили, я помню.

— Я при нем ни на кого и глядеть не хотела.

— И меня ты не любила,— сказал Николай.

Анна недоуменно взглянула на него.

— Не надо,— попросила она.— Зачем ты это? Ты же знаешь, я тебя до него любила, я и замуж за тебя собиралась. А тут он. Ты не сердись на меня.

— Чего мне теперь на тебя сердиться?

— Не сердись, не надо. Я ведь не со зла.

— Хватит тебе.

— Больше не буду,— покорно согласилась она и вдруг засмеялась, прикрывая рот рукой.— Мой-то инвалид,— сквозь смех сказала она,— ну, с которым я жила, он меня и к Ивану ревновал.— Она перестала смеяться.— К убитому. Вот чума!

— А ты все такая же, как была,— сказал Николай.— Постарела, а характер такой же.

— А что?

— Да так, ничего.

— К чему ты это сказал-то?

— К тому, что я бы на тебе и сейчас женился.

— А давай.— Она выдержала его взгляд.— Я согласна.

— Давай.

— Не возьмешь,— задумчиво произнесла она.— Я-то пойду, да ты не возьмешь. Вот и считай, что мы с тобой теперь расквитались.

— Возьму,— сказал он.— Хоть сегодня.

— Сегодня-то возьмешь,— усмехнулась она.— На ночь возьмешь, а завтра выгонишь. Не знаю я, что ли? Нет уж, не перепадет тебе.

— Смотри-ка, какая ты!

— А вот какая. Какая есть, такая и есть. Пьяная я,— прикрывая глаза, сказала она.— Пьяная-пьяная. Видел бы меня сейчас Иван, уж он бы мне за-да-ал.

— Чего это ты все Иван да Иван? Ивана теперь не воротишь, а легче тебе от этого не станет.

— И правда, чего это я все Иван да Иван? Ты не сердись на меня.

— Да дело не в этом,— с досадой ответил он.

— Я какая-то ненормальная стала. То кажется, все хорошо, все ладно, а то вдруг вспомню про судьбу свою, и плачу и плачу. Проплачусь — опять все хорошо. Живу, будто меня через день в воду окунают, а через день выставляют на солнышко сушиться. А теперь думаю: жизнь моя прошла, плохо ли, хорошо ли, а прошла, и ждать больше особенно нечего. Раньше было страшно о таком подумать, а теперь ничего, привыкаю, привыкла уж, считай. Так-то лучше. Хвастаться мне в своей жизни нечем, а жаловаться тоже не хочу и мачехой называть ее не стану. Что было — все мое.

— А если бы ты вышла за меня? — все-таки спросил он.

Она замерла, словно прислушиваясь к себе, неопределенно пожала плечами.

— Не знаю, Николай. Не могу загадывать. Ты вот живой, здоровый.— Она протянула руку и дотянулась до его плеча.— Ничего не знаю, Коля. Наверно, мы с тобой бы так и жили. Зачем теперь об этом говорить?

— Ты хоть вспоминала меня?

— Я все больше Ивана вспоминала. Ты не сердись, он муж мне. Может, теперь буду вспоминать, после сегодняшнего.

— Тут пока нечего и вспоминать.

— Как же! Я ведь рада, что встретила тебя. Не чужие.

— Когда-то обнимались по задворкам,— сказал он.

— Было.— Она смутилась, но вспоминать об этом ей, видно, было приятно.— Что было, то было. Не один раз до петухов простаивали. А утром...

Она умолкла. Дверь неожиданно открылась, в нее просунулась чья-то голова, что-то пролепетала и так же неожиданно исчезла.

— Вот заполошный,— засмеялась Анна.

— Эти заполошные мне надоели,— сказал Николай.— Утром один чуть свет в дверь забарабанил, я открываю, а он: «Извините, ошибся». Не смотрят и лезут.

Он снова налил.

— Давай еще по одной, тут уж немного осталось.

— Ну, мы с тобой за-гу-ля-ли.— Анна взяла стакан обеими руками и потянулась чокаться.— Прямо дым коромыслом.

— Нам с тобой можно. Мы с тобой полжизни не видались, теперь нам все можно.

— Полжизни не видались,— повторила она, удив-

ляясь.— Надо же! И все-таки встретились. И ты меня первый узнал. Запомнил все-таки, а?

— Эх, Нюрка, Нюрка!

— Ну, чего Нюрка? — с вызовом спросила она.

— Хорошая ты баба.

— А чего во мне хорошего? Баба как баба. Таких много.

— А может, ты мне одна такая нужна?

— Как же — нужна стала! — Она хохотнула и погрозила ему пальцем.— Я пьяная-то пьяная, да все равно еще не опьянела. Не мылься — мыться не будешь.

— Вот как?

— Ага, вот так.

Он поднялся и закрыл изнутри дверь на ключ.

— Зачем закрылся? — спокойно спросила она.

— Чтобы зря не лезли все подряд. Надоели.

— Хитри, хитри. Ишь, гусь.

Он подошел, обнял сзади за плечи. Она обернулась.

— Поиграть решил?

— Ну, решил.

— Давай поиграем,— сказала она.— Давно я с мужиками не играла.

— Не боишься?

— А чего мне бояться?

Прищурившись, они смотрели друг другу в глаза.

— Ну, так пойдешь за меня замуж? — спросил он.

— Ишь, прыткий какой! — Анна засмеялась.— Замуж... Его дома жена ждет, а он тут еще одну сватает. Уж хоть не говорил бы «замуж», как-нибудь по-другому говорил бы. Я же тебе сказала: не мылься — мыться не будешь.

— Это мы еще посмотрим.

— Нечего и смотреть.

— Чего это ты такая? — сказал он, начиная сердиться.

Она засмеялась.

— Я же тебе говорю: тебя дома жена ждет, а ты тут...

— А тебя-то дома кто ждет?

— Никто не ждет,— присмирела она.— Это правда. Был бы Иван...

— Иван, Иван,— опять перебил он ее.— Заладила одно по одному. Если на то пошло — Иван тоже не святой был. Вы уж вместе жили, а мы с ним сколько раз к девкам бегали.

От неожиданности она сморщилась и неловко улыбнулась.

— Врешь ты,— недоверчиво сказала она.

— Для чего бы я стал врать — сама подумай!

— Врешь ты, Николай,— повторила она, вглядываясь в него.

Он засмеялся.

— Не надо бы мне говорить об этом, да уж сказал. Ивана в живых больше двадцати лет нету, не будешь же ты теперь ревновать его?

— Вот еще!

Она убрала руки со стола на колени и подалась вперед, будто что-то рассматривала на столе и никак не могла рассмотреть. Он тревожно наблюдал за ней. Она не двигалась, только чуть-чуть шевелились брови — казалось, она силится поднять глаза и не может.

— Анна! — окликнул он.

Она очнулась.

— А, пускай,— сказала она.— Мне наплевать — так или не так! — Она увидела в стаканах вино и обрадовалась.— Да ведь мы с тобой не выпили. Как же это мы, а?

Не дожидаясь его, она залпом выпила, с размаху поставила стакан на стол и опять замерла.

— Вот гад! — сказала потом она и с горькой улыбкой покачала головой.— А я знать не знала. Вот гад так гад!

— Чего это ты?

— А, ничего. Вспомнила тут одно дело.— Анна нервно и громко засмеялась.— Значит, говоришь, женишься на мне? Или раздумал уж? Смотри, а то я правда пойду.

Он не ответил.

Она засмеялась еще громче.

— Вот жених! Женюсь, женюсь, а сам в кусты. А я-то обрадовалась.

И сразу же затихла.

— Хорошо мы с тобой погуляли,— протянула она, опустив голову.— Хо-ро-шо. И разговор был интересный. Про войну, про баб, про мужиков, про девок.— Она коротко хохотнула.— Все интересное друг другу рассказали.— Помолчала.— Ивана помянули. Сначала помянули, потом вспомнили.— Еще помолчала.— Вот гад, а!

— Послушай.— Николай поднялся и подошел к ней вплотную.— Я ведь выдумал это про Ивана. Обидно мне стало, что ты все про него да про него, я и ляпнул. Хотел тебя раззадорить. Не было ничего такого.

— Врешь ты,— устало отозвалась она.

— Да не вру я.

— Врешь. Я же вижу, что теперь врешь, а не тогда. Пожалеть меня решил. Не надо меня жалеть.— Она тяжело вздохнула.— Чего ему надо было? Обидно. Если бы это инвалид мой сделал — не обидно, ни одна жилка бы не дрогнула. А тут обидно. Обидел он меня, нельзя так.

Она заплакала — без слез, трудно-трудно, с глухими всхлипами, похожими на стоны, не закрывая лица.

Николай, всасываясь губами в папиросу, жадно курил.

Анна успокоилась скоро, только долго еще вздрагивала всем телом. Лицо ее было сухо, но она все равно пошла в ванную и умылась. Двигалась она медленно, осторожными шагами, словно все время боялась упасть.

Друг на друга они старались не смотреть.

Она вышла из ванной, постояла возле стола и виновато сказала:

— Напилась я тут у тебя.

Он взглянул на нее как-то воровато, исподтишка и ничего не ответил.

— Пойду я,— сказала она.

— Подожди,— попросил он.— Посиди еще пять минут. Просто так посиди.

Она села на краешек своего стула. Они молчали. Прошло пять минут, пошли еще минуты. Она поднялась:

— Надо идти.

Он тоже стал одеваться, чтобы проводить ее.

...Они ехали в трамвае. Это был тот час, когда влюбленные провожают своих подруг домой. Николай и Анна сидели, прижавшись друг к другу, он держал ее руку в своей руке.

Влюбленные с любопытством поглядывали на них и посмеивались.

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу,— собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему

двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено,— что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные бла-

годаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь.— Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем,— не согласилась она.

— Пора,— повторил я.— Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня.— И добавила как окончательно решенное: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу,— нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно.— Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания,— отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился,— расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах,— как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: постращай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я уселся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась»,— говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей

стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается дру-

гой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. По-

стоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я»,— или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться,— нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для

стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, выносил в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко

висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет

до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать, голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрал-

ся на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос,— сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении,— или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В выш-

нем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволится. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует,— с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими,

качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти

не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» — самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок — вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз: как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке... Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки»,— сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не

раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться — и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие»,— в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжалось. Прошло три дня — и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на северном Байкале, и вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про

Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке... кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многое для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками — самой неприятной работы. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому, как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом — он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читаная-перечитаная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застенные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая

сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью, и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрянула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуясненный, но значительный смысл.

* * *

В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

— Сушишь?

— Сушу.

— Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и ответствовал:

— Ты корову теткой не зовешь?
— Зачем?
— То-то и оно... зачем?.. Митяй — кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там... Не подавлюсь.
— А вообще-то как тебя зовут? — Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.
— Митяй. Так и зовут. Хошь — спроси у моей мамаши, она умерла сто лет назад.
И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола,— сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека.— Ежели бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хужей, тем милей. Это от него, от нечистого».
Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, както особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:
— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.
Эх, слышал бы это папа, слышал бы... У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно,— до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка».
На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу;

если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей — только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил» — были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а, чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй

драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом — и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

— Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

— Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

— Не дойдешь, там останешься,— сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман.— Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь.

* * *

Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, уви-

дел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной — много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взревывали оглушительно моторы, и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и — за спины, за спины...

— Куда?! — весело закричал ему вслед Митяй.— Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? — но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати — шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги,— и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще. Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку все

равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:

— А горбовик отцов где?

— Он большой сильно.

— Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главно, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.

— Ну, орда, ну, орда! — громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться.— Держись, тайга!

— Что-то уж сильно много,— озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья все еще не прошел.— Неужели они все за ягодой?

— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пёром попрет.— Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая.— Ниче, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала.

Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжелые деревянные полки, маленькие и подслеповатые, как в зимовье,

окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях и полках имена и пожелания жаждущих вечности путников.

Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из поселка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз в поселке перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой — по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное — по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон») эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душком, с лагушком, шла бойкая и беспрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне — и куда все это подевалось?!

«Как в другой жизни было»,— говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала — на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом не у дел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась еще жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати, и хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все от черемши до кедровых орехов подчистую.

Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик — из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо — будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

— Станция Березай! Кому надо — вылезай! — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.

Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

— Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали наконец хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.

Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения, и над домами, точно над могилами, где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнес оттуда фразу: «смертный ужас рождения». «Как, как?» — переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» — растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнес: «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью — бездна». Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал: «Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суетимся тут, хлещемся... Как перевертыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были». Мама испугалась: «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился».

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нем какое-то особое, глубинное чутье и не успевал — снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только, выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памятник на постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

— А я тебя гляжу, гляжу... Уж думал, остался... Или проспал.

— Под самый конец залез. Едва протолкался,— ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубахе сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.

— Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идет? — не глядя на Саню, спросил он.

— С нами.

— Ты не говорил.

— Ну и что? Когда бы я сказал?

— Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождем пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Ми-

тяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз с задранными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:

— Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?

Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен.

* * *

— Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле враскачку — и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. Усек? — Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встречь ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой маломальской приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаться вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию; то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала

в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не было и ветра — тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой, и только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько шишек, потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела.— И добавил неодобрительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем.

Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем, то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все снова пошло вперемешку — кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше ре-

дел, освобождая небо,— казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнется крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его, они шли все в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устали.

Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью... Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.

— Ты что это?.. Ты куда нас? — испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

— Перекур! — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать.— Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу и вдруг... Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с необлетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями,— больше всего это были ели и кедры,— обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

— Что это?.. Что тут было? — едва опомнившись, спросил Саня.

— Смерч,— сказал Митяй.

— Какой смерч?

— Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим

по ягоду так же пошли — все нормально. А осенью я по орех... Может, главно, первый и увидел. Ты пойди погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы деревья.

— Этак и убить могло,— угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся, Сане послышалось — не без злости:

— Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

— Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь,— не остался в долгу дядя Володя.

— А новичков-то и хлещет. Их-то, главно, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

— Из-за кого? — вскинулся дядя Володя.— Что ты мелешь?!

— Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

— Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков — что Николай Иванович, что Леха, что ты... Будто свой огород... захочу — пущу, не захочу — заверну.

Митяй усмехнулся.

— Ты меня с ими не равняй,— подумав, примирительно сказал он.— Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слыхал звон, да не понял, где он. Леха — аккуратный мужик, он порядок любит. А кажного в тайгу пускать — это разор только, ее и так разорили.

— Я рядом с тобой живу — почему я каждый?

— Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя,— вроде бы и искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их на сторону, и все равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и

дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперед. Шли замысловатыми зигзагами — куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло — ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спохватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и сступающую вправо каменистым серпантином, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белесой пустотой неба,— за все, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немеренных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

— Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

Дядя Володя, тяжело, с кряхтеньем усаживаясь на камень, не отозвался.

— Вот это да-а! — ахнул Саня, подошедший последним.

— От и до, Санек, а?! — крикнул ему Митяй.— Запоминай — во сне потом будет сниться!

Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

— Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не помнишь?

* * *

«Не может быть,— не однажды размышлял Саня,— чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать. Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира — и вдруг, как перекати-поле, на открытую дорогу — куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур нелепо и глупо».

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильней обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия, жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки

высоко упавшую лесину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок — порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать ее человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да се — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке — потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволил:

— Ладно, полчаса на отлежку — само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшее все же, по-видимому, способности греть и мягчить. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекать какой-то мутной плотью; для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме парня, все это искало в нем объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую меру участия и правильного расположения — все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя, он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.

— Кончай ночевать, мужики,— негромко сказал он, позевывая и внимательно всматриваясь в небо.— Выпросил ты все ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

— Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтоб, главно, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! — Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке.— А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего ее совком драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая — хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом ее домой попрешь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

— Почали, Санек, почали,— возбужденно повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток.

* * *

Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. И не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломятся от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно

подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством — смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся,— наговаривал он,— что я возьму тебя... я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь — так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя,— Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством,— и зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет...— И грубым, бестактным казалось называть себя — то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал.— ...и маленькая девочка по имени Катя... она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей... не обижайся, пожалуйста».

Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали свое дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалекое и желанное воспоминание. И, обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то — посторонний звук или неосторожное движение — приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается, ягоду берет, а ему чудилось... Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а

потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и темной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, все дополняя и дополняя его неоговоренную меру.

Нет, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине.

Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше чем наполовину.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге — и какая ночь! — точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала — хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал нена-

долго, то припускал сильней, и сильней тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острастки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо. Митяй, перед тем как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожее на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню — настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться... Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя — почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, и это внушение он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное,— кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильней — и ближе, значит, было исполнение, точно что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения.

Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И еще тише стал дождь, он висел над

костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас... И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, невесть как донесшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешел в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей, но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье. И вдруг проснулся — дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал:

— Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

— Кто ходит... Медведь, наверно, ходит,— недовольно отвечал Митяй.— Кому тут еще ходить?!

— Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал: слова о медведе мало встревожили его — или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя.

И еще раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

— Да ты не бойся, спи. Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главно, медведи без спросу приперлись, на твою территорию, — тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить.

* * *

Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце — не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно-единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато, звездчато взблескивали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло — и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи — нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед — перед тем как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и подтрунивал над дядей Володей, над его ночным бденьем. Дядя Володя по обыкновению отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же все в это яркое утро приводило в восторг — и то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние крупные капли дождя; и то, как умиротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля; как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка.

Солнце вошло в силу, воздух нагрелся — пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром,— ягода в нем заметно осела и сморилась, и все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торо-

питься. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то не простую ее силу, только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь — руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба — стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее — по-прежнему рясную, крупную, отчетливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой... Ведро было полнехонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул — так хорошо было, так светло и покойно и в себе и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал — этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему... он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, опустившись к речке, попил, прихлебывая из ладони.

Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого, мира или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет

листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то — на земле или в небе — происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему неподвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать — и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но, смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то» — как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствованиях, и неужели то же самое у всех? Но ведь, как никогда прежде, близок он был к этим «что-то» и «какой-то», ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же недостало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом — не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на ка-

мень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения, заглавного среди многих и многих, дня. Он сидел и слабой, усыпленной, завороженной и отрывистой мыслью думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, и я... в одно время и здесь...»

И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный «трон», откуда волнами уплывали в дали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синеющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье — от восторга и непереносимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно — он это видел!

* * *

В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки — верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем — то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглупа выскочили над Байкалом слабые, мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину, в нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна, свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины — без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за

дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный кóлот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями — не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог, и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей — пластом, мало что и видя и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая приторoченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

— Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем.

Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

— Теперь твоя очередь.

— Вон парень сходит,— прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое, жизнью: так же пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе

над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось — попрежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

— Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? — вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

— Не знаю,— пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду.— Сварю, наверно, половину... половину истолку.

— Нельзя ее варить,— решительно и твердо сказал дядя Володя. И еще решительней добавил: — И есть ее нельзя.

— Почему?

— Кто, какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел — ведро действительно оцинкованное.

— Ты, гад!..— оборачиваясь к дяде Володе, начал он.— Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?..— Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил.— Ведь ты же видал, ты знал, ты, главно, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести — ну, не гад ли, а?! Я тебя!..

— Только тронь! — предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: — А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

— Да видал! Видал! — завопил он.— Знал! Но у меня, главно, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

— Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами, на глаза ему попалось ведро с открытой ягодой,— решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.

— Митяй, ты что?! — вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня.— Зачем ты, Митяй?! Зачем?!

— Нельзя, Саня,— торопливо и испуганно забормотал Митяй, и сам пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой.— Нельзя. Она, главно, за ночь сок дала... сам отравишься и других... никак нельзя в оцинкованное... Ну, идиот я, ну идиот! От и до. Ходи с таким идиотом...

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки.

— Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся,— неожиданно спокойно сказал Митяй.— Такое гадство в тайгу нести... мало тебе поселка?!

— Сядешь,— так же спокойно ответил дядя Володя.— Сидел и еще сядешь.

— А я об тебя руки марать не буду,— уверенно и как дело решенное заявил Митяй.— На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвется. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят... ой, не любят!

Стал слышен стукоток поезда.

...Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Валентин Григорьевич Распутин

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор
О ГОЛЕВА
Художественный редактор
Е АНДРЕЕВА
Технические редакторы
Г БОЙЦОВА, Л АНАШКИНА
Корректор
Г ПАНОВА

ИБ № 4316

Подписано к печати с диапозитивов 08.04.85 Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер Печать высокая Бумага тип № 1 кн-журн Усл печ л 38,64 Усл кр-отт 38,85. Уч.-изд. л 41,58 Тираж 100 000 экз Заказ № 311 Цена 3 руб

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР
170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

